

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

11 '90





Николай КРАЩИН. Москва.
«Натюрморт». Холст, масло. 1988 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

11⁽⁴²⁶⁾

'90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

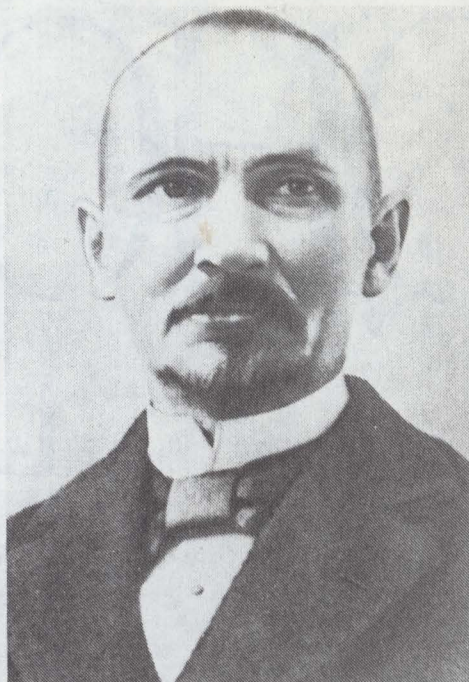
Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

В. В. РОЗАНОВ

ЭМБРИОНЫ



1

Он не создал единой и своеобразной философской системы. Он был философом без философии, писателем без романов, учителем без учеников. А в истории русской философской мысли, пожалуй, не было ни у кого более скандальной репутации, чем у Василия Васильевича Розанова.

«Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить».

Путь в литературе Розанова — это путь к истине через тернии заблуждений, ошибок и разочарований.

Он был революционером духа, но никогда не смог бы стать революционером-практиком, вообще политиком, выражающим определенный «классовый» интерес. Слишком волен был Розанов в направлениях, в выборе тем и точек зрения.

«На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это и «координаты действительности», и действительность только через 1000 и улавливается».

Розанов мог в одной газете писать как либерал, в другой — как консерватор. В одной статье говорить одно, в другой — утверждать обратное. Он подписывался разными фамилиями, но ведь каждая работа требует душевных сил.

Человек по одному и тому же поводу говорил «да» и «нет», — и его возводили в ранг беспринципных циников и откровенно не порядочных людей.

Но его личность была крайне уникальна, он всегда жил своей собственной, обособленной жизнью, никогда не подчинялся общим правилам; наоборот, делал все, чтобы быть свободным от них, бравировал общепринятым кодексом морали.

Попытка уйти в себя, анализировать лишь свое собственное состояние, свои впечатления, «сказаться без слов» привела к созданию особой формы, особого жанра, названия которому пока нет в литературоведении. Русская критика

тоже не смогла сказать ничего определенного по этому поводу. Негодовали, доходили до иступления в восторгах, бранились, писали почти объяснения в любви — такова была реакция русского общества на его книги.

«Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта». В «Опавших листьях» — в этих откровениях, записанных за чаем, в вагоне, за нумизматикой, ночью просыпаясь, — обнажена и доведена до трагического предела, собрана, как частицы мозаики, душа писателя. А глубокая, блистательная, разящая розановская мысль сверкает в этом клубке мелких афоризмов и набросков.

Творчество мыслителя — это яркие вспышки, звенья одной рассыпанной цепи. И если бы не эта скоротечность суждений и смена настроений, Розанов не был бы самим собой.

В одном был постоянен Розанов: в своей безумной «до истязания» любви к России. Даже когда он писал об иудаизме и Ветхом Завете, — он писал о русских проблемах. Он умел жестко говорить о России и об отдельных чертах и свойствах русского характера, жестко — о русской революции и русском нигилизме, но через эти строки сквозила боль, горечь его души и отчаяние его сердца.

В последних своих записях, в «Апокалипсисе нашего времени», он сказал все, что думал о происходящем и будущем.

Но тогда — в годину революции — его никто не услышал.

А для Розанова все было кончено. Его России уже не было.

Он умер 5 февраля 1919 года, ему было шестьдесят три.

«Смысл не в Вечном: смысл в мгновениях. Мгновения — то вечны, а Вечное — только «обстановка» для них. Квартира для жилья. Мгновение — жилец, мгновение — «я», солнце».

— «Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай.

2

Западная жизнь движется по законам лирики, наша до сих пор — в формах эпоса; но некогда и мы войдем в формы лирики.

Вопрос Чернышевского, поставленный в заглавии его романа, есть вопрос существенно лирический, но своевременный; ему может быть дан только бытовой ответ: делать то, что было делаемо вчера.

3

В декадентах и символистах 60-е годы только не узнают себя: это — реабилитация плоти, ставшей измозженной после 30 лет «свободы»; это торжество «личности» над средою; это — «дети», вдруг оказавшиеся импотентными породить внуков.

Наказание слишком скоро последовало за преступлением.

4

Совершенство формы есть преимущество падающих эпох.

5

Когда народ умирает — он оставляет одни формы: это — скелет его духа, его творчества, его движений внутренних и внешних. Республика, монархия — разве это не формы? трагедия, эпос, «шестистопный ямб» — разве не формы? не формы — Парфенон, как и девятая симфония? И, наконец, метафизика Платона или Гегеля?

И вот почему, еще раз: когда народ оканчивает свое существование — формальная сторона всех им создаваемых вещей приближается к своему завершению.

6

XIX-й век есть век, любующийся падением своим; чувство Сарданапала, сгорающего на сокровищах своих и со своими женами, в высшей степени ему присуще.

7

Гений обычно бездетен — и в этом его глубокая и, может быть, самая объясняющая черта. Он не может родить, и, кто знает, нужно ли это для него? Он есть некоторая ding an sich*.

Как орудие, как низменное средство, как земная сторона небесной тайны — половые аномалии, так часто встречаю-

щиеся у гениев; влечение к разврату; раннее половое развитие; «пороки детства».

Лермонтов и Байрон 11—14 лет испытывают любовь; как это уродливо, как гениальны *они*. Рафаэль и Александр Македонский равно бездетны; бездетны Цезарь и Ньютон.

Потомство гения, если даже оно есть,— чахло и быстро гибнет; большею частью это — женское потомство. Вспомним Наполеона I и нашего Петра. Здесь лежит объяснение, почему после гениальных государей династии, большею частью, пресекаются и наступают «смуты».

8

В *Дневнике* Амиеля, столь благоухающем, тонком, глубоком, столь благородном, есть страшный недостаток, который остался незамеченным: его ужасная *пассивность* — отсутствие страстных, деятельных и, следовательно, жгущих в авторе эмоций. Гр. Толстой чутко сравнил его с книгой Марка Аврелия — но это не похвала, как он думает. Тот и другой труд суть равно произведения сумеречные, осенние — произведения того времени исторического года, когда соки в людях-растениях бегут не вверх, не поднимают их, но стремятся вниз, к земле и в землю.

Бездна ума, критики у Амиеля, и — никакого творчества. Это — благоухание смерти. Оканчивая каждую страницу, хочется спросить: сколько еще дней осталось ему жить?

Жена Марка Аврелия не была ему верна; Амиель, кажется, не дерзнул жениться. Это — люди, которые умели оставить только прекрасный *посмертный* «Дневник». Один был вялым, унылым императором; другой — еще худшим ученым и профессором, очень боязливым и несообщительным.

Какая противоположность — Буслаев, до дряхлости bodрый и живой, с толпою горячих учеников, которые разнесли слова учителя по России и приложили его мысли к бесчисленным предметам, какая противоположность Петр — «капитан бомбардирской роты», разыскивавший в Липецке железистые ключи, на севере строивший корабли, встречавший лодчманом первый голландский корабль в Неве. Каждый его шаг был делом, всякое движение есть исторический факт... Это — люди рождающейся эпохи; в «водах», крови, при криках матери и судорожных ее подергиваниях — выходит чудный мальчик. Там мы видим благоухающий, умщенный труп...

Мир им; мы их не хотим перечитывать — иначе как перед смертью.

9

Весь мир есть игра потенциалов; я хочу сказать — игра некоторых эмбрионов, духовных или физических, мертвых или живых. Треугольник есть половина квадрата, известного образом рассеченного, и на этом основаны его свойства, измеримость, отношения к разным фигурам; земля есть «сатурново кольцо», оторвавшееся от солнца, разорвавшееся, склывшееся, — и поэтому она тяготеет к солнцу; и всякая вещь есть часть бесчисленных других вещей, их эмбрион, потенция их образования — и поэтому только она входит в соотношение с этими другими вещами, связывается с ними, а от других, наоборот, отталкивается. Поэтому, говорю я, жизнь природы есть жизнь эмбрионов; ее законы — суть законы эмбриональности; и вся наука, т. е. все и всякие науки, суть только ветви некоторой космической эмбриологии.

10

Что мы называем мистическим? — Мы называем им прежде всего *неясное*; но такое — в чем мы чувствуем глубину, хотя и не можем ее ни доказать, ни исследовать; далее, мистическим мы называем то, в чем подозреваем отблеск, косой, преломившийся луч Божеского; и, наконец, то, в чем отгадываем перво-стихийное, перво-зданное по отношению ко всем вещам.

Напр., ушиб камнем — не мистичен, конечно; но смерть, от него последовавшая, — вполне мистична. Она мистична как *акт*, и даже мистична, как момент в судьбе человека, как его возможное наказание за грех.

Можно сказать, мистическое не столько есть в природе, сколько заключается в человеке: можно мистически смотреть на все вещи, все явления, но можно — и натурально. Камень упал на человека, и он умер: доселе — натурализм; но почему он упал на *этого* человека — это уже мистика.

В натурализме человек и собака сходятся: собака тоже ушиблена — и завизжала; сильнее ушиблена — и умерла;

далее нет вопросов. Но человек никогда этим почему-то *не хотел* ограничиться; он спрашивал далее: и вот где начинается человек.

11

Молния сверкнула в ночи: доска *осветилась*, собака — *вздрогнула*, человек — *задумался*. Три грани бытия, которые мы напрасно усиливались бы смешивать.

12

Все гении тяготеют к пре-мирному. Не есть ли предвечие этой черты — то, что и все люди тяготеют к необыкновенному, странному; к ужасному даже. Собака не тяготеет к страшному, а только бежит от него; человек тоже бежит, но и заглядывает в него, интересуется. Вот *главная* у него черта.

13

Ищу рукавицы — а обе за-поясом. «Страшно то, что нет ничего страшного», — сказал грустный Тургенев: он просмотрел в себе то, о чем тосковал. Почему бесстрашность была ему страшна, — разве это не ужасная тайна души человеческой, его души? Я вижу день, но хочу ночи, тоскую по ночи; я вижу целую жизнь только день — и спрашиваю, *не видя нигде и никогда*: «Почему не ночь? Где ночь? Мне страшно и тягостно без ночи?» Не есть ли это *темное видение* — ужасная тайна, гораздо более ужасная, чем все пугающие фокусы «Песни торжествующей любви», коими, в предвидении незримой ночи, он играл под старость?

Это есть именно — пугающая ночь; все наши страхи основательны — ибо ночь не выдумана, не фикция, она *есть*. Оттуда летят на нас сны; есть некоторая относительная истина в этих снах, хотя, конечно, есть и доля искажения от нашего воображения. И, обращаясь туда, к этой ночи — мы молимся, испуганные, потрясенные; сердце наше сжимается робко, мы прижимаемся друг к другу... Это — церковь.

Все таинства религии — оттуда. Некогда прозвучало оттуда: «Не бойтесь...», пронеслась «благая весть».

И вчера испуганные — сегодня умилились. Вот Евангелие и Библия.

14

Чувство Бога есть самое трансцендентное в человеке, наиболее от него далекое, труднее всего достигаемое: только самые богатые, *мощные* души, и лишь через испытания, горести, страдания, и более всего через грех, часто под старость только лет, достигают этих высот, — чутьчку и лишь краем своего развития, *одною веточкой*, касаются «мирам иным»; прочие лишь посредственно — при условии чистоты душевной — достигают второй зоны: это — церковь. Коснувшиеся «мирам иным», отцы мира христианского — оставили слова об этом касании; они сложились в обряд, ритуал, требования; выросли как обычай, как учреждения; окреп канон, создалась литургия; построен храм. Создалась масса материальной святости, уловимой формами времени и пространства. И здесь почил Свет Божий, как праведник почивает в своих мощах. Касание сюда уже для всякого доступно; это — средство спасения, всем предложенное.

Да не касаются же руки человеческие этой высочайшей святости всего человечества. Что-нибудь поколебать здесь, сместить, усилиться поправить, даже улучшить (без знания «миров иных») — более преступно, более ужасно, чем вызвать кровопролитнейшую войну, заключить позорнейший мир, предательством отдать провинции врагу. Ввести неудачную программу в семинариях, удалить чин дьяконский из богослужения — хуже, чем неудачно воевать под Севастополем, чем заключить парижский трактат — и даже чем «восстановить Польшу».

Ох, уж эти *починики* таинственной и живой истории!

15

Часто стойков сравнивают с христианами и проводят параллели между последнею языческою философией и новым «благоуствованием». Между тем нет ничего их противоположнее: даже эпикурейцы стоят ближе к христианам.

Стоицизм есть благоуухание смерти; христианство — пот, муки и радость рождающей матери, крик новорожденного младенца. «Всегда радуйтесь», — сказал Апостол: разве это сумел бы сказать какой-нибудь стойк? «Чада мои, храните предание», — разве это язык умирающего Рима? Христиан-

3

ство — без буйства, без вина и опьянения — есть полная *веселость*; удивительная *легкость* духа; *никакого* уныния, *ничего* тяжелого. Аскеты и мученики были веселы, одни в пустынях, другие идя на муки. Какой-то поток внутреннего веселья даже у таких, даже в такие минуты гнал с лица всякую тень потемнелости...

Отец Амвросий Оптинский и Иоанн Кронштадтский — лучшие и *типичнейшие* из христиан, каких мы наблюдали, — оба замечательно светлы, радостны, жизненны. У отца Амвросия почти только шутки, прибаутки — в письмах и разговорах; лицо о. Иоанна всем известно — это сама радость.

Стоик — мы говорим это, потому что христианин не может искренно не смеяться над ним, — *fait bonne a mauvais jeu**; он сдерживается, усиливается, напрягается, вовсе не понимая, в сущности, для чего.

Положив руку ему на плечо, светлый христианин мог бы посмеяться над ним: «стойк — вот фалерское! О чем ты думаешь?» Может быть, он вышиб бы у него бокал, но он ничего не сумел бы ответить.

Есть неуловимо тонкая черта, соединяющая стойков с фарисеями: оба *брезгливы* по отношению к миру; один уходит от него в ванну и вскрывает себе жилы, читая «Федона»; другой отходит от него в сторону и становится на молитву.

16

Нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость, и только радость, и всегда радость.

«Мы опять с Богом»: разве не это — самоощущение христиан? Где же тут уныние?

17

Сравнивали христианство с буддизмом: «у них — одни добродетели»; да, но вот пороки не одни:

«Дух же... уныния отжени от меня» —

это молится христианин. Буддист молится — или не столько молится, сколько молчит, в вечном унынии.

Есть иная черта сближения и противоположения между буддизмом и христианством: буддизм есть мировой пессимизм, и он же есть атеизм. Вот глубина души человека, открывающаяся отсюда: Бог есть радость, без Бога — отчаяние.

18

Вся тайна православия — в молитве, и тайна быть православным заключается в умении молиться.

Признаемся, мы чувствуем отвращение всякий раз, когда заводится речь о цезаро-папизме или папо-цезаризме. Когда стоишь в храме и видишь молящихся — как применить сюда эти понятия: что они — цезаро-паписты или папо-цезаристы? Все это — темы для нас интересные, и именно интересные настолько — насколько мы разучились молиться.

19

Усилия сделать обычным и даже обязательным проповедование в храмах не нравятся нам: это едва ли православно и вовсе не народно. Это — протестантские усилия около православного храма.

Православное богослужение есть проповедь: ведь проповедь есть научение, но литургия есть полный круг научения, сверх коего не нужно еще ничего человеку. О чем — в прекрасных ектениях — не молится диакон и с ним народ? — ничто не забыто: ни гроб, ни плавающие, ни победы Государю, ни мир всего мира, ни благорастворение воздуш. «Иже херувимы» — разве не научение? «Всякое ныне житейское отложим попечение» — какое поучение, какой призыв сравнится с этим? Каждение перед иконами, возгласы священника — до того проникнуто все это смыслом и красотой.

Постоянство и обязательность проповеди понятны в протестантских опустошенных храмах. Здесь все оголено смыслом, поэзией научения; если они не будут петь псалмов, пастор не будет им говорить, музыка не будет играть — они заснут: что же им делать? Тут ничего нет; нет собственно богослужения. Лекция и концерт образуют существо протестантских религиозно-общественных собраний, и поэтому понятно, что они так упорно держатся за эти остатки разрушенной церкви. У нас по крайней мере продолжительная и неумелая проповедь только закрывает красоту и сущность остального богослужения.

Народ не очень любит проповедь: церковь, при первых словах проповедника, разделяется надвое — передняя половина придвигается к алтарю, задняя идет к выходу; во множестве из передних рядов стараются незаметно пробраться к выходу.

Но вот что всю церковь сбивает в кучу: это — акафист. Акафист — только молитва, и никакая часть литургии не вызывает такого умиления, жара, у многих — слез, как акафист Иисусу или Божией Матери. Вот это — народно и православно. «Щеки же ее пылали, и первосвященник, видя это, подумал: не пьяна ли она?» — вот это зоркий взгляд всегда заметит у одного, двух, трех молящихся во время акафиста. Тут все становятся на колени — о, это православно! Многие *наизусть* знают акафисты и *вперед* священника шепчут слова — слова, всегда *к себе* прилагаемые... Тут столько личных, семейных тайн вы видите в горящих глазах, в духе то сокрушенном, то веселящемся.

Можно сказать — акафисты воспитали Русь.

20

Самая опасная сторона в христианстве XIX века — это то, что оно начинает быть риторическим. Это заметно даже в стиле, даже у третьестепенных писателей. Нет апостолов — есть «галилейские рыбаки»; нет Иисуса Христа — есть «Божественный Учитель». «*Genie du christianisme*» Шатобриана есть менее христианское произведение, чем «*Pucelle*» Вольтера — произведение менее христианской эпохи. Ибо что против христианства были насмешки, издевательства, наглость — это было от первых дней; но что сами христиане начинают понимать свою веру риторически — это явление последних дней.

Вот почему так хороши раскольники с «Исусом». Может быть, еще они спасут мир, с сокровищем веры в них затаенной; и тем лучше, что они — «неотесаны»: остальные так усердно тесали себя в истории, что уже ничего не осталось, стесали самую сердцевину себя.

21

Нет более *обманывающей* фигуры, чем «Моисей» Микель-Анжело: *этого* Моисея *не было* — фантазия художника, его априорная мысль ошиблись.

Моисей был косноязычен; *написатель* книг, равных которым не знает мир, *вовсе не мог* говорить. Не поразительно ли? Вся мощь *слова* сосредоточилась в духе, и для телесного языка, для этого болтающегося куска мяса — ничего не осталось.

Но он еще вывел Израильский народ из Египта; он провел его через пустыни; довел до «земли Обетованной». Удивительный человек; как верны, *проникновенны* слова Гейне: «Как мал Синай — когда на нем стоит Моисей». Это величайшее слово удивления к Моисею, какое мы знаем, вырвавшееся у язычника-писателя, в языческую эпоху.

Я думаю — он был мал и тщедушен; быть может — без бороды или с немногими редкими волосами на подбородке. Я думаю, он так же был в теле своем нем по отношению к делам, им совершаемым, как был нем в языке по отношению к написанным им книгам.

Он весь был внутри, сосредоточен. Без сомнения, он был прекрасен, как никто из людей — никто до Христа: но это красота неуловимая, непередаваемая, и во всяком случае не переданная.

Микель-Анжело обманул и обманул.

Предисловие и публикация
Н. КАЗАКОВОЙ.

* Делает хорошую мину при плохой игре (фр.). — Прим. ред.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ИСКУПЛЕНИЕ

Роман

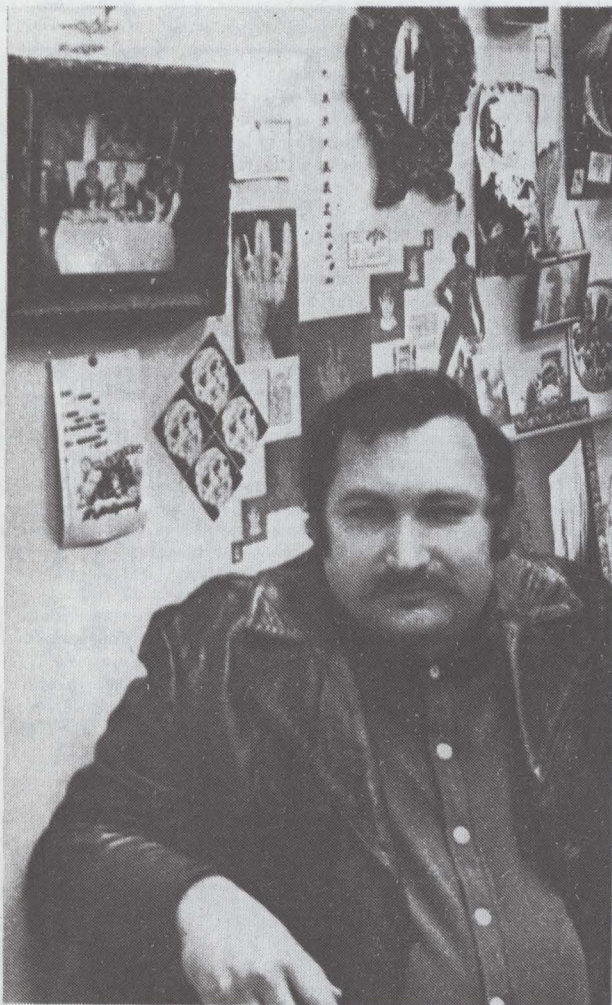


Рисунок Михаила Златковского

Печатается по тексту
издательства «Эрмитаж», 1984 г.

Творчество писателя Фридриха Горенштейна почти неизвестно советскому читателю, и лишь давние подписчики «Юности» помнят небольшой рассказ «Дом с башенкой», опубликованный в журнале в 1964 году. Он сразу обратил на себя внимание многих критиков, удивил зрелым, жестко реалистичным письмом в сравнении с молодым возрастом дебютанта. Редакционная врезка содержала довольно короткую биографическую справку: «Инженер Фридрих Горенштейн работал на шахте в Кривом Роге, а затем на одной из строек Киева. В центральной печати выступает впервые»...

Первая шумная публикация в Союзе так и осталась... единственной. И лишь сегодня, спустя двадцать пять лет, книги Горенштейна начинают возвращаться с Запада. Именно там писателя ждали успех, слава и признание читателей.

С Фридрихом Горенштейном мы встретились накануне Рождества в Западном Берлине, где он живет последние десять лет, в тот самый день, когда были открыты Бранденбургские ворота и ликующие толпы молодежи сновали туда-сюда, по несколько раз в день переходя ставшую условной границу.

И среди этой праздничной, шумной массы я безошибочно точно узнала писателя, который угрюмо ожидал меня на знаменитой станции метро Зоо, куда теперь беспрепятственно мог приехать советский гражданин, добравшийся с Восточной стороны.

Свернутая газета «Правда», отрешенность и полное равнодушие к общему немолкающему веселью — таким я и представляла его по отдельным устным рассказам: «Малокомпанейский, своеобразный, непредсказуемый и постоянно много работающий».

— Вы из того Берлина — да, интересно. То есть мне не интересно. Я там не был и пока не собираюсь. А что там происходит? Много немцев отсюда, да? Я вообще, с тех пор как выехал из Союза, в социалистических странах не был. Не тянет. А вы думаете, стоит посмотреть?

Мы медленно шли по Курфюрстендам — главной улице Западного Берлина, расцвеченной новогодними огнями и яркими витринами, в которых двигались, улыбались, кланялись уже поджидавшие свой праздник Санта Клаусы. Ничего этого Горенштейн не замечал, и по тому, как он говорил о своей работе, о нехватке времени, я понимала, что он вне этой житейской суеты.

— У меня сейчас много планов. Тяжелых. Я закончил пьесу о Петре, два года занимался Иваном Грозным. Хорошо уже все знаю, но никак не доберусь до него. Каждый день, как на работу, хожу в университетскую библиотеку. Нелегкий труд, надо изучить материал. Сейчас занимаюсь другим характером, похожим, но в другом мире — Тимур... Вот хочется сделать, но не всегда получается, что хочешь. Понимаете, в моем возрасте уже берутся за такие вещи, о которых знают — это выигрыш. Я берусь за вещи, не зная, выиграю или нет. Хочу освоить материал, иногда он меня подводит...

Из ответа писателя на анкету газеты «Либерасьон» «Почему я пишу»: «Сама по себе литература не воскреснет. Ей надо помочь... Распята на нужде в скромной затворнической вере и повседневном бытовом труде. Я тоже причисляю себя к верующим и потому тружусь ежедневно, пишу ежедневно с терпением и надеждой».

— Вы придерживались этой заповеди с начала литературного пути?

— Не знаю. Я тогда не думал. Мне кажется, первоначально позыв к писательству исходит не от разума, а именно от врожденного инстинкта.

Я приехал в Москву из Киева в 62-м году, до этого учился в Днепропетровском горном институте, поскольку там можно было оформить документы, чтобы не влезали в биографию. Работал на шахтах Урала и Украины, жил в самых низах, среди героев Василия Белова, поэтому думаю, что хорошо знаю Россию. Лучше многих. Поступал на Высшие сценарные курсы — не принял. Но удалось как-то зацепиться вольнослушателем, без стипендии. Тяжело было. В первую же неделю, сидя в библиотеке, написал «Дом с башенкой», до этого писал, но это все была предлитература. Сейчас бы за неделю не смог написать. Сил бы не хватило, а тогда был молод...

Рукопись попала к Лазарю Лазареву, он в то время в «Литгазете» работал, прочитал, отдал сам в «Новый мир»... но там рассказ натолкнулся на А. Закса (был такой у Твардовского ответственный секретарь), не прошло. Отдали в «Юность», — там — на Л. Железнова, что одно и то же. В общем, рассказ не был опубликован. А спустя год Виктор Сергеевич Розов (я у него в семинаре был) показал эту вещь Б. Н. Полевому. Ему понравилось, и тогда уже всем стало нравиться. Напечатали. Второй раз, правда, с романом «Зима 53-го года» это не сработало. Читали, обсуждали, где-то есть стенограммы — не пошло. Спустя много лет Максимов в «Континенте» напечатал. Но сейчас я об этом не жалею. Думаю, судьба мне помогала. Если бы тогда, в 1966 году, напечатали «Зиму 53-го...», я бы не написал остальных своих книг. Я бы старался публиковаться, спешил бы.

— Что касается творческой судьбы, то она у вас слишком трудная, как говорится, обстоятельства не помогли...

— Зато подталкивали в том направлении, которое я для себя выбрал... А так я, может быть, кончил бы тем путем, которым шли шестидесятники. То, что они тогда звучали, были популярны, многим из них навредило. Конечно, многие раскрыли себя, а многие — так и остались в том времени, хотя могли бы работать интереснее. Но они варятся в том же соку, идут в том же направлении, продолжают делать сегодня то, что было сделано позавчера.

Я понимаю, почему сегодня вперед вышла публицистика. Ее можно разрешить. Культуру разрешить нельзя. Запретить можно. Оживить — нельзя. Поэтому, когда оказалось все разрешенным — рухнула эстетика и этика 60-х. Она ведь строилась на запретах, ночных просмотрах, аплодисментах, — мне это чуждо... Об этом есть у меня в пьесе «Споры о Достоевском». Там как бы сформулирована моя программа. (Кстати, «Нева» хотела печатать, но — не судьба, отказали.)

— Мне трудно понять ваше неприятие шестидесятников, хотя слышала, что подобное негативное отношение к ним оттолкнуло от вас многих писателей и издателей русского Зарубежья. Может быть, все же это объясняется тем, что вы не оказались в поколенческой обойме? Ведь начинали все вместе, на волне XX съезда входили в литературу... Почти у всех биография, сходная с вашей, — арест и расстрел отца, скитание по стране, смерть матери, детдом, война...

— Нет, нет, нет — почему так определяют? Восприняли XX съезд, не восприняли. Тогда целое поколение восприняло, но дело ведь не в том, против чего выступали, а в том — за что! Вот эти две точки важны. С каких позиций против? Против у нас совпадало, за — нет. Объединяться по принципу против — нельзя. Надо объединяться по принципу «за» или вообще не объединяться. Потом, я говорю про эстетику литературную. Она тогда формировалась...

— То есть с 64-го года вас не печатали именно потому, что эстетика не совпадала с тем стереотипом, который, по вашему мнению, существовал в литературе?

— Вы знаете, мои книги, которые не публиковались, были не острее тех, что выходили в 60-е годы... но опять же у меня эстетика другая. Я был чужак, лишенный такого личного самоутверждения, а этот элемент существовал тогда в литературной жизни. Нужно было не только заниматься литературой, но и жить в ней, чего я никогда не делал. Я считаю, что главное — книги, а все, что вокруг них, — ерунда.

— Да, но первая публикация в «Юности» сразу же принесла вам известность.

— После публикации обо мне заговорили положительно. А это было плохо. Все хвалили, никто не обругал, и это тоже сыграло свою роль. В то время читали запретное. «Дом с башенкой» был известен в довольно узком литературном кругу, но серьезного влияния на мою карьеру не оказал. Я выехал на Запад фантастически: без имени, без карьеры.

— Почему? Была же публикация в печально известном «Метрополе», который наделал много шума в стране и еще больше за рубежом.

— Ну, в «Метрополе» вышел только отрывок из «Ступеней». И, думаю, участие в этом альманахе — моя личная ошибка. Не потому, что я против этого мероприятия, нет, напротив. Но я не хотел печататься в «Ардисе», потому что раньше они мои вещи отклоняли, а альманах вышел там, и, во-вторых, «Ступени» — одна из самых моих эмоциональных вещей, и она утонула среди множества других имен. Повесть тогда мало кто заметил, лишь позже, когда она вышла отдельной книжкой во Франции, на нее обратили внимание.

— До отъезда за границу вы еще пятнадцать лет жили в Союзе, как жили, на что?

— То есть как жил? Плохо жил. На сценарии. Я сделал восемь фильмов — «Солярис» с А. Тарковским, «Раба любви» с Н. Михалковым, «Седьмую пулю» с Камраем и т. д. На литературный заработок жить не мог... Но в те годы написал главные свои вещи: «Зиму 53-го...», «Искушение», «Ступени», «Место».

— Ваш отъезд в Германию в 1980 году совпал с массовой еврейской эмиграцией. Вы поддались общему настроению или были другие причины?

— Я решил уехать еще где-то году в 77-м, когда понял, что время уже прошло, ждать больше нечего и надо публиковать свои вещи. Наступает момент, когда страшно оставлять рукописи в столе, может погибнуть труд. И если бы я не уехал, то многое не смог бы опубликовать. Пока вещи частями передаются оттуда сюда, это не то. Если автора нет, если вокруг него нету шума, печатают либо в искаженном виде, либо совсем не печатают. И мой выезд сыграл очень большую роль.

Первоначально я хотел ехать во Францию, она мне очень нравилась, но в 1979 году в Германии впервые вышел мой роман «Искушение», написанный еще в 1967 году. Западнберлинская Академия

объявила меня почетным членом и пригласила в Западный Берлин на год, на стипендию. Я хотел выехать с советским паспортом по приглашению, но мне отказали. Предложили ехать по израильской визе, сказали, лучше будет, если я выеду таким образом. Хорошо. Выехал. Оказалось, что меня вела судьба, потому что Германия — именно та страна, которая мне нужна.

— Судя по зарубежным изданиям, вам здесь действительно хорошо работаете, вышло около двух десятков рассказов, повестей, пьесы, романы — «Попутчики», «Псалом». После публикации последнего во Франции газета «Нувель Обсерватор» восторженно писала: «Не новый ли Достоевский вырос из воспитанника сиротского дома и бывшего комсомольца?» Ну а как же языковая среда? Нет ощущения оторванности?

— Как создаю среду? С помощью книг. У меня огромная опора — знание жизни. Набоков выехал из страны восемнадцатилетним, а я сорокасемилетним. Потом у меня огромное количество блокнотов, записей, я вел их. У меня больше 100 блокнотов.

Я, например, писал Петра на языке его времени, на языке XVIII века. И это чудо, что мне удалось так его выписать. Это был огромный труд, тяжелый — но аромат XVIII века остался, синтаксис, грамматика сохранились. Конечно, в переводе много будет потеряно, но пока эта вещь на родном языке не выходит...

— Сейчас вы благополучный сценарист, писатель, а первое время как складывалась жизнь здесь?

— Трудно. Первое время трудно. Я всегда тяжело приезжаю. У меня легких путей не бывает. Может быть, и буду скоро камни бросать, но пока все собираю, собираю. Условия далеко не идеальные, но работаем. Я работаю, жена. Денег хватает.

— Судя по вашему рассказу, живете вы довольно уединенно, мало с кем общаетесь. С чем это связано?

— Почему у вас там сразу: рассорились, не рассорились? Я иногда кого-то там вижу — Войновича, Бор. Хазанова, а так почти никого... У нас ведь есть как бы своя номенклатура, меня это отпугивает. Ведь в эмиграцию вместе с писателями выехало огромное количество литкружковцев. Шумная, голосистая такая ватага. Они подружились со славистами, стали работать на различных радиостанциях — там, «Голос», «Свобода» и начали создавать свои авторитеты, делать различный подхалимаж вокруг отдельных имен. Участвовать в этом нечестно. Нужно кому-то подпевать, подкакивать. Это мне чуждо, я в стороне от этого. Зачем же я выезжал сюда?

— Сейчас, когда к вам стали приезжать из Союза, говорить о возможных публикациях, есть ощущение, что пришло запоздалое прощение и признание?

— Что касается прощения, то мне этого не нужно. Когда я уезжал, я уже хотел уехать не только потому, что не публиковали, просто я устал. И передо мной не надо извиняться, передо мной нельзя извиниться.

А о признании... Вы знаете, я как-то не думаю, может быть, раньше это чувство было бы, но сейчас... Я уже вступил в тот возраст, когда важно не только опубликовать, но еще важнее написать. А каким тиражом выйдет, где, — это уже не так важно. Важно, что книга существует. Ее прочтут — не сейчас, так потом. Это уже существует. Уничтожить нельзя, запретить нельзя. Она есть! И какой я там писатель, как у вас принято теперь говорить, русскоязычный, антиязычный — не важно. Книга есть. Нравится — читайте! Не нравится — не читайте! Уничтожить — не можете!

Вот таким, непримиримым, в чем-то спорным и неоднозначным оказался мне во время первого знакомства Фридрих Горенштейн. Дальше — дело читателя. Одна из первых зарубежных статей о Горенштейне называлась «Рождение мастера», спустя два десятилетия время возвращает нам мастера, откормим ли мы его? Надеюсь, что знакомство с романом «Искушение» станет тем самым открытием.

Анна ПУТАЧ

Западный Берлин — Москва

1.

Мать сидела на табурете, привалившись спиной к столу, и красными от мороза руками стаскивала кирзовый сапог. Всякий раз, когда мать, придя с работы, начинала стаскивать сапог, Сашенька замирала, глотая слюну, с колотящимся сердцем ожидая лакомых кусочков. Был последний день декабря сорок пятого, уже начинало темнеть, и Ольга принесла из кухни коптилку.

То, что их жилища Ольга была дома, сердило Сашеньку, она знала, что Ольга не уйдет к себе на кухню, а будет торчать у стола, пока мать не даст и ей что-нибудь.

Мать левой ладонью схватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки, упираясь в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшенной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было четыре котлеты: две совсем целые, подернутые хрустящей корочкой, две же были примяты ступней, и мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек в кусочек. Затем она потянула ватную штанину и начала отстегивать припущенный булавками к чулку промасленный мешочек. Сладкий волнующий запах защекотал Сашенькины ноздри, под ребрами защемило, и она сглотнула слюну. Ольга тоже сглотнула слюну, да так громко, что в горле что-то хрустнуло, и Сашенька посмотрела на нее со злобой.

Сашеньке было шестнадцать лет, и была она довольно миловидна, но когда начинала сердиться, а сердилась Сашенька часто, бледное личико ее покрывалось румянцем, глазки блестели, губки иногда вытягивались вперед, а иногда приоткрывались, обнажая мелкие аккуратные зубки. Сашенька страдала, но где-то в глубине души испытывала и удовольствие всякий раз, приведя себя в такое состояние.

Ольгу Сашенька ненавидела так, что, случалось, от гнева начинал болеть затылок.

Ольге было лет тридцать восемь, но выглядела она старше. Это была тихая, покорная женщина, однако покорность ее временами переходила в наглость, так как, не помня и не чувствуя обид, она не знала и стыда. Работала она поденно, мыла полы, стирала белье, по воскресеньям и церковным праздникам ходила на паперть и потом сортировала у себя за ширмой медяки, черствые куски пирога, застывшие вареники из черной муки. У Сашеньки с матерью Ольга поселилась тоже благодаря своей покорной наглости. Однажды она пришла работать: вымыла пол, принесла из сарая два мешка торфа, потом легла за печь и уснула. Был морозный ноябрьский вечер, а на Ольге были рваные чулки и галоши, подвязанные бечевкой. Мать ее пожалела, не стала будить. К утру Ольга расхворалась, кашляла, тяжело дышала. Дня через два кашель прошел, однако Ольга так и осталась жить за печью на кухне. Постель ее состояла целиком из вещей, днем на нее надетых. Под низ она подстилала две юбки, солдатскую гимнастерку, солдатскую байковую рубашу, телогрейку заменяла подушку, а платок — одеяло. В общем, с одеждой у нее обстояло неплохо, туго было с обувью, в одних галошах ломило от мороза пальцы, хоть она кутала ноги тряпьем и бумагой.

Но еще более Ольги ненавидела Сашенька ее ухажера Васю, которого Ольга подобрала где-то на паперти замерзающего и тоже привела в дом. Вася был крестьянин высокого роста с широкими, как лопата, руками, волосатыми ушами и толстой тяжелой шеей. Но глазки на его лице были маленькие, линия голубые, всегда испуганные и просящие.

— Как же так, Ольга,— сказала мать.— Как же ты человека в чужой дом поселяешь?... А может, он вор или заразный...

— Нам до весны, хозяйка,— отвечала Ольга, отпавивая Васю кипятком.— Христа ради, хозяйка...

Вася так замерз, что не мог говорить, лишь испуганно косился на мать и с мольбой смотрел на Ольгу, точно прося, чтобы она его защитила. Вася остался.

Сашенька после узнала, что сбежал он из села, где соседка, как сказала Ольга, по злобе написала на Васю бумагу, будто он служил в оккупацию полицаем. Вася был совсем тихий, тише Ольги, и если не ходил на заработки, то сидел на кухне за ширмой, которую им дала мать. Ольга поставила в своем уголке круглый столик, весь ноздреватый, изъеденный древесными червями. Вася из досок сколотил скамеечку, на стену они повесили бумажные цветы, иконку и портрет маршала Жукова, вырезанный из газеты.

Пока мать снимала с ноги промасленный мешочек, Сашенька с тревогой думала, на заработках ли Вася, или он сидит за ширмой. В мешочке оказались пончики.

— Это по случаю Нового года,— сказала мать.— Для комсостава пекли...

Мать работала посудомойкой в милицейской столовой, и потому руки у нее были красивые, распаренные кипятком из кухонных чанов, а на морозе они краснели еще сильнее и опухали в суставах.

Сашенька смотрела, как мать достает пончики, раскладывает по тарелке, и красные, распухшие пальцы ее теперь лоснились от жира. Пончиков было семь. Мать сложила их кружком вдоль ободка тарелки и облизала с ладоней мазки повидла.

Сашенька прикоснулась к пончику, он был еще теплый и такой мягкий, что палец сразу утонул в нем, а изнутри полезла колбаска повидла.

— Подожди,— сказала мать.— Сперва кашу и котлеты разогреть надо... Ольга, во тебе с Васей,— она положила на другую тарелку целую котлету и несколько кусочков от раздавленной. Котлета эта была с одного бока несколько пережарена, но Сашенька любила погрызть такую хрустящую мясную корочку. К котлете мать добавила три комка каши, затем, подумав, добавила еще комков.

— Вася,— радостно сказала Ольга.— Ты выходи, Вася, хозяйка угощает... Пожируем...

Вася вышел из-за ширмы, но в комнату не вошел, остановился на пороге. Сашенька почувствовала, что у нее начинает учащенно колотиться сердце.

Мать взяла два пончика и положила их на Ольгину тарелку.

— Угощайся,— сказала мать.— Первый год без войны встречаем...

Мать улыбнулась, и Вася тоже улыбнулся. От него исходил кислый запах, какой бывает в неопрятном бедном жилье. Сашенькино сердце понеслось так, что дух захватило, точно Сашенька бежала с крутой горы и не могла остановиться.

— Пусть он уйдет,— крикнула Сашенька.— От него воняет... Когда я у стола... Пусть он всегда... За ширму... И она...

Вася затих на пороге, пригнув голову, а Ольга шагнула к нему, чтоб защитить в случае надобности, и этот здоровый запуганный мужик еще сильнее разозлил Сашеньку.

— Мой отец погиб за родину,— крикнула она матерю высоким голосом, как на митинге,— а ты здесь немецкого холуя прячешь.

Перед ней мелькнуло лицо матери с подпухшими глазами, мелькнул растрепанный жиденький клубок волос на макушке, и Сашенька вдруг впервые поняла, что ее сорокалетняя мать совсем постарела. На мгновение ей стало жалко мать, она ослабила грудь, на-

пряженную от злобы. Но это позволило также передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха в легкие и закричать громко уже нечто неразборчивое, как не раз хотелось кричать, испытывая тоскливую сладкую истому, которая уже больше года терзала Сашеньку, лишь стоило вечером потушить коптилку. А иногда, просыпаясь ночью, она стискивала зубы, ей хотелось, чтоб кто-то большой, с неясным лицом, взял грубыми руками ее тело и мял и рвал на части. В последнее время Сашенька начала думать о «ястребке» Маркееве.

«Ястребками» называли допризывников из истребительного батальона, который нес патрульную службу в городе.

Сашенька ненавидела Маркеева, но прошлой ночью ей приснилось, будто Маркеев прижимает ее к какой-то стене, и это было так сладко, что, когда она проснулась, все тело еще несколько минут дрожало в ознобе.

Озноб охватил ее и теперь, она сгребла кашу, котлеты и пончики из всех тарелок, вывалила на стол и начала перемалывать в ладонях, глядя, как меж залоснившихся пальцев ее ползет клейкая от повидла масса. Ольга увела Васю за ширму, они там сидели тихо, даже не шептались, потрескивала коптилка, мать стояла, устало опустив руки, босая, в ватных штанах, закатанных до колена, и Сашенька тоже начала успокаиваться, стало легче, и дышалось свободнее...

— Ногами не топчи,— сказала мать.— Повидло и кашу потом от пола не отскребешь...

Раньше мать била Сашеньку, но недавно Сашенька заметила, что мать ее начала бояться, особенно когда Сашенька впадала в ярость.

Сашенька стряхнула с пальцев остатки клейкой кашицы и пошла на кухню умываться. За ширмой шепнула что-то торопливо Ольга и быстро замолкла на полуслове, словно сама себе зажала рот.

— Попрятались, скоты безрогие,— крикнула Сашенька,— мой отец голову сложил, а эти тут прячутся...

Вода в ведре покрылась коркой льда. Сашенька взяла кружку, разбила лед, зачерпнула и, склонившись над тазом, набрала ледяной воды в рот, плеснула на руки. Она стащила нитяной свитер, закатала рукава майки-футболки, огрызком хозяйственного мыла тщательно вымыла лицо, шею и, оттянув майку, вымыла грудь. Посвежевшая и даже повеселевшая Сашенька вернулась в комнату. Мать ложкой подбирала со стола слизкие, перемешанные вместе комки, пытаясь отделить остатки пончиков от каши и котлет. После холодной свежей воды Сашенька почувствовала такой приступ голода, что ей сжало лоб, виски и больно защемило живот. Она хотела было подойти и съесть оставшуюся нетронутую котлету и два пончика, но пересилила себя и с каменным лицом прошла мимо матери во вторую маленькую комнатку, где стоял зеркальный шкаф. Сашенька закрыла дверь на крючок, засветила свечу, накапала на табурет плавленным парафином, прилепила свечу перед зеркалом и принялась раздеваться. Она сняла футболку, мятую юбку, рейтузы и минуту-другую смотрела на себя в зеркало. Сашенька была хорошо сложена и знала это. У нее были длинные ноги, широкие бедра и маленькая грудь. Правда, вид нескольких портильных проступающих с обеих сторон ребра.

Сашенька положила ладони на бедра и сжала их пальцами, испытывая сладостное щекочущее ощущение. Потом провела себе ладонями под мышками, потрогала налившиеся упругие соски и тихо засмеялась от внезапно нахлынувшего счастья. Она надела шелковый розовый бюстгальтер, кружевные трусики, взяла прохладную скользкую комбинацию, пахнущую

духами, и прижала к лицу, потом нырнула внутрь комбинации, содрогнувшись от ласковых прикосновений шелка к коже, глянула на свое плечико, перетянутое шелковой голубенькой ленточкой, и потерлась об эту ленточку щекой. Вся одежда принадлежала когда-то матери, но теперь пришла Сашеньке в самый раз. Затем Сашенька сунула голову в шкаф, в пропахшую нафталином темноту, и вытащила картонную коробку с туфлями. Она натянула белые фильдеперсовые чулочки, новую юбку и белые туфли-лодочки. Туфли были не по сезону и тонкая шелковая блузка розового цвета тоже, но зато все ладно сидело на Сашеньке, к тому же это был ее единственный наряд. Радостная, с блестящими глазами, Сашенька прошла перед зеркалом. Потом прошла с независимым видом, бросая презрительные взгляды, потом сделала несколько танцевальных фигур, взявшись пальчиками за край юбки. Она откинула крючок и вошла в большую комнату, вновь сердито и раздраженно сжав зубы, потому что понимала: стоит ей улыбнуться, перестать злиться и страдать, как она потеряет власть в доме. Мать сидела за столом, увидав Сашеньку, она провела ладонью по глазам и сморщилась. Последнее время мать часто плакала по всякому поводу, и Сашеньке это было неприятно.

— Чего опять водопровод открываешь? — стараясь говорить низким голосом, спросила Сашенька.

— Красавица ты у меня,— всхлипывая, сказала мать,— жаль, отец не видит, какая ты теперь взрослая комсомолка...

— Отец за родину голову сложил,— сказала Сашенька,— а ты здесь в тылу воруеть...

— Специальности у меня нет,— сказала мать,— было б образование, можно было б на хорошую зарплату устроиться...

Сашенька вышла на кухню и увидела, что на ее шубке висит пыльная и грязная Васина шинель без патки, измазанная каким-то мазутом или соляркой. Она рванула шинель, но шинельная вешалка была пришита крепко, видно, Ольга прошила ее двойным швом, и Сашенька сломала ноготь.

— Скоты,— крикнула Сашенька, повернувшись в сторону ширмы.— Если еще раз эту грязную тряпку... Если еще раз... Я в помойку... Сашенька повисла на шинели всем телом и вырвала шинельную вешалку. Шинель упала на пол, но вместе с ней упала и Сашенькина шубка, а сама Сашенька больно ударила колено. Испуганная мать вбежала на кухню и сказала:

— Ольга, я ведь просила твои вещи класть отдельно... Вон в углу очень удобное место.

Мать наклонилась, чтоб подобрать шинель, однако Сашенька наступила на шинель ногой и вдоволь позволила ее по полу, стараясь протащить шинель там, где погрязней и намочено.

— Пусть сам подберет,— крикнула Сашенька.— Скоро тридцать лет, как лакеев нет... Это ему не гитлеровским гауляйтерам патриотов выдавать...

За ширмой тяжело вздохнули, но промолчали.

От возни и криков Сашеньке стало жарко, она торопливо надела шубку, пуховый берет, который натягивался на уши и у подбородка завязывался ленточками, надела сапожки, а туфли завернула в газету, схватила сумочку и выбежала на улицу.

В переулке было темно, и, чтоб сократить путь, Сашенька свернула на узкую тропку, прошла мимо обледеневшей водяной колонки. За колонкой были сарай и развалины одноэтажного из серого кирпича дома. Пахло здесь всегда сладковато и жутко, словно трупами. Но позднее Сашенька узнала, что запах у сараев не трупов, а немецкого порошка от вшей. В сером домике при немцах был какой-то пункт санэпи-

демстанции. Там и сейчас валялось много пакетиков с изображением большой зеленой вши.

Возле развалин стоял дворник Франия, схватившись руками за покрытые инеем остатки железного крыльца. Крыльцо было сделано из фигурного железа с разными железными бантиками и завитушками. Сохранились даже высохшие прутья дикого винограда, некогда вившиеся вокруг металлических стержней крыльца.

— Кто сказал на кума падло? — крикнул Франия и захохотал. Он вынул из кармана луковицу и начал с хрустом перемалывать ее. Вдруг Франия схватил Сашеньку за руку и прижал свой мокрый сивушный рот к ее уху...

— Тут семья зубного врача закопана... Леопольда Львовича. У выгребной ямы... Возле клозета... — зашептал Франия.

У Франии были выпуклые то ли пьяные, то ли безумные глаза. Сашенька вырвалась, выбежала на середину мостовой и торопливо пошла, стараясь быстрее добраться к бульвару, где было светло илюдно.

На главной улице горели фонари, и у кинотеатра шелестела украшенная бумажными игрушками и флажками большая сосна. В двухэтажном здании штаба дивизии и в расположенных рядом корпусах, где жили семьи военнослужащих, горело электричество, окна были чрезвычайно яркие, праздничные. Дворец пионеров, где начинался новогодний молодежный бал, также ярко блистал электричеством. Это было старое здание с высокими окнами и лепными потолками. До революции и во время оккупации здесь располагалась городская управа.

Перед входом стояла толпа. Мраморные лестницы были сплошь покрыты оледеневшими плевками и комками снега. Сашенька втиснулась в толпу, и ее понесли, поволокли по скользким плитам, ударили о дверь и внесли в вестибюль, очень холодный, насквозь продуваемый ветром, где цепочка «ястребков» сдерживала натиск. Администраторша ловко схватила пригласительный varejками и надорвала. Вестибюль был украшен транспарантами, елочными ветками и цветными электрическими лампочками, которые недружно мигали.

Сашенька торопливо разделась, сняла сапожки, спрятала в сумочку номерок, поднялась на верхний этаж и возле буфета увидела Маркеева с ассирийкой Зарой.

В городе жила большая восточная семья, державшая рундучки по чистке обуви и продаже ботиночных шнурков. Некоторые именовали их грузинами, а некоторые — ассирийцами. В действительности же они были то ли курды, то ли сербы. Зара одета была в тяжелую и пыльную бархатную юбку и с золотыми подвесками в ушах. Маркеев же в модном голубоватом френче, начищенных сапогах и галифе. По последней моде от пояса его к карману тянулась цепочка — шомпол от немецкой винтовки. Алюминиевые звенья скреплены были колечками, а на конце цепочки виднелся черенок отличного складного ножа, который кокетливо выглядывал из кармана. У Сашеньки пересохло сразу горло, но она сумела сделать независимый вид и пошла к буфетной стойке, вилая бедрами. Лишь краешком глаза следила она за собой в зеркале, и чем дальше шла, тем лучше ей становилось, она чувствовала, что произвела эффект филдеперсовыми чулочками, розовой блузкой с большим декольте, в котором чуть-чуть виднелся кружевной край комбинации, что одежда эта, хоть и является единственной нарядной, тем не менее очень удачно подчеркивает все хорошее, что есть у Сашеньки, и, наоборот, скрывает дефекты, которые Сашенька знала наперечет. Так, например, у нее был немного более чем надо удлинённый подбородок, и иногда, оставаясь

наедине перед зеркалом, Сашенька с досадой терла подбородок пальцами до красноты, точно он от этого станет меньше. Был у нее также на затылке шрам от перенесенной в детстве операции, но Сашенька шрам этот pudрила и прикрывала волосами, расчесывая их как бы небрежно, так что справа у шрама они ниспадали вниз. Однако теперь в зеркале она нравилась сама себе.

Это был первый Сашенькин бал. Она давно готовилась, всю неделю, с тех пор как мать ей достала в местном спецторга пригласительный. Сашенька мылась каждый день специальным трофейным раствором, купленным на барахолке, накручивала бигуди, втирала в кожу одеколон, впервые в жизни подкрасила губы бантиком и напудрила щеки. И вот теперь сын генерала Батюни что-то шептал своему приятелю, украдкой поглядывая на Сашенькины икры, обтнутые кремовым филдеперсом. Сашенька стала в очередь и, предъявив пригласительный, получила по коммерческой цене подарок. Выдав пакетик, буфетчица поставила на край билета штампик «Погашено».

Сашенька вошла в большую залу, где стояла елка и играл военный духовой оркестр. Множество пар кружилось — одни медленно, другие быстро, толкаясь плечами. Но Сашенька не стала останавливаться в центре, каждый шаг ее сейчас был рассчитан, будто какая-то опытная сила руководила ею. Сашенька прошла и села подальше в тень под балконом. В зале были балкон и сцена, но все происходило в центре у елки, освещенной несколькими стоваттными лампами. Сын генерала Батюни сразу же подошел, сел рядом и начал вырывать у Сашеньки сумочку.

— Противный, — певуче крикнула Сашенька и, захотав, ударила его по руке.

Бог знает где усвоила Сашенька этот кокетливый, ласкающий удар, когда девичья ручка, совершенно расслабленная в кисти, вначале касается мужской руки запястьем, а потом прокатывается по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками.

Сын генерала Батюни, восприняв покаяние ноготками как призыв, отдернул руку и тут же ошалело сунул ее снова, но не к сумочке уже, а в Сашенькины филдеперсовы колени. И Сашеньке стало сладко и страшно, как во сне. Несколько мгновений она словно зачарованная сидела, вся отдавшись чужим долгожданным пальцам, которые мяли ей колени и, становясь смелее, лезли дальше. Но, очнувшись, она с такой силой толкнула юношу в грудь, что тот едва не слетел со скамьи.

— Пойдем на балкон, — шептал Батюня.

— Нет, я хочу танцевать, — твердо сказала Сашенька.

Сын генерала Батюни покорно пошел за ней к центру зала. На нем был китель, какой не снился «ястребку» Маркееву, из английского сукна и с кантами, а от пояса к карману тянулась позолоченная цепочка и виднелся кончик рукоятки ножа, сделанного из кабаньей ножки с копытцем вместо черенка.

Сашенька станцевала танго, потом вальс, потом польку-бабочку. В перерывах она грызла в темноте под балконом грецкие орешки и американский посылочный шоколад с начинкой, которым угощал ее Батюня, а Сашенькин подарок, нераспечатанный, лежал в сумочке на завтра. Сашенька съела столько шоколада, что совершенно перестала быть голодной и вкус шоколада даже стал обыденным и привычным. Шоколадные обертки и скорлупу грецких орехов она складывала Батюне в ладонь, которую Батюня покорно держал на весу. Батюня прятал отходы в расщелины между паркетом.

В первом часу ночи началась какая-то драка на балконе, кого-то держали, кого-то вели, но Сашенька

все это тоже восприняла весело. От шоколада она даже немножко опьянела, у нее были липкие губы и почесывало небо и гортань. Несколько раз мимо мелькал Маркеев с Зарой. Зара трясла своими золотыми подвесками, как коза, а Маркеев только издали выглядел сытым и красивым. У него были сапоги со стоптанными каблуками, а в перерыве между танцами Сашенька заметила, как он украдкой грыз сухарь, стоя за дверьми. Он подбирал крошки с рукавов и клал их в рот. Сашенька едва не покатилась со смеху, когда увидела, как Маркеев растерялся, заметив, что обнаружен со своим сухарем, как, не донеся ко рту, он бросил на пол снятую с рукава крошку, а потом еще снимал и бросал на пол какие-то пылинки и ниточки с кителя, чтобы ввести в заблуждение. Сашенька подняла голову и, посмеиваясь, скосив глаза в сторону Маркеева, начала шептать Батюне на ухо. Она шептала ему, что хочет буфетного кваса по коммерческому ценам, она могла сказать это и вслух, но умышленно шептала на ухо, чтоб Маркеев подумал, будто говорит о нем. Она мстила Маркееву за сны, в которых он хватал и мял ее, и за ненавистный девичий диванчик, который она после этого терзала боками, проснувшись среди ночи.

Маркеев злобно посмотрел на Сашеньку и, толкнув дверь, выскочил в вестибюль, а Сашенька громко захохотала. От смеха и танцев Сашенька порозовела и стала такой красивой, что Батюня, позабыв обо всем, кинулся не в коммерческий буфет, а к вешалке за шинелью, откуда через дорогу в свежоштукатуренный дом высшего комсостава и, улучив момент, выхватил из личного отцовского шкафчика бутылочку с французскими надписями и несколько мандаринок. Не переводя дыхания, он метнулся назад и, как бежал к Сашеньке, не помнил, как раздел шинель на вешалке, не помнил, точно мгновенно перенесло его снова к Сашеньке, и он стоял перед ней запыхавшийся, всклокоченный, вымазанный штукатуркой и с сияющими глазами.

В зале играли в фанты. Ходил хромой «культурник» в кители с петлицами танкиста, но без погон, и раздавал картонные номерки. У Батюни оказался номером «резеда», у Сашеньки — «настурция».

— Ой,— крикнула Зара.

— Что с тобой? — спросил танкист-«культурник».

— Влюблена,— сказала Зара, поправив подвески.

— В кого?

— В «незабудку».

— Ой,— нагло крикнул Маркеев, будто никогда и не грыз за дверьми сухарь, а с утра до вечера питался густым американским молоком и американским пудингом с изюмом, упакованным в золоченые коробочки.

— Пойдем на балкон,— шепнула Сашенька Батюне и, посмотрев на Маркеева, довольно громко прыснула.

Сашенька и Батюня поднялись винтовой лестницей, где пахло кошачьим пометом и дул сквозняк. На балконе было пыльно и темно. Фонарик осветил сложенные кверху ножками, сбитые вместе общей планкой ряды кресел, сломанный бильярдный стол, равные, пущенные на сапожные бархотки портьеры. Под ногами хрустел мелкий клубный инвентарь: шахматные доски и фигурки, погнутый горн, несколько «испанок» с кисточками и масок зверей из папье-маше.

Батюня вынул ножик и ковырнул им пробку французской бутылки. Пробка хлопнула, и ароматная пена поползла, запузырилась, потекла на сложенный в беспорядке грязный хлам.

— Пей,— сказал Батюня,— французское шампанское...

Он приставил бутылку с шампанским к Сашенькиным губам, она глотнула несмело, зажмурилась

и глотнула еще несколько раз. Шампанское по вкусу было немного похуже лимонада, который Сашенька пила в День Победы, не такое сладкое и без запаха фруктовой эссенции, который Сашенька обожала, но все же оно так же приятно пощипывало в горле, а после третьего глотка Сашенька ощутила некоторое воздействие. Батюня сунул ей мандаринку, Сашенька понюхала желтую нежную кожицу и засмеялась.

— Ешь,— сказал Батюня.

— После,— сказала Сашенька и спрятала мандаринку в сумочку.

— Возьми еще,— сказал Батюня и протянул ей новых три мандаринки.

Сашеньке было жаль рвать атласную кожицу, две мандаринки она тоже спрятала в сумочку, а третью, самую плохую, не желтую, а зеленоватую, разодрала и положила дольку в рот. Закрыв глаза, высасывала Сашенька мандаринку и доглатывала ароматную слюну. В желудке ее уже давно клочотало и покалывало, видно, Сашенька объелась американским шоколадом, и раза два к горлу подкатывала легкая тошнота, после которой во рту остался кисло-сладкий привкус клейкого, нормированного карточками хлеба, какао с ванилью и пшеничного супа.

Когда Батюня потянулся целоваться, Сашенька испуганно отдернула голову, хоть ей очень хотелось впервые в жизни попробовать губами губы мужчины. Но она боялась, что Батюня ощутит этот кисло-сладкий привкус, от которого ей сводило рот. Однако, выпив шампанского и пососав мандаринку, Сашенька почувствовала себя гораздо лучше, желудок притих, перестал покалывать, а во рту теперь было свежо, прохладно и ароматно. Она ждала, что Батюня снова попытается ее поцеловать, но он был, наверно, испуган отказом и не решался. Сашеньку это разозлило, и она сказала:

— Пойдем вниз.

Батюня молча кивнул. У него был покорный и грустный нос, совсем несмелый, и грустно торчал на макушке хохолок, Сашеньку это рассмешило, и что-то доброе тронуло ей сердце, она почувствовала благодарность к Батюне за мандаринки, за шоколад и за то, что он в нее влюбился. Ей захотелось сделать Батюне что-нибудь хорошее, но она не знала что, и к тому же в голове немного путалось и шумело.

— Я тебя поцелую,— сказала Сашенька,— только ты закрой глаза.

Батюня торопливо закрыл глаза. В губы Сашенька все же не решилась, она долго выбирала то ли в лоб, то ли в щеку.

— Давай,— нетерпеливо крикнул Батюня, приоткрыв глаз.

— Закрой глаза, противный,— крикнула Сашенька и шагнула, чтобы поцеловать его в шею. Но едва она приблизилась, как Батюня вдруг ошалело схватил ее за плечи и ткнул несколько раз чем-то мокрым в нос и в краешек рта. Вырвавшись, Сашенька поняла, что мокрые, неприятные прикосновения и были ее первым в жизни поцелуем, о котором она так мечтала. Ей стало горько и грустно оттого, что первый поцелуй уже позади, и он такой неинтересный. Она отошла к поломанному бильярдному столу, стоявшему торчком, уперлась в него ладонями.

— Ты чего? — виновато спросил Батюня.

— Ничего,— сказала Сашенька и заплакала.

— Я, может, тебя обидел,— растерянно сказал Батюня,— ты не думай... Я жениться на тебе хочу...

Сашенька посмотрела на его покорный нос и, перестав плакать, рассмеялась.

— Пойдем вниз,— сказала она.

Ей вдруг захотелось танцевать, петь, флиртовать и быть в центре внимания. Внизу снова гремел оркестр. Танцевали что-то быстро и горячее.

— Понеслось,— кричал танкист-«культурник»,— больше пота, меньше крови.

Оркестранты поднялись со своих мест, поддавая жару. Маркеев жонглировал сапогами, а Зара терзала коленями собственную юбку так, что ясно был слышен треск поддающихся швов.

Сашенька задрожала, предвидя трудную борьбу. Зара была старше ее на два года, и ноги у нее были мускулистые, сытые, какие бывают только от доброкачественных продуктов питания. Но Сашенька и не думала перетанцовывать Зару, и не думала включаться в бешеный темп фокстрота. Наоборот, она с Батюней поплыла медленно и плавно, умело пропуская несколько музыкальных тактов, топчась на месте и тем самым попадая в ритм. Это был точно рассчитанный ход, который осенил Сашеньку мгновенно, когда она еще была на последней ступеньке винтовой лестницы. Недостаток Сашенька превращала в преимущество. Двигаясь медленно, Сашенька сразу выделялась из общего числа танцующих, которые пытались друг друга переплясать. Лица у всех, даже у девушек, были красивые, искаженные, точно они выполняли тяжелую работу, рты судорожно хватали воздух, а подмышки набухали от пота. Сашенька же плыла плавно и легко, она тем самым могла показать и свои фильдеперсовы чулочки, и розовую блузку с декольте, и даже кружевную голубенькую комбинацию, которая просвечивала сквозь прозрачный маркизет. Прошло не более минуты, и Сашенька начала пожирать плоды своего умного поведения, а также своей одежды и внешности. Несколько лейтенантов, которые появились в зале лишь недавно, смотрели только на Сашеньку, прервав танцы и отойдя к стене. К стене отходили и другие парни покрупней: «ястребки» в кителях, учащиеся машиностроительного техникума, футболисты команды «Рот-фронт», и вообще все сильное и красивое отходило в сторону, к стене. Пробовали, правда, плясать несколько второстепенных парочек, но на них никто не обращал внимания, а Зара и Маркеев вообще куда-то исчезли. Наконец, танкист-«культурник» взмахнул рукой, и побежденный Сашенькой оркестр затих, музыканты уселись, вытерли платками лица и заиграли плавное танго, подстраиваясь под Сашенькин ритм. Сашенька с достоинством переждала паузу, спокойно стоя в середине круга, положив одну руку ладонью на плечо Батюне, а кисть второй небрежно, расслабленно, словно награду, вручив Батюниной правой руке. Чтоб показать свое безразличие ко всеобщему вниманию, она тихо спрашивала своего партнера о пустяках, которые ее совершенно не интересовали. Она спросила, не жмут ли его сапоги и рано ли ложится спать его мама. А вот ее мама иногда спит как убитая, а иногда ворочается всю ночь, как Ольга.

Сашенька тут же спохватилась, потому что так мимоходом можно и сболтнуть, что мать работает посудомойкой, а вместе с ними живут двое убогих нищих, которые попрошайничают на церковной паперти. Но тем не менее со стороны разговор их выглядел красиво, Сашенька была увлечена тихой беседой, о которой все эти лейтенанты и «ястребки» могли лишь строить догадки. Когда заиграла музыка, Сашенька также с достоинством, слегка наклонив голову и грустно улыбаясь, поплыла, грациозно скользя по паркету лодочками и вся расслабившись, безразличная к известности, которой она еще вчера так жаждала, созданная лишь для того, чтобы украшать, но не любить, как Марлен Дитрих или Эрика Фидлер из немецких цветных фильмов, взятых в качестве трофеев. Сашенька плыла и плыла по паркету, и уж ничего не интересовало ее, кроме высоких окон, которые золотили блики луны в тех местах, где они не были заколочены фанерой. Сашенька радостно взгру-

стнула, рассеялась о чем-то сладком, неопределенном и вернулась в зал, лишь когда они с Батюней скользили мимо внутренней стены. Здесь не было освещенных луной окон, из открытых дверей видна была лестница в вестибюль и чувствовался запах коммерческого буфета, где продукты питания продавались не по карточкам, а по повышенным ценам. Сашенька начала различать лица, точно опускалась вниз, и вдруг, еще неизвестно почему, внутренним чутьем уловила в себе неприятную перемену. Она прислушалась.

— Вошь,— сказал кто-то радостно.

— Две,— подхватил другой.

— Я уже давно за ними наблюдаю,— счастливо подхватила Зара и тут же со злобой добавила: — Сыпняк разносит.

— Я уже маршрут изучил,— объяснял Маркеев Заре, но так громко, что слышали во всех концах зала,— одна ползет по лопатке, по тому месту, где шлейка комбинации виднеется, к воротнику блузки и назад... А вторая наперехват ползет... Между лопатками они встречаются...

Оркестр продолжал играть, и Сашенька сделала еще несколько движений в ритме танго, так, очевидно, иногда чувствует боль и несколько мгновений продолжает жить прежней жизнью тело убитого наповал, потому что даже среди убитых наповал есть свои неудачники, и пуля поражает их не в самое сердце, а чуть пониже.

— Снова встретились,— крикнул Маркеев,— поцеловались... Батюня, сейчас на тебя десант выбрасывают будут...

Послышался смех, какой-то лейтенант сдвинул фуражку на глаза. Батюня остановился. Он все еще держал руку на Сашеньке, но лицо его было растерянным и испуганным. Потом он неожиданно улыбнулся, отдернул руку, подмигнул Маркееву и начал шутовски чесаться и хлопать себя ладонями по бокам, словно ловя паразитов. Смех стал таким сильным, что оркестр прекратил играть, и музыканты свешивались с эстрады, спрашивая, в чем дело. Тогда хромой танкист-«культурник» подошел к Маркееву и не то чтобы ударил, а скорее провел ему ладонью от уха до уха, как бы утирая, но так, что пять полос осталось на маркеевских щеках, набухая и багровея. Потом «культурник» повернулся к Сашеньке, и лицо его из тяжелого, чугунного стало мягким и тихим.

— Ну, будя,— сказал он,— бывает... Я сам в окружении тело до крови расчесывал...

Но Сашенька посмотрела на «культурника» с ненавистью, она ненавидела его сейчас больше всех в зале, она подумала, что эта курская «фотокарточка» напоминает ей чем-то Васину, и тут же вспомнила, что Васина грязная шинель висела на ее шубке.

— Будя,— повторил «культурник», приближаясь к Сашеньке.— Что сделаешь, ежели нужда и голодуха... Я ж твою мать знаю. Она спину над солдатскими котлами надорвала... Нужду и голодуху вша любит...

Этот «курский» окончательно втапывал Сашеньку в грязь, он унижал ее фильдеперсовы чулочки, маркизетовую блузку, и ей стало ясно, что в «культурники» он попал по инвалидности, а не потому, что любит танцы и красоту.

— Ты их газеткой смахни,— шепнула какая-то дурно одетая девушка, до того худая, что кожа на лице ее была с голубоватым оттенком. На девушке был плюшевый бабушкин салоп. «По такому салопу и должны ползать паразиты, а не по маркизетовой блузочке,— с горечью подумала Сашенька,— Боже мой, почему так... Ненавижу... Как ненавижу...»

— Пошли выйдем, я помогу,— шептала девушка.

«Если б не эта беда, я б не стала разговаривать с такой дурнушкой,— думала Сашенька,— а теперь

она лезет в советчицы... В подруги... Почему такое случилось?.. Почему я не умерла?.. Это все шинель... Она грязная... С паперти... Я выброшу их всех... На улицу выброшу... Они погубили мою жизнь...»

Грудь Сашеньки полна была рыданий и стонов, но Сашенька, крепко сжимая зубы, побежала из зала, лишь легкое дрожание повизгивание просачивалось сквозь губы, которые Сашенька никак не могла слепить до предела, впрочем, это было и бесполезно, потому что повизгивание вырывалось вместе с выдыхаемым воздухом. Сашенька знала, что не сможет долго удерживать стоны в груди и горле, ими полон был рот, и Сашенька раздувала щеки, надеясь выиграть этим доли секунды. Она выбежала в вестибюль и с ненавистью ударила спиной, лопаткой о какую-то колонну.

— Уже все,— сказала снова появившаяся рядом девушка с голубой от недоедания кожей,— я их газеткой смахнула и раздушила каблуком... Ты их румынским порошком попробуй... Не немецким, а румынским... И одежда от него не портится...

Сашенька посмотрела на ее некрасивые хорошие глаза и подумала: «Зачем она живет?.. Ее никогда никто не будет любить... Никогда не будет кормить шоколадом... Нам обоим теперь недоступна жизнь красивых женщин... Надо отравиться... Отравиться спичками... Серы натереть со спичек...»

Танкист-«культурник» взял Сашеньку за локоть, примяв желтыми от курева пальцами маркизет на рукаве, и именно в момент, когда Сашенька увидела эти ползающие по своему телу корявые пальцы, напоминающие жуков, насекомых и вообще что-то некрасивое, она поняла, что погибла.

— Не трогай руку,— брезгливо крикнула Сашенька. Но тут же, с удивительной для самой себя ловкостью щелкнув зубами, отсекала стоны и рыдания, которые пытались вырваться наружу вместе с криком и совсем опозорить ее. Сашенька сильно толкнула танкиста-«культурника», он потерял равновесие и, скользя своей более короткой, негибкой в колене ногой, смешно раскорячившись в нелепой позе, поехал по лестницам, пытаясь уцепиться за перила. И в это мгновение из висящего в вестибюле репродуктора послышался первый удар, возвестивший о приходе нового, сорок шестого года. Сашенька кинулась к вешалке, она боялась, что не найдет номерок, но нашла его быстро, и перепуганная старушка выбросила ей шубку и сапожки.

2.

На улице густо, сплошную летел снег, так что, остановившись на мгновение и запрокинув лицо, Сашенька представила, что снежная пелена неподвижна, а она, Сашенька, летит наискосок от земли к небу. У Сашеньки все закружилось, она встряхнула головой и побежала через дорогу к военным домам, держа шубку и сапожки в руках. Она хотела найти место потише, чтоб спокойно одеться, но неподалеку стоял какой-то высокий в кубанке и стрелял в воздух из ракетницы. Ракеты с треском неслись среди снежных хлопьев, тоже наискосок, как в воображении своем летела Сашенька, потом лопались, и на снегу дрожало красное зарево, будто во время пожара. Сашенька побежала назад. Около Дворца пионеров был садик, в котором во время оккупации немцы устроили свое кладбище. Кресты давно посыпались, а могильные холмики разровняли во время воскресников, но кое-где еще остались небольшие возвышенности, занесенные снегом, валялись каски, остатки крестов и могильные таблички. Сашенька села на какой-то холмик, подложив под себя табличку, исписанную немецкими буквами. С того момента, как она выбежала на улицу,

прошло совсем мало времени, потому что по репродуктору на углу, у трехэтажной обгоревшей коробки, все еще слышны были новогодние удары часов. Сашенька надела шубку, сбросив ладонями снег с маркизетовой блузки, и, сняв лодочки, сунула мокрые озябшие ноги в сапожки. От снега лодочки совсем разбухли, потеряли форму, и это так огорчило Сашеньку, что она уже не могла сдерживать стонов. Она стонала громко, сама удивляясь тем чужим горловым звукам, которые, оказывается, способна была издавать.

— Боже мой, что же делать? — спросила вслух Сашенька, когда стоны утомили ее и перестали принести облегчение,— отравиться спичками... Или уйти от матери... Уехать... Или поступить на перчаточную фабрику... Но прежде отомстить этим скотам... Эта мать... Собственную дочь она не жалела... А этих нищих... У Васи даже в бровях вши... Какая гадость... Я видела... Я видела, как Ольга мыла его... Вшивый полицай... Мой отец погиб за родину, чтоб я могла хорошо жить... В маркизетовой блузочке кушать шоколад... Быть в центре внимания... А мать у меня подлая... Этот вшивый повесил свою рвань на мою шубку, они и переползли...

Она давно уже не сидела, а шла, миновала палисадник и вышла на заснеженную тихую площадь. Вокруг торчали одни обгорелые коробки или просто присыпанные снегом груды кирпича, сохранился лишь Дворец пионеров — бывшая городская управа, которую не успели взорвать, и несколько домов, где теперь жили семьи военных. Сашенька пошла дальше, прижав локти к бокам и безвольно уронив кисти поднятых вверх рук. На правом локте ее висела сумочка. Улицы были пусты. Лишь раз мимо проехала военная патрульная машина. Сашеньку осветили фонарем, и солдат что-то сказал, то ли окликнул, то ли сострил. Но Сашенька молча прошла мимо. У старого трехэтажного здания ходил часовой. Было оно довольно странной формы, верхний этаж был крыт жестью, не только крыша, а именно стены верхнего этажа также были крыты оцинкованной жестью, и в жести этой были прорезаны окна. Нижний этаж полуподвальный, окна лишь наполовину высывались из земли и были забраны толстой решеткой. Сашенька прошла мимо примыкавшего к зданию массивного забора, обтянутого сверху колючей проволокой. С тыльной части сразу за забором начинались довольно глухие места, пустырь и овраг. Лишь вдаль за оврагом мигали редкие огоньки. У края оврага виднелось временное деревянное ограждение, кое-где уже сломанное, и стояла занесенная снегом пирамида, сколоченная из досок. К ней была прибита табличка. «Тут похоронено 960 советских граждан, замученных немецко-фашистскими оккупантами» — прочитала Сашенька. Сашенька пошла к другому концу оврага, где лежали куски ржавой, разрезанной автогенном танковой брони. Видно, Сашенька плохо очистила блузку от снега, маркизет прилип к телу, и Сашенька дрожала под шубкой, словно стояла совершенно голая на ветру.

«Что делать? — думала Сашенька. — Идти домой?.. Опять терзать диван?.. Вася будет ласкать Ольгу...»

Когда Сашенька просыпается среди ночи и слышит, что на полу за перегородкой не спят, ей становится ужасно... Хочется кричать, ругаться... И одновременно она изнывает, ее начинает мучить тоскливая истома, она с такой силой напрягает тело, вытягивает ноги, что болят суставы в коленях. Она затыкает уши ватой, обматывает голову полотенцем, точно у нее болят зубы... «Проклятые,— думает Сашенька,— из-за них я страдаю». Сашенька наливается злобой так, что лицу становится жарко, и злоба согревает ее, придает ей силы и возбуждает. Сашенька стаскивает варежки и, зажав под мышкой сверток с туфлями, до боли стаскивает кулаки так, что хру-



стят пальцы, становится трудно дышать и темнеет в глазах. Она решительно идет домой, торопливо, словно боится не донести туда накопившуюся в груди ненависть. Снегопад прекратился. Свет луны и глубокий снег скрыли развалины, ночной город чистый и тихий. За несколько часов навалило так много снега, что Сашенька застревает в нетронутых сугробах между сараев. У выгребной ямы лежат присыпанные снегом смерзшиеся куски нечистот, картофельной шелухи, рваных тряпок, и Сашеньке вдруг становится страшно. Она вспоминает, как Ольга гадала несколько дней назад, поставив три свечи перед зеркалом, и Сашенька долго, до боли в глазах смотрела в зеркало, пока не увидела в нем чье-то незнакомое лицо. Теперь ей начинает казаться, что это было лицо дочери зубного врача Леопольда Львовича, закопанной здесь, у ямы с нечистотами. Сашенька представляет, как лежит она в этой нечистой топкой земле, и вдруг ей кажется, что сквозь тряпки и замерзшую картофельную шелуху показывается лицо молодой красивой еврейки. Щеки у нее белые, поблески-

вающие изморозью, а глаза горячие и большие.

— Мама,— совсем по-детски кричит Сашенька и бежит, спотыкаясь, падая, бежит, как прежде бежала к матери, чтоб спрятать голову у нее меж теплых колен.— Мама,— отчаянно кричит Сашенька. Ей кажется, что кричит она очень громко, но в действительности она едва шевелит языком, и короткие бубнящие звуки вылетают из ее рта. Потом ей кажется, что она на своем диванчике, голове жарко, горло пересохло, как бывает ночью, когда надышат в комнате и пригреются. Покрытое изморозью, красивое лицо среди нечистот, конечно, приснилось, а значит, какое счастье, приснилось и то, что по маркизетовой блузочке ползали паразиты. Сашенька видит мать. Она стоит совсем молодая, очень похожая на Сашеньку, так похожая, что Сашенька подумала с некоторым испугом, уж не она ли сама смотрит на себя со стороны. На матери новый пуховый платок и фетровые боты. Но рядом с матерью Сашенька видит танкиста-«культурника» в армейском бушлате и танковом шлеме на меху. Он держит мать за руку и что-то

говорит ей, а мать смеется и, неожиданно вырвав руку, кокетливо и ласково ударяет «культурника» точно так, как Сашенька Батюно. Ручка матери, совершенно расслабленная в кисти, вначале коснулась руки «культурника» запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками. Сашенька прижалась щекой, подбородком, лбом к деревянному столбу, поддерживающему балкон, и тихо застонала. Грудь налилась, снова стала тяжелой от злости и тоски, потому что Сашенька поняла: она пыталась себя обмануть и на мгновение представила себя спящей на диванчике, а на самом деле все наяву: паразиты на маркизетовой блузочке, которые переползли с Васиной шинели, и мать с «культурником», и, может, лицо красивой еврейки, дочери зубного врача, закопанной у выгребной ямы, она тоже видела наяву.

«Культурник» обнял мать, прижал ее к себе, и она с благодарностью потерлась щекой о его подбородок, смеясь, прихватила зубами край его танкового шлема. Тоскливая истома охватила Сашеньку, ноги ее напряглись, заныли в суставах, зубы были так крепко стиснуты, что болели скулы, а зрачки расширились, точно смотрели в глубокую тьму, среди которой Сашеньке чудилось нечто сладкое и ужасное, о котором она лишь смутно догадывалась. Она застонала громче и, чтоб очнуться от охватившего ее небытия, сильно ударилась о столб.

— Кто-то кричал, — тревожно сказала мать, отстраняясь от «культурника».

— Ветер, — сказал «культурник».

— Я все же беспокоюсь, — сказала мать. — Сашенька так все близко к сердцу принимает.

— Ничего, — сказал «культурник», — она у подруги, видать... Мало ли что бывает...

— Да, — сказала мать, — она иногда ночует у Майи, когда поругается со мной...

Танкист-«культурник» просунул руки сзади под платок матери так, что ладони его охватили материн затылок, и мать с притворным возмущением трянула головой, словно пытаясь вырваться, но «культурник» прижал ее грудью к стене дома, как Маркеев во сне прижимал Сашеньку, и крепко припал губами к губам матери, а она нежно гладила его ладонями по спине, счищая снег с бушлата.

Сашенька мгновенно, с силой оттолкнувшись от столба, выскочила на середину двора, кинула сумочку и сверток с туфлями, которые ей мешали, выругалась матом в три погибели, как ругались «ястребки» и мальчишки в подворотнях. Мать отпрянула от «культурника». Повернулась к Сашеньке, выпрямилась, даже привстала на цыпочки, вскинула обе руки над головой. Брови ее поднялись, на лбу появились поперечные морщины, нижняя челюсть отвисла, и она крикнула так же отчаянно и по-детски, как Сашенька, когда она только что испуганно бежала от выгребной ямы. Однако крик этот лишь на первое мгновение остановил Сашеньку, потом ей захотелось сделать матери еще больнее, даже какая-то дикая тоскливая радость охватила Сашеньку, когда она увидела, как мать ее боится, и Сашенька закричала:

— Мой отец погиб за родину, а ты здесь... Ты знаешь кто — ты прости тут, прости там, прости господи нам...

В некоторых окнах появился огонь, к стеклам прижались лица, но Сашеньке было уже на все наплевать. Она кинулась к матери с плачем и стоном и больно ущипнула ее за щеку, оттолкнув растерявшегося «культурника», который пытался заслонить собой мать. Она металась вокруг них, как злая маленькая муха, а они только беспомощно отмахивались. Потом Сашенька понеслась вверх по лестнице. Дверь не была заперта, видно, мать лишь прикрыла ее, сойдя вниз

с «культурником». Кухня залита была лунным светом, поблескивали висащие на гвоздиках горшки и кастрюли. В прогретом, несвежем воздухе слышался дружный безмятежный храп Васи и Ольги. По-прежнему вся дрожала от возбуждения, Сашенька секунду, другую стояла, как бы собираясь с мыслями, прислушиваясь к робким шагам матери на лестнице. Торопливо, пока не войдет мать, Сашенька сдвинула ширму. Вася и Ольга спали обнявшись, оба большие и некрасивые. Ольга положила голову на поросшие волосами Васины груди-колеса, которые мерно вдыхали и выдыхали воздух, и Ольгина голова то поднималась, то опускалась. Крестик на Ольгиной груди свешивался, касался Васиного крестика, и, когда кто-нибудь из них дергался или ворочался, крестики негромко позвякивали друг о друга. Спавшие укрыты были лишь до половины Ольгиным платком, какой-то рванью, из которой вылезала вата, и Васиной измазанной мазутом шинелью. Из-под шинели виднелась отброшенная в сторону большая, как лопата, голая Васина ступня.

— Вон, — трясая и сжимая кулаки, неистово закричала Сашенька, — прячетесь... Немецкие холоуи... Полицаи... Мой отец был летчик, погиб... воевал... А вы здесь, в тылу, вшей разносите... Вон...

Вася продолжал дышать все так же безмятежно, Ольга лишь слегка забормотала что-то, и это совсем раззадорило Сашеньку. Она схватила ведро, кружкой расколола тонкую пленочку льда и плеснула на спящих ледяной водой. Оба вскочили мгновенно, бессмысленно озираясь, отряхиваясь и отфыркиваясь, как провалившиеся в полынью животные.

— Вон, — закричала Сашенька, — уходите с вашей рваньей... С вашими вшивыми тряпками... Вон из этого дома...

И тут Сашенька обернулась, почувствовав мать, которая стояла на пороге.

— Разденесь и заходи в комнату, — негромко сказала мать. Но Сашенька уловила в ее голосе нечто новое и разом поняла, что сделала чего-то не так, уж слишком отдалась порыву и потеряла над матерью власть.

— Ты тоже убирайся, — скорее по инерции крикнула Сашенька матери, — это дом моего отца... Отсюда он ушел на фронт... Ты не смеешь... Не смеешь с любовником...

Сашенька знала, что ей нужно как можно сильнее исказить в гневе свое лицо, чтоб глаза закатылись и дергалась щека, мать страшно пугалась, когда у Сашеньки начинала дергаться щека, но сейчас Сашенька чувствовала, что злость у нее получается какая-то растерянная, нестрашная, и мать, видно, тоже это почувствовала. Она шагнула к Сашеньке и с такой силой ударила ее по щеке, что Сашенька упала на колени. Сашенька тут же вскочила и побежала, пригнувшись, вдоль стены кухни, однако мать преградила ей дорогу и ударила так, что зазвенело в ушах. Несмотря на это, Сашенька умело отвернулась от третьего удара и ловко прыгнула за спину Васи и Ольги. Они сидели мокрые, отупело прижавшись друг к другу, как щенки во время пожара или наводнения. Здесь, за их спинами, матери трудней было достать Сашеньку, к тому же сзади мать схватил вошедший танкист-«культурник». Мать некоторое время стояла, вся дрожала, как Сашенька несколько минут назад, затем она обмякла, уронила голову на плечо «культурника» и громко заплакала.

Сосед, живущий «прямо и налево по коридору», техник Дробкис заглянул в приоткрытую дверь. Он был в ватных штанах, домашних войлочных туфлях и меховой безрукавке, надетой на нижнюю рубашку.

— В чем дело, Катя? — спросил сосед мать. — Может, вызвать «Скорую помощь»?..

— Не надо,— всхлипывая, сказала мать...— Так, небольшая ссора...

— Бывает в семье,— сказал «культурник».

Сашенька увидела, что мать размякла, и это придавало Сашеньке силы.

— Неправда,— громко крикнула она Дробкису,— была она меня... Вместе с любовником... Это квартира моего отца... Она не смеет... Она воровка... Вот кто она... Воровка...

Сашенька выпрыгнула из-за спин Васи и Ольги, прошмыгнула мимо матери, оттолкнула Дробкису и побежала вниз по лестнице. К счастью, сумочка ее и туфли по-прежнему лежали на снегу в сугробе. Сашенька все подняла и торопливо пошла в конец переулочка. Она чуть ли не бежала, и сердце ее колотилось под самым горлом. К Майе идти среди ночи было неудобно, и Сашенька решила пойти на вокзал, чтобы обогреться. Она все обдумала, пока шла, и даже успокоилась. Матери у нее больше нет. Будет жить одна. Из школы уйдет, поступит на перчаточную фабрику или на почту почтальоном... Мать у нее воровка, мерзавка и проститутка... А Вася — полицейский... Ах, если бы «культурник» оказался шпионом... Переодетый диверсант...

На вокзале было шумно, но тепло. Впавалку на скамьях и прямо на полу лежали демобилизованные. Воздух был сизым от мажорного дыма. Вкусно пахло свиной тушенкой и хлебом. Сашенька села на подоконник за фикусом в обросшей мхом зеленоватой кадке и раскрыла сумочку. Она вынула мандаринки, понюхала их и посидела так некоторое время, прикрыв глаза. Затем спрятала мандаринки и разорвала бумажный подарочный пакет. В пакете было два ореха, один медовый пряник, три мятных, несколько леденцов, кулек каленых семечек, очень вкусных. Сашенька съела сперва каменные пряники, это была тяжелая работа, у Сашеньки заболели скулы и даже мускулы на шее. Потом она принялась за леденцы. Вокруг было много молодых солдат, и Сашенька боялась, как бы они не начали приставать к ней, она съежилась за фикусом и даже перестала грызть леденцы, чтоб шумом не привлечь внимания. Но прошло полчаса, прошло сорок минут на часах, которые висели посреди зала, никто не приставал к Сашеньке, ей стало обидно, скучно, она выглянула из-за фикуса и застыла в изумлении. Неподалеку от нее сидел лейтенант-летчик, но таких красивых мужчин Сашенька видела только в цветных трофейных кинофильмах. У него было точеное смуглое лицо, густые брови сходились на переносице, волосы были черные, как у цыгана, а глаза серые, от взгляда которых становилось сладко на сердце. Летчик лишь раз глянул в сторону Сашеньки, да и то, наверно, не заметил, потому что она была скрыта фикусом. Он оперся на свой вещмешок, положил его под голову и прилег, чтоб вздремнуть. Длинные, загнутые вверх ресницы слегка подрагивали.

«Солнышко мое»,— с тихой радостью подумала Сашенька и представила, будто расчесывает ему черные, наверно, шелковые на ощупь волосы и будто голова его касается Сашенькиной груди, приятно щекает набухшие соски.

«Миленький мой Витенька,— думала Сашенька,— славный ты мой, только мой.— Она придумала ему имя, чтоб быть ближе, чтоб не быть чужой.— Какая я богатая,— думала Сашенька,— это все мое... Эти ресницы, эти руки...»

Когда Сашенька мечтала, лицо ее запрокидывалось, глаза становились большими, и на губах появлялась улыбка, зыбкая и таинственная, как при неудовлетворенной страсти.

«Миленький мальчик мой,— шептала Сашенька.— Миленький, маленький мой...»

Протянув руку из-за фикуса, Сашенька могла коснуться черных цыганских волос лейтенанта, потому что он сидел на самом краю скамейки, и голова его, опираясь подбородком на вещмешок, даже свешивалась за край. Сашенька скомкала цветную бумажку, в которую был завернут орех из новогоднего подарка, кинула обертку в мусорную корзину, стоящую рядом, и рука ее, как бы невзначай даже для Сашеньки самой, скользнула по волосам лейтенанта, но так легко, что лейтенант и не пошевелился. Красивое лицо его погружено было в глубокий сон. Сашенька никогда не видела прежде, чтоб лицо человека во сне оставалось таким красивым, потому что на лице спящего обычно проступают все дефекты, которые бодрствующие ухитряются скрывать, и особенно умело скрывают дефекты красивые люди. Час и два сидела Сашенька неподвижно, из окна дуло, спина околоченная, чтоб стало теплее, Сашенька сжалась, подогнув колени, нащупав ногами какой-то выступ, она поставила на него ступни, а голову пригнула к ногам. Ей приснилось: большая кошка пытается забраться под одеяло. Сашенька подгибает под себя края одеяла, но кошка находит Сашенькину руку и начинает рвать зубами. Сашенька выдергивает руку, к счастью, на запястье лишь небольшая ранка, лишь слегка примята кожа, а кошка отбегает в сторону и смотрит на Сашеньку некошачьими, карими, все понимающими глазами.

Сашенька проснулась мгновенно, рывком. Она с трудом разогнула позвоночник. Болели икры ног, точно она взбиралась на гору, болела спина. Демобилизованные ходили по залу, кашляли, зевали. Почти никто уже не спал. Край скамьи, где сидел красивый лейтенант, был пуст.

«Он оставил меня,— с тоской подумала Сашенька.— Я никогда его больше не увижу».

И сразу же злорадствовала в ней, но это не была злорада к красавцу лейтенанту, это была старая, забытая злорада к своей распутной матери, к ее хромому любовнику и к двум нищим, ради которых мать пожертвовала родной дочерью. Сашенька встала с подоконника, выбралась из-за фикуса, вышла на улицу и торопливо пошла, твердо зная цель, к которой шла, и ни секунды не колеблясь.

Был уже рассвет, дворники сгребали снег, к ларькам подъезжали хлебные фургоны. Запах поднятой лопатами снежной пыли смешивался с запахом свежеспеченного теста, и, прикрыв глаза, Сашенька представила, будто завтракает теплыми кусками хлеба, остужая после них гортань вкусными, холодными до зубной боли глотками.

Сашенька подошла к трехэтажному зданию, верхний этаж которого был закован в цинковые листы, а окна нижнего полуподвального забраны решеткой. Как раз подъехала мохнатая, вся в инее, лошадка, запряженная в сани, на которых стоял укутанный рогожей большой котел. Двое арестантов в телогрейках вышли из ворот в сопровождении милиционера, также в телогрейке, кубанке и с немецкой винтовкой, надетой через плечо дулом вниз, по-партизански. Арестанты взяли котел за металлические ушки и понесли. Из котла шел пар и вкусно пахло вареной брюквой, ржаной мукой и постным маслом. Сашенька сглотнула слюну, прижала локоть к заурчавшему животу, переждала, пока урчанье прекратится, и подошла к часовому.

— Мне к начальнику,— сказала Сашенька.

— Обратись к дежурному,— с привычной скукой сказал часовой,— слева крыльцо... где народ дожидается...

3.

На крыльце толпилось много людей с кошелками и мешками, но еще больше их было в приемной

15

дежурного, большой, холодной комнате, разделенной перегородкой. Дежурный, белокурый молодой парень, сидел в накинута на плечи дубленом полушубке и листал какие-то бумаги. Люди в приемной тихо толкали друг друга, стараясь не скандалить между собой громко, чтоб не привлечь внимания дежурного, который, видимо, их уже одергивал и предупреждал. В основном здесь были сельские жители, но было несколько и одетых по-городскому, даже одна модница в шубе из серого каракуля, с такой же муфтой и в каракулевом капоре. Было странно видеть, как она толкается среди телогреек и кацавеек, пытается протиснуться поближе к полке, у которой писарь и милиционер принимали мешки и кошелки. Место возле полки занял здоровенный крестьянин. Он легко отталкивал напивших сзади, выгружая на тряпочку перед писарем куски густо посыпанного солью сала, и писарь отмечал что-то в бумажке. Женщина в каракуле ухватилась одной рукой за перегородку и, нажав плечом в глыбообразную ватную спину крестьянина, ожесточенно, сантиметр за сантиметром, протискивалась к заветной полке, неся в вытянутой руке плетеную, перевитую шелковыми ленточками корзинку, в которой булькала бутылка молока и выглядывал румяный, аппетитный кусок жареной говядины, приправленной чесночком. Капор ее съехал на затылок, по молодому лицу текли струйки пота.

«Спекулянтка,— глотая слюну, со злобой подумала Сашенька,— наворовала каракулей».

В тот момент, когда женщина была уже близко, крестьянин сделал легкое движение задом, даже не оборачиваясь. Женщину унесло далеко от полки, за спины других посетителей, и ударило о стену. Перетянутая ленточками корзинка, которую женщина краешком уже успела поставить на полку, сорвалась, под ноги толпящихся потекло молоко, и женщина нырнула вниз, пачкая каракуль о кирзовые сапоги.

«Так и надо,— с радостной злобой подумала Сашенька,— спекулянтка проклятая...»

— Что такое,— сказал дежурный, поднимая голову.— Я предупреждал — прекращу прием передач... Ну и народ... Степанец,— сказал он весело, заметив какую-то старушку в конце очереди,— ты опять здесь...

— Здесь, хозяин,— прошамкала маленькая старушка, кланяясь.

Она была поверх кацавейки накрест перетянута тремя платками, выглядывавшими один из-под другого. Ноги ее поверх валенок перевязаны были вокруг ступней тряпками, из которых выбивалась солома.

— Тебе ведь сказано неоднократно, Степанец,— терпеливо и настойчиво говорил дежурный.— Сыну твоему передачи приниматься не будут... Он виновен в тягчайших преступлениях... В массовых убийствах советских граждан, понимаешь... Его народ судить будет...

— Семь километров шла,— сказала старушка, вытирая слезящиеся глаза,— мороз печет... Я ведь что... Я ведь немного ему... Животом он слаб... И грудь у него слабая... Вот... Спасибо, добрые люди посветовали...

Старушка начала торопливо сизыми, отмороженными пальцами распутывать узелок расшитого васильками платка. В платке была желтая, протершаяся на сгибах бумажка, которую старушка понесла, ловко лавируя между посетителями, протянула дежурному...

— Что такое,— сказал дежурный.— Что еще за филькина грамота.— Он взял бумажку брезгливо двумя пальцами и начал читать, с трудом разбирая стершиеся каракули.

«Справка. Больной Степанец П. Н. страдает отло-

жением мочекислых солей в суставах, а также почечной недостаточностью. Нуждается в молочной диете с большим содержанием овощей и фруктов. Рекомендуется курортное лечение... Сероводородные, радоновые ванны, грязевые аппликации с одновременным питьем минеральных вод. Рекомендуется поездка в Ессентуки, Железноводск, Сочи-Мацеста, Цхалтубо. Доктор Вурварг. 1940 год».

Пока дежурный читал, старушка стояла перед ним, с надеждой моргая и вытирая глаза сизыми пальцами.

— Здесь все правда написана, хозяин,— сказала она,— по совести написано.

— Некогда мне,— перегибаясь через перегородку, сказал дежурный.— Народу у меня прорва, а ты каждый день здесь толкаешься!.. Дома б сидела... Семь километров сюда ходишь да семь обратно...

— Когда как,— сказала старушка.— Бывает — подвезут... Подвода бывает колхозная или машина... Тут в бумаге все написано, чтобы принять...

— Филькино это писание,— уже сердито сказал дежурный,— возьми бумагу... Еще придеешь завтра, задержу... Арестую, поняла?

Он отдал старушке бумагу, она бережно завернула ее в платок и, спрятав на груди, отошла к подоконнику, видно, устраиваясь перекусить, достала луковицу, тряпицу с солью и хлеб.

Воспользовавшись замешательством, которое вызвала старушка, женщина в каракуле кинулась к полке в образовавшийся проход, неся перед собой корзинку, вкусно пахнущую жареной говядиной, которая, будучи пропитана разлитым молоком, приобрела особую нежный аромат. И этот запах, щекотавший Сашенькины ноздри, удвоил ее силы и возбудил злобу. Сашенька также проворно кинулась в проход, и они сшиблись плечами с женщиной у самой полки.

— Мне не передачу,— торопливо сказала Сашенька прямо в лицо дежурному.— Мне по особому делу...

Сашенька твердо поставила локоть на полку, так что он мешал женщине не только протолкнуть корзинку, но и отгораживать ее лицо от дежурного.

— Мне по особому делу,— повторила Сашенька, терпя боль, потому что женщина снизу сильно давила Сашенькину ногу коленом, а на полке цапала Сашенькину кожу у запястья каким-то металлическим острым шипом, торчавшим из корзинки.

— По какому делу? — спросил дежурный, разглядывая Сашеньку.

— По особому,— в третий раз повторила Сашенька, с трудом удерживая руку на полке.

— Заходи,— сказал дежурный и открыл в перегородке небольшую калитку, откинув крючок.

Сашенька с облегчением убрала руку с полки и вошла за перегородку. Женщина с ненавистью посмотрела ей вслед, и тут же женщину вновь оттолкнул высокий крестьянин, начавший выкладывать на полку перед писарем крутые яйца.

— Входи сюда,— сказал дежурный и, открыв дверь, пропустил Сашеньку вперед.

Это была небольшая, совершенно пустая комната. Даже стола в ней не было, а только два табурета, настенный телефон и портрет народного комиссара внутренних дел.

— Садись,— сказал дежурный.

Сашенька села на табурет, а дежурный остался стоять под портретом.

— Слушаю,— сказал дежурный.

— Мне известно, где скрывается полицейский,— сказала Сашенька, облизав почему-то пересохшие губы и вспомнив совершенно ярко и отчетливо, как Вася и Ольга сидели, прижавшись друг к другу, словно щенки на пожаре.

— Ты не торопись,— оживленно сказал дежурный

и дружески подмигнул,— и не бойся... Давай, говори подробнее...

— Он скрывается в моем доме,— глухим твердым голосом сказала Сашенька,— моя мать кормит его ворованными продуктами... Ворованными у государства... Ненавижу ее... Мой отец погиб на фронте, погиб за родину... а она с любовником...

Дежурный внимательно посмотрел на Сашеньку и положил ей руку на волосы, погладил...

— Не волнуйся,— сказал,— ты молодец... Если б жил отец, он одобрил бы твой поступок... Я сам три года в партизанах всякое повидал... Значит, мать живет с бывшим полицаем,— уже другим, протокольным голосом спросил дежурный.

— Нет,— сказала Сашенька, у которой перед глазами плыл туман и губы были мокрыми от слез,— у полиция Ольга... А мать с «культурником».

— Каким «культурником»? — вынимая блокнот, спросил дежурный,— какая Ольга, ну-ка, фамилии...

— Не знаю,— сказала Сашенька.

— Адрес тогда,— сказал дежурный.

Сашенька назвала адрес.

— А мать где работает?

Сашенька сказала.

— Я тоже питалась этими продуктами,— добавила Сашенька.

— Ничего,— сказал дежурный.— Хорошо, что создалась... Политзанятия посещаешь?... Сын за отца не отвечает. Какого классика марксизма эта цитата? — Не дожидаясь ответа, дежурный подошел к телефону, снял трубку и сказал несколько слов, которых Сашенька не разобрала. Потом он повесил трубку, сел на табурет, положил на колено блокнот, черкнул размашисто две фразы, вырвал листок и протянул его Сашеньке.

— Зайдешь к начальнику,— сказал он. Дежурный дал ей записку и, открыв невидимую, оклеенную обоями дверь, пропустил Сашеньку в коридор.— Прямо иди,— сказал он.— Покажешь записку.

Сашенька прошла коридор и оказалась в светлой, очень теплой комнате, так что сидевшая в углу машинистка была в блузке с коротким рукавом, как летом. А рядом с машинисткой сидел красавец лейтенант. Сашенька вначале даже провела ладонью по глазам, не веря и удивляясь такому совпадению. Лейтенанту тоже было жарко, он растегнул крючки на кителе, и легкая красноватая полоска прорезала шею там, где ее сжимал тугий ворот. Глаза у него теперь были не серые, как ночью, а голубые. В комнате этой было три двери, одна обита кожей, вторая войлоком, третья просто деревянная. Из деревянной двери вышел худой человек в пиджаке, поверх рукавов которого были надеты черные ситцевые нарукавники, словно у бухгалтера. В руках он держал несколько папок.

— Вот что есть в архивах,— сказал человек, подходя к лейтенанту.

Машинистка перестала стучать и подняла голову. Лейтенант также поднял голову. Густые брови сошлись у него на переносице, голубые глаза потемнели, и стал он еще красивее, так что Сашенька стояла не дыша, забыв, зачем пришла сюда и думая только о нем.

— Значит, по Овражной улице имеется 960 замученных граждан, и на них у нас списки есть почти на всех, поскольку они проходили через канцелярию фельджандармерии,— сказал человек в нарукавниках,— затем в районе бывшего аэродрома. И в селе Хажин... Семь километров, карьеры фарфорового завода... Кроме того, есть ряд мелких, незарегистрированных могил, поскольку кое-где убийства велись стихийно... В основном местными полициями в нетрезвом виде... Имеется рапорт врача санэпидемстанции городской управы и докладная одного из дворников...

Сейчас они будут здесь... Врач этот еще у нас в предварительном следствии, а дворника мы вызвали...— Тут человек заметил Сашеньку.

— Тебе чего? — спросил он.

Сашенька показала записку.

— Понятно,— сказал человек с бухгалтерскими нарукавниками,— проходи сюда, опиши все подробно и подпишись.

Он толкнул войлочные двери и пропустил Сашеньку в комнату с канцелярским столом, диваном и зарешеченным окном, стекла которого были до половины замазаны мелом, как в туалетах.

— Пиши,— повторил он.

Сашенька осталась одна. Перед ней на столе лежала куча белой бумаги и стоял мраморный чернильный прибор в виде головы Черномора, против которого скакал Руслан с копьем. Сашенька сняла крышку-шлем и, взяв одну из лежавших на столе ручек, обмакнула перо в череп Черномора. Ручка была толстой, канцелярской, Сашенька отложила ее и взяла привычную школьную, тоненькую.

«Мать моя,— написала Сашенька,— является расхитителем советской собственности. Я отказываюсь от нее и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...» Сашенька пробовала писать с нажимом, но перо брызгало, царапало, и к тому же бумага была линейная, как в школьных тетрадях, буквы прыгали, и строчки то ползли вверх, то загибались книзу. Сашенька никак не могла придумать, что написать о Васе, Ольге и «культурнике». Она подумала, неплохо бы приписать и Батюню, и Маркеева, и Зару с золотыми подвесками, и вообще всех, кто смеялся и издевался над Сашенькой. Она отложила перо и задумалась. Кроме войлочных дверей, в комнате были еще одни, крашенные белой краской, словно в больнице. И за этими больничными дверьми слышались глухие голоса, и кто-то надсадно, действительно по-большому кашлял. Сашенька решила спросить, что ей писать дальше, она встала, подошла на цыпочках к белой двери и легонько толкнула ее. Дверь подалась, приоткрылась, и в образовавшуюся щель Сашенька увидела лейтенанта. Он сидел в кресле, опершись рукой в подлокотник и опустив на ладонь голову. Рядом с ним стоял исхудавший, бледный человек, видимо, арестант. Тощая шея арестанта перевязана была шарфом, а синеватый бритый череп и виски так туго обтягивала кожа, что казалось, она вот-вот лопнет, особенно теперь, когда человек надсадно, тяжело кашлял. Рядом с этим человеком стоял дворник Франя и мямл в руках шапку.

— Продолжайте, Шостак,— сказал чей-то негромкий, но пугающий голос.

Сашеньке стало страшно, однако она не решилась прикрыть дверь, так как боялась, что дверь скрипнет. Она шагнула на цыпочках влево и увидела за столом майора в очках, который читал какую-то бумагу.

— Это ваша подпись, Шостак? — спросил майор.

Шостак вытащил из телогрейки конец грязного шарфа, вытерши рот, хрипло несколько раз вздохнул и сказал:

— Попить бы...

— Это ваша подпись? — повторил майор.

— Разрешите,— сказал Шостак и взял бумагу,— да... Я обязан был как санитарный врач сигнализировать...

Майор взял бумагу и, подняв очки на лоб, прочел:

«В канализационных коллекторах, сточных канавах, а также в ряде случаев в дворовых местах общественного пользования, обнаруживаются трупы лиц еврейской национальности, которых отдельные граждане из местного населения самовольно уничтожают в черте города, используя металлические прутья, ножи, камни и прочие средства. Подобные действия,

в нарушение инструкции о сборе этих лиц в строго установленных пунктах для дальнейшего препровождения, угрожают городу эпидемией, что особенно опасно, учитывая большое количество госпиталей немецкой армии, размещенных у нас. Гниющие трупы привлекают бродячих собак и кошек, а также способствуют размножению мух и слепней, и это усиливает опасность распространения эпидемии как среди населения, так и среди армии. Санэпидемстанция городской управы не располагает ни транспортом, ни рабочей силой для вывоза трупов в места, заранее предусмотренные. Посему прошу обратиться к военным властям с ходатайством о запрещении впредь подобного нарушения инструкции, а также прошу выделить транспорт для очистки городской территории от очагов заразы. Главный врач санэпидемстанции городской управы Шостак. 17 августа 1941 года».

— Мне было отказано в транспорте, — глухим утробным голосом, как говорят в бреду, сказал Шостак. — Мы пробовали использовать двухколесные тачки, но место транспортировки было порядка пяти — семи километров, к тому же многие трупы, особенно для транспортировки их по городу, особенно в летнее время, требовали мешков и рогож, так как иногда случалось, конечности были отделены, а в ряде случаев нарушен был кожный покров и ткань, так что внутренности оказывались выведенными наружу и подвергались в еще большей степени, чем наружные покровы, окислению, усиливая опасность эпидемии. Подобная работа по очистке не терпела отлагательств, поскольку водопровод был взорван и население города пользовалось естественными открытыми водоемами... В силу трудоемкости и вредности она требовала высокой оплаты мясными и молочными талонами... В этом мне также было отказано... Поэтому я дал указание дворникам закапывать трупы по месту жительства... То есть использовать укромные места во дворах, либо близлежащие пустыри, если трупы находили по месту жительства. До 24 сентября, когда объявлен был день сбора, все лица еврейской национальности жили по своим квартирам, выселение их в отдельные районы не производилось... Но были у нас случаи убийства просто на улицах... Тут возникали трудности в части уборки... Мы испытывали трудности даже с такими простыми средствами дезинфекции местности, как гашеная известь... — Шостак говорил то громче, то переходя на шепот, глаза его лихорадочно блестели, как у тяжело больного. Он был в каком-то полубреду, едва стоял на ногах... — Попить бы, — снова сказал Шостак.

Майор налил в жестяную кружку воду из графина. Шостак схватил ее жадно, вцепился так, что слышно было поскрипывание зубов о жесть, однако сразу же закашлялся, уронил кружку и согнулся, схватившись за живот. Вены на бритом черепе его раздулись, и видна была ясно каждая жилка, словно на наглядном пособии по анатомии.

— Садись, — сказал майор и подвинул ногой табурет.

Шостак тяжело упал на табурет, снова вытер лицо концами шарфа.

— Теперь вы, — сказал майор, повернувшись к Франие. — Тут в деле имеется ваша докладная о семье зубного врача... Вот сын их приехал. — Майор кивнул на лейтенанта, сидевшего в кресле. Лицо у лейтенанта было бледным, и он поминутно то застегивал, то расстегивал крючки на тугом воротнике под горлом. Он молча вынул фотографию, наклеенную на картон. Сашенька прильнула к самой щели и разглядела фотографию довольно хорошо, потому что Франия стоял неподалеку от двери и фотографию он рассматривал тщательно. На фотографии были мужчина и женщина, празднично одетые. Женщина держала младенца.

За спиной мужчины и женщины стояли юноша и девушка. Девушка была в сарафане с открытой шеей и голыми плечами.

— Я их припоминаю, — сказал Франия, который уже с утра, несмотря на полученную повестку, выпил стакан буракового самогона. — Как же, все на одно лицо. Красивая была порода... На месте они... В своем дворе... Если б они ушли в общину, тогда не найдешь... Там тысяч десять, а тут четверо...

— Конкретней, Возняк, — прикрикнул майор.

— Шума-ассириец их кончил, — сказал Франия, выдохнув, — чистильщик сапог... В газету завернул кирпич, среди бела дня головы разбил и за ноги повтыскивал в помойку... Дочку шестнадцати лет, и мать, и Леопольда Львовича, и младенчика пятилетнего... И одежду свою окровавленную в помойку выбросил... Он специально одежду старую надел, чтобы выбросить не жалко... Шаровары рваные и рабочую куртку парусиновую в ваксе... Лежала эта семья так четыре дня друг на друге, и Шума не разрешал их из ямы вытаскивать, чтоб, говорит, все соседи на них помои лили и грязь кидали... А его и боялись, он же в полицию пошел служить... Дни жаркие были, воздух гнилой, мухи летают... Я ему говорю: у тебя же самого дочь Зара этим воздухом дышит... Не обращает внимания... Ну, пошел я в городскую управу, мне там разъяснили: не слушай, мол, его и не бойся, есть указание властей бороться с эпидемией. Так что вывози в карьеры на фарфоровый завод... А подводу, говорю, где взять, семь же километров... На то ты, говорит, и дворник... Ну, вытащил я всю семью Леопольда Львовича ночью из ямы и закопал возле сараев... А младенчика в рогожу завернул и на кладбище отнес... Сторожу два куса мыла отдал и кальсоны теплые. Он и разрешил мне возле ограды закопать... Дите обижать нельзя, это невинная душа... Не знаю, что у Шумы с Леопольдом Львовичем было, пусть Бог рассудит, а за младенчика, я ему говорю, вечное адское искупление терпеть будешь... Выпил для храбрости и сказал... Он мне по морде смастерил, чуть зубы не выбил... А теперь сам мучается в Ивдель-лагере... Он не здесь попал, он в Польше, там четвертню дали. Только лучше б вышку зарабатывать... Приехал тут один, освободился... Видал его в пересыльном... Болеет все Шума, и болезни какие-то невиданные, какие лишь в аду бывают... Мясо на ногах лопается, тело в нарывах, так что спать нельзя ни на спине, ни на животе, ни на боках, засыпает на коленях, в стену лбом упершись, а как заснет, свалится на нары, начинают гнойники лопаться, и вскакивает с криком... Его за то другие заключенные не любят, спать мешают... И еще не любят, что как еду раздают, съест ее быстро, словно пес, миску вылизает, и ходит просит чужие миски облизать... Кровью кашляет, а не помирает никак... Искупление ему за младенчика... Злоба у меня на него, товарищ майор, хоть он тоже человек... Я ему говорю: Леопольда Львовича кончай, раз уж приспичило, жену кончай, дочку кончай, а дите не трожь... — Франия всхлипнул. Плакал он размашисто, по-пьяному, вытирая лицо, щеки и шею локтями, ладонями, так что на коже оставались полосы.

Некоторое время в комнате было тихо, майор сидел наклонив голову, а лейтенант смотрел перед собой, и впервые лицо его поблекло, изменилось так, что он даже перестал Сашеньке нравиться. Все время, пока говорили, Сашенька стояла в каком-то оцепенении. Не то чтоб она не понимала, о чем говорили, слышно было хорошо, она разбирала каждое слово, но после этого разговора ей казалось, что она подслушала какую-то ужасную, как ночной кошмар, тайну, от которой кружилась голова и которая была вовсе не о том, о чем говорились здесь слова, это напомнило

ей почему-то три свечи в зеркале во время гадания, но дело было не в свечах и не в зеркале, а в чем-то третьем, вызывающем дрожь в темном воздухе, в мелькнувших чужих лицах, приближающихся из серебристого полумрака, словно все привычное и знакомое исчезло, и Сашенькиной кожи коснулся легкий ветерок, влажный земляной запах чужого мира, и как только Сашенька ощутила его, как испуг исчез, и она подумала с облегчением: «А ты разве не знала? Да, это так», — и теперь ей казалось, что, наоборот, вид деревьев, снега, солнца или куска хлеба может повергнуть ее в ужас. Сколько такое продолжалось, Сашенька не знала, ее привел в чувство крик из соседней комнаты.

— Я болен, — кричал арестант, похожий на анатомическое пособие, — у меня рези в кишечнике... у меня спазмы желудка.

Майор снял трубку, позвонил, и Сашенька подумала, что тоже больная, видно, простудилась, когда бегала в одной маркизетовой блузочке.

В соседнюю комнату вошел человек в белом халате и начал щупать арестанта, запрокинул ему голову, оттянул нижние края век. Сашенька на цыпочках отошла к столу, где лежало ее недописанное заявление.

«...Я отказываюсь от нее, — перечитала Сашенька, — и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...»

Вдруг Сашенька спохватилась, что с ней нету туфель-лодочек. То ли она оставила их на вокзале, то ли уронила по дороге. И Сашеньке стало так обидно, что она забыла обо всем, и слезы потекли сами по себе. Сашенька начала часто моргать мокрыми ресницами и проморгала так минут десять, пока не ощутила вдруг, что кто-то на нее смотрит. На пороге, открыв дверь настежь, стоял майор. За спиной его в соседней комнате уже никого не было, словно все то было видением и растаяло в воздухе.

— Ты чего здесь? — спросил майор. Он подошел, скрипя сапогами, и взял заявление, прочел.

— Отчего ж ты плачешь, — спросил он, — мать жалко?

И вдруг Сашенька подумала, что, может, действительно ей жалко мать. Но тут же Сашенька вспомнила, как мать стояла с инвалидом и как била ее, и как выгнала из дому не вшивых нищих, а свою родную дочь. И Сашенька обозлилась сама на себя за то, что вдруг пожалела. Сашенька сердито посмотрела на майора, ничего не ответив, быстро дописала: «Живет также у нас в квартире полицейский Вася и полицейская жена Ольга». Она размашисто подписалась и протянула майору бумажку.

— Не умеешь ты еще такие бумаги писать, — смеясь, сказал майор, — малоубедительно пишешь... Кроме того, дату надо и адрес...

4.

Три дня Сашенька пролежала у Майи с высокой температурой. Просыпалась она на рассвете и смотрела в потолок, нежась на свежих простынях, ждала, пока дворник за окном начнет царапать тротуар лопатой. Тогда Сашенька закрывала глаза, засыпала под эти шаркающие, монотонные звуки и просыпалась уже поздно утром, часов в десять. Сашенька любила ночевать у Майи. Майя была некрасивая, бледная девушка с плохим обменом веществ, отчего лицо ее всегда было в смазанных зеленой гнойничках. Майя была доброй и начитанной девочкой, но подруг у нее не было, а мальчиков она боялась. Потому родители Майи очень были довольны дружбой ее с Сашенькой. Отец Майи работал лектором, а мать преподавала литературу в техникуме. Отец был маленький, с пле-

шью и смешно вытянутыми вперед губами, словно он все время трубил в сказочную дудочку-невидимку. Мать была, наоборот, высокая, рыхлая, с женскими редкими бакенбардами и усами. В доме этом Сашеньке было хорошо, спокойно и сытно, но была одна нелепая история, из-за которой Сашенька старалась последнее время здесь не появляться и даже подружилась, правда ненадолго, с Иришей, дочерью полковника. Собственно, и истории-то не было, так, выдумка глупая, за которую Сашенька сама себя ругала и в конце концов решила: всякий раз как придет эта глупость в голову, щипать себя незаметно и царапать ногтями. Месяца два назад Сашенька и Майя были в кино, смотрели трофейный фильм с такой страстной и нежной любовью, что, выйдя на улицу, Сашенька, потрясенная, шла посреди мостовой, спотыкаясь и спеша, словно торопилась на свидание и у ларька газоды на углу Махновской и Исаковской ее ждал мексиканец Френк Капра. Майе фильм не понравился.

— Ходячий наив, — сказала Майя, — почитай «Приключение в plombированном пульмане», там наш разведчик любит разведчицу... И погибает, конечно, за родину, но родина олицетворяет для него все: и березки, и кремлевские звезды, и разведчицу...

— А может, ты мне еще «Евгения Онегина» посоветуешь читать? — с ехидным смехом спросила Сашенька...

Майя была отличница и хорошо писала изложения, а Сашенька по два года сидела в одном классе и вообще собиралась оставить школу, но про любовь Майя ничего знать не могла, ей, наверное, даже не снились ночью мальчики. Сашенька разозлилась, что Майя с ее гнойничками вообще говорит про любовь.

Дома у Майи их ждал хороший обед. Сашенька получила глубокую тарелку, до краев наполненную перловым супом, на поверхности которого плавали ароматные пятна расплавленного свиного жира. В тарелке лежала большая мозговая кость, облепленная кусочками мяса и клейкого хряща, который Сашенька любила еще больше, чем мясо. На второе были клецки из ржаной муки с мясной подливой. Клецки были поджарены на сковороде и пропитаны салом, стоило прижать их вилкой, и сало начинало течь, смешиваясь с подливой, делая ее гуще. И было еще третье — чай с пластовым мармеладом. Сашенька ела это все, испытывая в душе необычайную благодарность и к Платону Гавриловичу, и к Софье Леонидовне, а перед Майей она чувствовала вину за то, что вышучивала ее по дороге. Незадолго перед этим Сашенька поругалась с матерью, и теперь она думала, насколько чужие люди бывают иногда лучше родной матери. После еды Сашенька уселась на плюшевый диван и решила подумать о чем-нибудь хорошем или смешном, потому что на душе у нее теперь было покойно, а в животе тепло. Она начала опять думать про фильм, вспомнила, как Френк Капра обнимал блондинку так сильно, что Сашенька, сидя в зале, даже почувствовала свои суставы и тело, занывшие в истоме, правда, легкой, далекой от ночной живой сладости. Сейчас, сидя на плюшевом диване в сытой полудреме и вспоминая, Сашенька вновь испытала это чувство, даже еще более усиленное, так что защекало грудь, и она прижалась щекой к спинке дивана, прикрыв глаза, но что-то звякнуло, Сашенька вздрогнула и вскочила. Софья Леонидовна подбирала осколки уроненной ею и разбитой тарелки. Волосы выбились из-под косынки, а капот распахнулся, обнажив желтую висающую грудь, и Сашенька просто ради шутки подумала, представила себе, как Платон Гаврилович обнимал наедине Софью Леонидовну, целовал в обросшие редким курчавым волосом щеки, и вдруг Сашеньке стало не весело, а тошно, так что кусочки

пластового мармелада, который Сашенька ела в последнюю очередь, подкатились ей к горлу. Она прикрыла рот ладонью и посидела так некоторое время, стало легче, кусочки мармелада сползли, но начало побаливать в животе. Это чувство возникало несколько раз, Сашенька старалась не смотреть на Софью Леонидовну, отказалась от ужина, настоящего омлета из американского яичного порошка, и в тот же вечер помирилась с матерью. После этого Сашенька недели две не была у Майи, а когда пришла, то ей стыдно было смотреть Софье Леонидовне в глаза, точно она скрывала какой-то свой тайный, мерзкий порок, о котором та могла догадаться. Долгое время у Сашеньки не было этих ощущений, она даже начала забывать о них, но беда состояла в том, что сейчас, когда Сашенька пришла измученная и больная, они появились вновь и даже усилились. Потому, проснувшись утром и прислушиваясь к голосам в соседней комнате, Сашенька с тревогой ждала появления Софьи Леонидовны и, нервничая, несколько раз провела себе ногтем по запястью, царапая в наказание кожу. Софья Леонидовна вошла умытая, свежая, с заплетенными в косу волосами и освещенная из окон утренним морозным солнцем. Она положила Сашеньке ладонь на лоб, затем опустила руку под одеяло и нащупала Сашенькины плечи и грудь.

— Ты вся мокрая, — сказала Софья Леонидовна, — надо переменить рубашку...

Майя вошла, также умытая и свежая, пятен зеленки на ее лице сегодня почти не было. Она принесла свою рубашку, шелковую, с кружевами у ворота. Майя была выше Сашеньки, ростом в Софью Леонидовну, и Майина рубашка доходила Сашеньке почти до пят.

— А мать твоя в этот раз даже не поинтересовалась, — сказала Софья Леонидовна, — обычно она приходит ко мне в техникум, когда ты у нас, спрашивает... А сейчас ей даже неинтересно знать, что дочь больна...

— Я ее ненавижу, — низким мужским голосом сказала Сашенька, так как была простужена, — она мне не мать... Я признаю только отца, погибшего за родину...

— Ты можешь жить самостоятельно, — сказал Платон Гаврилович, показав в дверь свое намыленное лицо, так как он брился, — за отца еще будешь года два получать пенсию... Окончишь семилетку, поступишь в техникум.

Майя внесла в комнату дымящуюся чашку бульона. Это был настоящий куриный бульон, крепкий и опьяняющий, сваренный из кур, полученных Платоном Гавриловичем в каком-то дальнем сельмаге после лекции о международном положении. С каждым глотком Сашенька чувствовала свое крепнущее тело — так ей казалось, но держать чашку еще все ж было трудно, поскольку была она тяжелой, наполненной до краев крепким наваристым бульоном, а руки Сашеньки были слабы от трехдневной температуры. Чашка наклонилась, и жирные капли бульона плеснули на пододеяльник. Софья Леонидовна взяла чашку у Сашеньки и поставила край ее к Сашенькиным губам. Сашенька пила, испытывала необычную благодарность, и ей даже захотелось обнять и поцеловать эту добрую женщину, но одновременно знакомое беспокойство бродило в Сашенькиной голове, она вдруг поймала себя на том, что ей хочется крикнуть Платону Гавриловичу: не надо, не становитесь рядом, не подходите... Но Платон Гаврилович подошел, взял Софью Леонидовну под руку, плешь его прикасалась к ее пыльному плечу, и Сашенька со злостью отдала себя во власть своих же нелепых выдумок, которых боялась и от которых не знала, как избавиться. Она представила себе все, что делал Френк Капра с гибкой

блондинкой, но вместо темпераментного мексиканца был Платон Гаврилович с лысиной и телом подростка, а гибкую блондинку заменила Софья Леонидовна. Это видение было так смечно и так ужасно, что Сашенька с силой ущипнула свою ногу под одеялом в наказание и едва не поперхнулась бульоном.

— Пей маленькими глотками, — строго сказала Софья Леонидовна.

— Хорошо, — сказала Сашенька и, не выдержав, рассмеялась.

— Ты чего? — спросил Платон Гаврилович.

— На нее смехотунчик напал, — сказала Майя, тоже засмеявшись.

— Значит, выздоравливает, — сказала Софья Леонидовна, — не будет больше в маркизете бегать по морозу.

К счастью, во входную дверь застучали. Стучали сильно, кулаком, и стало сразу ясно, что это стук незнакомого человека.

— Кого еще несет в выходной с утра? — сказал Платон Гаврилович. — Может, ко мне посыльный из райисполкома, лекцию ехать в Хаджинский сельсовет читать... Но ведь вчера перенесли на четверг.

Платон Гаврилович был в галифе, вполне пригодных четырнадцатилетнему мальчику, а сверху на нем была теплая нижняя фуфайка подросткового размера, пуговички которой на груди были расстегнуты, обнажая детскую грудь, покрытую седым курчавым волосом. Он натянул поверх фуфайки полувоенную гимнастерку отработника и, надевая на ходу широкий командирский ремень, пошел в переднюю.

— Это к тебе, Саша, — сказал он, вернувшись через некоторое время, — навестить пришли... Это Ольга, — повернувшись к Софье Леонидовне, добавил он. — Женщина, которая полы у нас мыла... И с ней еще кто-то...

Сашеньке стало почему-то страшно, она забилась в угол дивана, натянув одеяло под горло. Войдя, Ольга тоже посмотрела на нее с испугом. Вслед за Ольгой в комнату вошел танкист-«культурник». Оба были с красными от мороза лицами. Некоторое время длилась неловкая тишина, потом «культурник» сказал:

— Здравствуй, Саша... Вот наведалься... Ольга мне адрес показала...

— А вы кто Саше будете? — подозрительно и ревниво глядя на «культурника», спросила Софья Леонидовна.

— Никто он мне, — вдруг со злостью выкрикнула Сашенька, — не знаю, чего им надо... Чего пришли... Хотят чего-то от меня выведать... Чего-то против меня хотят...

Как только Сашенька крикнула, Ольга испуганно попятилась к дверям, «культурник» посмотрел удивленно, а Софья Леонидовна быстро стала между гостями и Сашенькой, положив Сашеньке руку на голову.

— Не бойся, деточка, — сказала Софья Леонидовна. — Ты в своем доме, тут тебя не обидят... Это, видно, штучки твоей матери... Только уж лучше б она сама пришла, чем чужих людей посылать... Все ж дочь...

— Извиняюсь, конечно, — кашлянув, сказал «культурник», — мать бы рада прийти, только не может, арестована она уже третий день...

— Я так и знал, — нервно выкрикнул Платон Гаврилович, — я чувствовал, что женщина, которая не умеет воспитывать свою дочь, кончит уголовщиной... Женщина, у которой отсутствует материнство, отсутствует и нравственное начало...

— Извиняюсь, конечно, — сказал «культурник». — Уголовщина там не Бог весть какая... Ее задержали в проходной с продуктами... Я ее действия, конечно,

не одобряю... Но только делала она это не для себя... Дочка нервная, ей питание усиленное надо...

— Я не просила, не просила,— крикнула Сашенька,— я говорила, что она позорит... Она позорит отца... Его память... Она не мне... Она половину... Она больше половины отдавала... Она не ради меня...

— Успокойся, Саша,— сказала Софья Леонидовна,— у тебя подымется температура... У тебя глаза лихорадочные.

— Это верно,— негромко сказал «культурник»,— чего уж сейчас... Я у нее был сегодня... Просила она, чтоб пришла ты повидать перед отправкой... Их в Гайву перевозить будут... Судить-то ее по месту жительства будут, я уж со следователем говорил... А пока в ту тюрьму перевезут... Тут тюрьма разрушена, а в КПЗ долго не продержат... К ним в пятницу допускать будут...

— Она больна,— торопливо сказала Софья Леонидовна.

— Это я вижу теперь,— ответил «культурник».

— А вы кто ее матери будете? — подойдя вплотную и поднимаясь на цыпочки, строго спросил у «культурника» Платон Гаврилович.

— Любовник это ее,— задрожав, выкрикнула Сашенька,— она память отца позорит...

Сашенька старалась не смотреть на «культурника», но неожиданно, сама не зная почему, глянула, и у нее перехватило дыхание, точно все, что она знала про себя, в один миг стало известно и ему до самых мелочей, до того, что подчас она и от себя скрывала, и сейчас Сашенька была полностью в его власти, сидела под его взглядом обнаженная и беззащитная. Это длилось недолго, может быть, не более минуты, затем Сашенька пришла в себя, однако уже не кричала, а сидела тихо, забившись в угол.

— Садитесь, пожалуйста,— неожиданно сказала Майя и подвинула стулья «культурнику» и Ольге. Они сели, «культурник» твердо опершись о спинку, а Ольга на самый краешек, боком.

— Тут вам мамаша записку передала,— переходя на «вы», тихо сказал «культурник». Он наклонился и подал Сашеньке бумагу, сложенную треугольником, как фронтовые письма от отца. Сашенька взяла, развернула и начала читать корявые, писанные чернильным карандашом строки.

«Дорогая доченька моя Саша,— писала мать,— с приветом к тебе твоя мать Екатерина. Такая, доченька, стряслась беда. Но ты не волнуйся, следовательно говорит, что много мне не дадут, если чистосердечно во всем признаюсь, подберут хорошую статью, как за мелкое хищение, а не хищение государственно-го имущества на военном предприятии. Дай-то Бог. И, может, учтут мое вдовство и фронтовую смерть моего мужа, а твоего отца. Доченька, я ночи здесь не сплю, когда думаю, как же ты будешь жить без меня. Тебе учиться надо, и ты болезненная, тебе питаться хорошо надо. Спасибо Софье Леонидовне, она к тебе как родная мать, даже лучше, ты цени это, потому что она все ж тебе чужой человек, а она про тебя заботится. Доченька, я тебя перед нашей разлукой ударила. Ты прости меня, сердце зашло и болело после того еще долго и сейчас еще болит. Ты не сердись и приходи в пятницу, я тебя повидать сильно хочу. Твоя мать Екатерина».

Сашенька читала долго, начиная и останавливаясь, перечитывая, доходя до конца и вновь читая первые строки. В глазах ее плыл туман, в груди было тяжело и не хотелось ничего на свете, кроме того как сидеть так с туманом в глазах и тяжестью в груди.

— Чего она там такое написала,— сердито сказала Софья Леонидовна и хотела взять письмо, но Сашенька торопливо, даже резко отстранила ее руку и спрятала письмо под рубашку на груди. Увидав, что

Сашенька притихла, сидит грустная, с мокрыми от слез щеками, Ольга несколько осмелела.

— Васю тоже зарестовали,— сказала она,— жалко... Понятливый он был, тихий... Я бы возле него прокормилась... А, кроме Васи, кому я нужна...

— Пойдем, Ольга,— сказал «культурник»,— мы свое дело выполнили... а теперь мы, может, не к месту... В том смысле, что, может, люди перекусить хотят или мы, может, больной повредили...— Он повернулся к Софье Леонидовне.— Спасибо, хозяйка, что следите за Катериной дочкой, как-никак...

Он пошел к дверям с Ольгой, но сразу же вернулся, видно, в передней у него был пакет большой, промасленный и вкусно пахнущий.

— Вот,— сказал он,— это паек... гостинец...

Платон Гаврилович, стоя за его спиной, сделал зверское лицо и мотнул головой: не бери, мол.

— Нет, нет, нет,— легко кивнув Платону Гавриловичу и отталкивая пакет обеими руками, сказала Софья Леонидовна,— мы не нуждаемся... А вы это лучше... Лучше передачу из этих продуктов...

— Ничего,— сказал «культурник»,— передачу мы тоже обеспечили.— Он положил пакет прямо на Сашенькины ноги поверх одеяла и вышел. Слышно было, как они одевались, как Ольга закрепляла, перематывала веревки на галошах, Сашенька угадывала это по сопению и потапыванию. Потом хлопнула входная дверь, и все затихло.

Весь день Сашенька пролежала, повернувшись к стене, в полузабытьи. Ей было жарко, и она вытащила одеяло из пододеяльника. Тогда стало холодно, однако, чтобы заправить одеяло в пододеяльник, надо было сесть на кровати и производить какие-то новые движения руками, и Сашенька предпочитала согреться, прижав колени к животу. Когда пришел доктор, Сашеньку с большим трудом подняли, и это было не то чтобы больно, а скорее раздражало, потому что она нашла, наконец, удобное положение с подогнутыми коленями и ладонями, охватывающими ступни. Край одеяла, прикрывая Сашенькину голову, образовывал матерчатый козырек между подушкой и стеной, и перед Сашенькиным лицом был серый приятный полумрак, а пальцами рук Сашенька поглаживала пятки и ложбинку ступней. Когда же Сашеньку извлекли на свет, на безжалостное морозное солнце, заливавшее комнату, режущее глаза, ноги Сашенькины оказались в неудобном положении, так что болел таз и ныли пятки, и руки ее оказались далеко выброшенными на одеяло, не могли ничем помочь ноющему телу. Сашенька увидела красное, замерзшее, как у «культурника», лицо доктора, но у нее уже не было сил обозлиться на него, ей могло хватить лишь сил, чтобы разжалобить доктора и Софью Леонидовну.

— Доктор,— сказала Сашенька слабым голосом,— доктор, миленький, славенький мой доктор... что мне делать... с кем посоветоваться... Софья Леонидовна... миленькая, славенькая моя...— однако больше Сашенька ничего не могла сказать, она неудачно рассчитала свои силы и произнесла слишком много слов, без которых вполне можно было обойтись, а ведь у нее было достаточно времени, когда лежала под матерчатым козырьком в полумраке, чтобы найти два-три слова, после которых все стало бы ясно и ей, и всем. И от обиды на себя Сашенька заплакала.

Доктор осмотрел ее и, отойдя к столу, начал негромко говорить с Софьей Леонидовной и Платоном Гавриловичем, а Майя тем временем вытирала Сашенькино лицо платком.

— Простуда и нервное потрясение,— сказал доктор.

— Да,— сказала Софья Леонидовна,— девочка пережила ужасную травму...

— Ничего,— сказал доктор, выискивая рецепты,— организм молодой, пройдет.

И действительно, к вечеру Сашеньке стало лучше, она лежала с ясной здоровой головой и здоровым телом, которому было не холодно, не жарко. Ночь Сашенька спала хорошо с приятными легкими снами, утром она позавтракала вкусным куском холодной курицы. Через несколько дней такой жизни Сашенька полностью восстановила свои силы и сказала Майе, которая ради нее не ходила в школу:

— Ты можешь идти в школу... Я сегодня уйду...

— Но ты еще бледная,— сказала Майя,— и простуженная... А на улице мороз...

— Знаешь, Майя,— сказала Сашенька,— может, я дура, и, конечно, извини, но мне кажется, что у вас имеется какой-то расчет по отношению ко мне...

Тогда вдруг Майя заплакала и сказала:

— Это правда... Я скажу честно... Я слышала раз, как мама говорила с папой, и сказала, что рядом с тобой я смогу тоже дружить с мальчиками, потому что ты красивая... Но это ведь обидно, обидно... Папа ей тоже возражал... А я, Сашенька, знаешь... Я честное комсомольское под салютом всех вождей, я просто тебя люблю... Мне других подруг не найти...

— Найдешь,— сказала Сашенька, к которой вместе с силами вернулась приятная щекошущая тоска в груди, делавшая ее слова твердыми и сильными, и каждое ее слово разжигало ее тоску, по которой Сашенька уже соскучилась.— Я к себе домой пойду,— сказала Сашенька,— а ты найдешь... Вон Ириша, дочь полковника... Или Зара... А я дочка арестантки... Ты не плачь... Чего тебе плакать?... У тебя папа живой, и мама государство не обворовывала...

От тоски у Сашеньки начала вновь побаливать голова, она торопливо надела маркизетовую блузку, юбку, сапожки, все, в чем была на Новый год и в чем пришла сюда. Красивая, она прошла перед Майей, лицо которой сегодня было особенно густо покрыто пятнами зеленки, потом Сашенька надела шубку и вышла на улицу. Был очень ясный день, сугробы поблескивали, и над трубами домов совершенно прямо, отвесно висел белый дым, потому что ветра не было и на голубом небе не было видно ни облачка. Мороз был небольшой, градусов пять—восемь. Посреди мостовой вели колонну пленных румын. Обычно пленные шли согнувшись, дрожа, упрятав носы в воротники шинели. Эти же были рослые, со здоровыми лицами, и, хоть сопровождали их несколько автоматчиков, шли они весело, и впереди знаменосцы несли красный и национальный флаги, а двое несли плакат, написанный по-русски и по-своему.

«Долой реакционеров,— прочитала Сашенька.— Долой бояр и монархистов».

Сашенька свернула в свой переулочек и едва не столкнулась с Зарой. Сашенька отпрянула, увязла в сугробе, но Зара не заметила ее, она стояла спиной и выглядывала из-за угла куда-то в глубину двора, к сараям. Сашенька даже немного дружила с Зарой в первые месяцы после приезда из эвакуации, а потом они разругались из-за Маркеева и стали врагами. Странно, что Сашенька и Зара всегда влюблялись в одного, например, они вместе тайно любили военрука школы и делали это так ловко, что никто не заметил, даже сам военрук, только Сашенька заметила любовь Зары, а Зара любовь Сашеньки. Потому, лишь глянув на Зару, и то со спины, Сашенька поняла, что Зара влюблена, и не просто влюблена, а по гроб, до конца жизни, с ночными мечтаниями и такими снами, от которых ночью млеет сердце, а днем, стоит лишь вспомнить, щекам становится жарко. Видно, забыты были и Маркеев, и военрук. Зара стояла, поглаживая варежкой обмерзшую льдом водосточ-

ную трубу, и черные большие глаза ее, которые так нравились мальчикам и которые так ненавидела Сашенька, теперь смотрели не насмешливо и презрительно, а полны были покорной мольбы, звали и обещали в обмен все. В глубине двора у сараев ходили красавец лейтенант, Франия и управдом. У Франии в руках была лопата, он очищал снег, постукивал по мерзлой земле, делал какие-то пометки и измерял расстояние шагами то от стены сарая, то от стены горелых развалин и, видно, путался, спорил с управдомом. Сашенька тоже остановилась, глядя в глубину двора, прижавшись к дереву с таким расчетом, чтоб дерево закрывало ее от Зары, а она могла видеть Зару и в случае надобности посмеяться над ней. Днем освещенное солнцем лицо лейтенанта было особенно красивым, легкая серебряная изморозь, словно седина, лежала на его выбивающихся из-под ушанки цыганских волосах, а глаза были такой густой голубизны, что на скулах лежали голубоватые тени. Разговаривая с Франей и управдомом, он прошел совсем недалеко от Зары, почти вплотную, так что розоватое облачко дыхания его, Сашенька это видела, коснулось Зариного лица. Не заметив Зары, он сел в заиндевевший военный «виллис», сказал что-то солдату-шоферу, и они уехали. Франия и управдом пошли в сторону Сашеньки, обдав запахом махорки, самогона и примерзшего навоза.

— Леопольда Львовича я два раза закапывал,— говорил Франия,— жара... закопал, собаки разнюхали, разрыли... Пришел санитарный инспектор Шостак... Какое ему теперь, в КПЗ кровью харкает... А тогда кулаками возле морды мне махать начал... А я говорю: я дворник... я возле трупов караулить, стоять не согласен... Я по низшей категории получаю, а ты имеешь паек мясными и молочными талонами и еврейское барахло имеешь... Ну, разумеется, я кое-что из этого не сказал тогда, а подумал... И подумал: погоди, наши придут, холуйская морда...

— Гробы, рабсилу и транспорт лейтенанту интендантство предоставляет,— невнимательно слушая пьяную болтовню Франии, сказал управдом,— и вызов покойников в ночное время... Тут соседи, тут дети... Только ночью разрешено вести работы... Они свернули за угол, и некоторое время еще слышны были их голоса и поскрипывание снега.

Зара стояла, привалившись к водосточной трубе. Разгуливая по двору, лейтенант держал прутик, которым чертил что-то на снегу, наверное, механически, а уходя, он кинул этот прутик неподалеку от Зары. Сашенька видела, как Зара оглянулась, потом пошла как бы нехотя, словно случайно задумавшись, наклонилась, взяла этот прутик, вернулась к себе в укрытие и неожиданно прижала к губам утолщенную часть, которую лейтенант держал в ладони. И тут Сашенька не выдержала, рассмеялась, вспомнив, как лейтенант прошел мимо Зары, даже не заметив ее. Услышав смех, Зара метнулась, словно ее уличили в чем-то стыдном, покраснела, увидав Сашеньку, и крикнула:

— Вшивая, твою мать арестовали...

— А твой отец полицей, его повесят,— крикнула Сашенька радостно и злобно,— советский лейтенант вообще не станет с тобой водиться... Ищи себе гитлеровских гауляйтеров...

— Наплевать, наплевать, наплевать,— закричала Зара и, сломав прутик, кинула его в снег.

Из старого, покосившегося флигеля в глубине двора выбежали двое черноглазых мальчишек, братья Зары, и принялись кидать в Сашеньку снежками. Один был лет пяти с круглой веселой мордашкой и кидал очень смешно, важно пыхтя, и недалеко, осыпая себя снегом, а второму уже было лет тринадцать, он был гибкий, ловкий и кидал умело, беспощадно, зная, что целить надо повыше — в глаз или

в зубы. Он попал Сашеньке смерзшейся ледяшкой в нос так сильно, что на мгновение перед ней зарядил воздух и смеющееся лицо Зары поплыло в сторону. Второго, гибкого, то ли имя, то ли кличка была Хамчик. Все во дворе звали его Хамчик; даже родная мать. Сашенька сжала кулаки и кинулась к Хамчику, но мать братьев, жена погибающего в Ивдель-лагере Шумы, тоже выбежала из флигеля, черноглазая, большеносая с золотыми зубами. Она схватила Зару и двух сыновей и потащила их по тропинке в дом, испуганно оглядываясь. Хамчик яростно сопротивлялся, рвался из рук, кровожадно пытаясь из-за материнской спины достать Сашеньку ногой. Когда вся семья укрылась в своем флигеле, Сашенька стояла посреди тропки, чувствуя солоноватый привкус на губе и устало дыша, потом наклонилась, приложив снег к разбитому носу, и, нащупав в кармане шубки ключи, побрела к себе, тяжело поднялась по лестнице и вставила ключ в замочную скважину. Однако дверь была заперта изнутри на крючок. Сашенька вспомнила об Ольге и постучала.

5.

Ольга встретила ее радостная, умытая, с мокрыми распущенными волосами и в халате матери.

— А Вася-то вернулся,— шепнула она Сашеньке, словно приглася радоваться вместе и сообщая весть, которую Сашенька давно с нетерпением ждала,— выпустили, слава Господу...

Кухня была сильно натоплена, и на полу стояло несколько лоханей с грязной водой, и чувствовался запах хозяйственного мыла, видно, недавно здесь производилось купание. На кухне появились какие-то новые бумажные салфеточки, вырезанные из газеты, с зубцами, старый хозяйственный столик со знакомыми зазубринами, на котором мать готовила еду и который Сашенька любила нюхать, потому что он вкусно пах котлетным фаршем, этот столик исчез, а вместо него был новый, прочно сработанный из свежих досок. И вообще что-то незаметно изменилось, точно Сашенька пришла в чужую квартиру. Вася сидел не за своей перегородкой на кухне, а в комнате, за столом, и, увидав Сашеньку, он улыбнулся ей приветливо, но без испуга, как раньше. Наоборот, Сашенька испытывала теперь какую-то робость, войдя, она присела на валик своего диванчика, который натирала боками в душевые, полные мечты и желаний ночи, однако сейчас и этот диванчик показался ей чужим.

— Садись к столу,— сказала Ольга и поставила перед Сашенькой голубую миску, из которой обычно ела мать. В миске лежало два больших черных вареника, и Сашенька начала жадно есть их, хоть знала, что они добыты Ольгой на церковной паперти в виде подаяния. В варенике была начинка из всякой всячины. Здесь был мак, рис, сушеные сливы, морковь, лук, и все это показалось Сашеньке очень вкусным, она подумала об Ольге с благодарностью, и всякий раз, когда Ольга выходила на кухню, а потом снова заходила, Сашенька смотрела с надеждой, не принесла ли Ольга еще что поесть. Но Ольга больше ничего не дала, лишь убрала миску и вытерла стол. Посреди стола стояла хлебница с кусками черствого церковного кулича, и Ольга убрала его в буфет, от которого у нее теперь были ключи. Сашенька заметила, что на полках в буфете уже стояли какие-то Ольгины мешочки, торчали деревянные ложки, выстроганные Васей, и лежала непочатая свежая буханка хлеба.

— Выпустили,— улыбаясь, обнажая десны, сказал Вася,— вчистую освободили...

На Васе была свежая полосатая рубаша, которую Ольга, наверно, нашла в том отделении шкафа, где

лежали вещи Сашенькиного отца. Однако ни Вася, ни Ольга не испытывали по этому поводу ни малейшего смущения, и Сашенька тоже почему-то не возмущалась, то ли у нее не было для этого сил, то ли Сашенька чувствовала, что жизнь ее вдруг изменилась так, что возмущаться она теперь права не имеет. Ольга и Вася смотрели друг на друга, гладили друг друга, похлопывали друг друга и улыбались Сашеньке, точно приглашая и ее разделить их радость. И Сашенька вдруг улыбнулась, чтоб Васе и Ольге было приятно, хоть улыбаться не хотелось и после двух вареников еще сильнее хотелось есть. Только теперь, освоившись немного с новой обстановкой и своим положением, Сашенька заметила, как Вася переменился за эти несколько дней. Раньше это был здоровый, сильный, с мощной круглой грудью и тупым, вечно испуганным лицом мужик. Теперь же перед ней сидел изнеможенный с бритой головой человек, с кругами под глазами, с запавшими щеками, кожа на черепе его была голубоватой, и он похож был на арестанта, которого Сашенька видела в кабинете майора, шея его также похудела и побледнела, так что ворот отцовской рубашки был велик, и, хоть рубашка застегнута была на верхнюю пуговицу, видны были костлявые Васиные ключицы. Вместе с болезненностью лицо Васи приобрело какой-то покой и некоторое осмысленное выражение, точно за эти несколько дней в тюремной камере он что-то понял и мог даже смотреть сам на других свысока и поучать их, так бывает иногда после тяжелой болезни либо беды, окончившейся благополучно. Человеку вдруг начинает казаться, что он великий молодец и понял, в чем суть всякого явления.

— Ты к Кайгородцеву сходи насчет матери,— сказал Вася.— Тебя будут к помощнику направлять, к майору, ты не ходи... Скажи, я лучше подожду... Я лучше в другой раз... Я человек подневольный, обязан был подчиниться, я только глянул, понял... Ни-ни... К такому не попадай... Крут, ой крут... Но работа у него тоже нервная, с нашим братом повозись... А я думаю, главное потерпеть... Начальник другой придет повыше, разберется... И сразу разобрался, дай ему Бог здоровья... Ученый, видать... Полковник... Ты, говорит, невиновен, а виновен только, что не явился сам по месту жительства для разбора, раз на тебя подана бумага... Ты, говорит, советской власти не доверился... Виноват, говорю, ваша правда... А бумагу на меня Анна подала... Я у ней на квартире жил... Как пьяный мужик к бабе, так она ко мне... Я председателю сельсовета говорю: извините, почему же меня не предупредили, что такой человек, почему ж вы меня к ней поставили на квартиру. Вот Анна и подала на меня, что я полицейский был, а я ж водовозом просто в комендатуре работал... Случайно узнал, дай Бог здоровья... Народ всюду есть хороший... Да... Полковник, он сразу разобрался... Дай Бог здоровья... Ты насчет матери к нему...— Вася вдруг остановился с полуоткрытым ртом, с выпученными глазами, прижал руки к горлу, лицо его исказилось, и он закашлялся, словно захлебнулся воздухом. Кашлял он долго, надрывно, роняя изо рта мокроту с красными прожилками на свежий ворот рубашки Сашенькиного отца, торопливо, скрюченными пальцами, растегнул пуговичку под горлом, будто она его давила, хоть ворот был велик и провисал. Ольга заметалась вокруг Васи, застучала ему кулаком по спине, точно он проглотил кость, и крикнула Сашеньке сердито, требовательно:

— За водой на кухню сбегай, чего сидишь...

Сашенька вскочила и покорно побежала на кухню. Когда она вернулась, кашель у Васи уже прошел, он сидел улыбаясь, вытирая слезы, и Ольга сидела подле него успокоенная.

— Уже не надо,— ласково сказала она Сашеньке,— захворал вот наш Вася,— добавила она, точно Вася был так же дорог и Сашеньке,— ничего, вылечим... Ты кружку на кухню-то поставь...

— Ничего,— сказал Вася,— легкая кондрашка прохватила,— главное, я теперь вольная птица... Полностью оправдан... Теперь работать буду... На перчаточную фабрику устроюсь...

В Ольгины волосы сзади воткнута была изогнутая гребенка, Вася вытащил ее и принялся расчесывать Ольгу, он осторожно подхватывал влажные ржаные пряди снизу левой рукой и проводил по ним гребенкой, расчесал посреди Ольгиной головы белый вымытый пробор. Ольга жмурилась от наслаждения, терлась рябой щекой о Васин подбородок и похожа была на старую, обрюзгшую кошку, которую давно не ласкали.

— Если б не выпустили,— сказал Вася,— сегодня б в Гайву отправили... Ты с матерью-то попрощалась? Их в двенадцать отправлять будут...

— Я болела,— сказала Сашенька.— Я сейчас...— Она торопливо надела шубку и выбежала на улицу. Возле лестницы Сашеньку поджидали сыновья Шумы со снежками. Глаза тринадцатилетнего Хамчика горели упрямо и фанатично, снежки его были хорошо утрамбованы, слегка согреты в ладонях, а потом опять заморожены, так что превратились в круглые, со свистом рассекающие воздух ледышки. Младший же сын Шумы пяти лет лепит снежки неумело, они рассыпались в пыль, и это его веселило, лицо младшего было круглое, розовое, а глаза не свирепые, а озорные. Сашенька так спешила, что ей некогда было отмахиваться от Хамчика, он гнался за ней до конца переулка и два раза больно попал ледяными снежками, один раз по ноге, а второй раз в затылок между воротником и шапочкой, видно, Хамчик бил с толком, ни один снежок его не попал в пальто на ватной подкладке, он целил либо в голое тело, либо туда, где тело было наиболее плохо защищено.

Когда Сашенька подбежала к трехэтажному зданию, верхние этажи которого были окованы цинком, ворота уже были распахнуты и провожающие родственники на другой стороне улицы волновались, видно, сейчас арестантов должны были вывести. Сашенька узнала женщину в каракулевой шубке. Она стояла, жадно вытянув шею, глядя на ворота, и в руках ее опять была вкусно пахнущая корзина. В самом конце толпы стоял «культурник» в подбитом мехом танковом шлеме. Сашенька едва не столкнулась с ним и торопливо спряталась за спину. Из ворот вышел знакомый Сашеньке белообрый дежурный. Дежурный с беспокойством посмотрел на толпу и сказал:

— Граждане, ведь предупреждал, никаких передач принимать не будет... На то было время в отведенные часы, как положено...

— Товарищ начальник,— дрожащим от уважения голосом сказала женщина в каракуле,— а я приготовила продукты мужу... Как же быть...

— Продукты можете выслать посылкой... Адрес скажут в бюро пропусков... Острые режущие предметы и спиртные напитки не принимаются,— привычно и скучно ответил дежурный,— значит, граждане, предупреждаю, если будете создавать беспорядки, охрана применит силу... В ваших же интересах... В общем, ясно?

Несколько секунд длилось молчание.

— Ясно, чего там,— спокойно ответил за всех высокий крестьянин.

— Ну вот и хорошо,— сказал дежурный и, обернувшись к воротам, крикнул:

— Диденко, пошли!

Первыми из ворот вышли два милиционера в телогрейках и кубанках, у одного на кубанке еще сохрани-

лась красная партизанская ленточка наискосок. Милиционер с партизанской ленточкой держал на изготовку трехлинейку без штыка, второй милиционер был с тяжелым немецким автоматом, висевшим у него на груди. Потом потянулись арестанты по четыре в ряд. В одной части здания была милиция, а в другой МГБ, где содержались бывшие полиция, крупные бандиты и арестованные по политическим делам. Но при отправке на станцию конвой был общий. Арестанты были окружены плотным конвоем в разноцветных шинелях: серых армейских, синих милицейских, а также из английского зеленого сукна. Были также милиционеры в партизанских полушубках и телогрейках. Вооружены конвойные были русскими трехлинейками, автоматами ППШ с круглым диском, немецкими автоматами с тяжелым цилиндрическим, как у пулемета, кожухом и тонким стволом. Дежурный шел впереди, помахивая маузером, который он держал дулом вниз. Была среди арестантов группа, которых вели отдельно, и не в ряд, а кучкой. Кроме конвоя, их сопровождали две большие овчарки. В группе этой шел высокий широкоплечий человек с квадратной челюстью, багровым рубчатым шрамом у уха и мутными глазами. Руки его в двух местах, в кистях и у локтей, были крепко стянуты за спиной толстой веревкой. Рядом с ним шел тщедушный паренек с впалой грудью, бледный, узкоплечий, но тоже связанный не менее тщательно. Шел в этой группе и Шостак, он не был связан, но, очевидно, согласно арестантскому уставу, держал руки за спиной. Лицо у Шостака было неживого, землистого цвета, его беспрерывно душил кашель, и он время от времени вытирал свои мокрые склизкие губы о плечо. Четвертым в этой группе шел пожилой мужчина в пенсне. Мужчина старался держаться подальше от Шостака, брезгливо отворачивался, чтоб брызги при кашле не попали ему в лицо. Он тоже заложил руки за спину. Покосившись по сторонам, мужчина воткнул ладони в рукава, грея их, словно в муфте, но молодой милиционер-конвойный заметил и крикнул:

— Ну-ка вынь... Опять балуешь...

Сашенькина мать шла в третьем ряду крайней слева, с противоположного конца от тротуара, на котором стояли провожающие. В одном ряду с ней шли две смуглые женщины в длинных юбках, подметавших снег, очевидно, цыганки, шли молодой паренек лет 15—16 и крестьянин, очень похожий на высокого крестьянина, но пониже. Крестьянин этот отличался от других арестантов здоровым цветом лица, и его спокойный вид человека дисциплинированного и умелого работника говорил, что он на хорошем счету у надзирателей и после суда послан будет не за пределы республики, а в один из ближайших лагерей, может, даже на строительство местного вокзала, разрушенного бомбой.

Сашенькина мать одета была не в свое драное старое пальто, а в теплый армейский бушлат, который Сашенька раньше видела на «культурнике». На ногах у нее были кирзовые сапоги, те самые, в которых она носила замерзшие куски каши, котлеты, пончики, иногда мешочек риса либо сахара, продукты, которые мать утаивала при закладке в общий котел или уже в готовом виде урывала при раскладке за счет уменьшения порций личному составу.

Голова матери повязана была платком по-старушечьи низко, так что лицо ее сделалось для Сашеньки малознакомым, особенно обострившиеся скулы. Странно также Сашеньке было видеть, как мать дисциплинированно и умело выполняет команду конвоя, придерживая шаг, когда колонна поворачивала, и соблюдая дистанцию. Однако когда колонна полностью вышла из ворот и показались два замыкающих милиционера, арестанты начали проявлять беспокойство,

смотреть по сторонам, искать родных, и мать тоже смотрела, не обращая внимания на окрики конвоя. «Культурник», расталкивая окружающих, пробрался к самому оцеплению, хоть ему и мешала раненая нога и держался он с трудом, так как вокруг толкались другие провожающие. Мать заметила его, и лицо ее сразу расцвело, стало даже красивым, молодым, несмотря на старушечий платок, и она посмотрела на «культурника» с такой любовью, что у Сашеньки больно, недобро и ревниво сжалось сердце.

Сашенька торопливо спряталась за чужие спины и, чтоб озлобить себя, начала думать, как мать ударила ее и как она опозорила героическую память отца, а квартиру отдала двум нищим, выгнав на улицу родную дочь. Раньше мысли эти наполняли все тело, особенно голову, быстрой, кипящей от злобы кровью, так что сердце не поспевало вослед и стук его отдавался всюду — в висках, в ногах, под горлом, в ушах. Теперь же Сашенька думала о всем этом вяло и скучно, и сама не знала, чего хочет, у нее сильно болели нога и затылок, в которые Хамчик попал ледяными снежками.

Лицо «культурника» при виде Сашенькиной матери тоже изменилось, стало мягким и нежным до смешного, на лбу его у бровей были следы от брызг расплавленной брони, навек застывшие, собравшие кожу в губчатые пористые пятна. Теперь же вокруг пятен появились морщинки, какие бывают у человека с ямочками на щеках, когда он хочет рассмеяться.

— Катя, — сказал «культурник» ласково, хоть шею его стала красной от напряжения, так как правым локтем он удерживал высокого крестьянина, пытавшегося протиснуться вперед, левый бок сжала впадавшая в отчаяние «каракулевая» женщина, а грудью он сдерживал давление конвойного, гнувшего в три погибели.

— Катя, — сказал «культурник», — ты не волнуйся, все будет хорошо... Я напишу своему генералу... Я ходатайствовать буду... О смягчении ходатайствовать... Учитывая твою... в общем... — «Культурник» держался с трудом, раненая нога его буксовала по утоптанному скользкому снегу.

— Сашенька как, Саша? — крикнула мать, пристав на цыпочки, так как ее заслонял упитанный крестьянин-арестант.

— Хорошо, — почти падая уже под всесторонним напором, крикнул «культурник». — У жены ответработника она... Имя забыл... Хорошо ей...

— Увидишь, — еще более пристав и вытянув шею, крикнула мать, — передай, пусть простит... Пусть простит свою мать... Что я ее родила, но не обеспечила и опозорила...

По лицу матери текли слезы, оно сразу поблекло, стало старым и больным.

— Мама, — вдруг неожиданно для себя крикнула Сашенька и начала рваться вперед с таким ожесточением, что мгновенно уперлась в казенно пахнущую спину милиционера, стоя в распахнутой, с оторванными пуговицами шубке.

— Сашенька, — отчаянно крикнула мать. — Сашенька...

— Я здесь, — испуганно лепетала Сашенька, уговаривая, успокаивая мать, будто маленькую, — я здесь, мне хорошо... Ты вернешься... Искупишь вину... Я буду работать... Я на перчаточную фабрику устроюсь...

— Сашенька, — продолжала кричать мать. — Сашенька...

Она повторяла только это, будто забыла разом все остальные слова или не хотела тратить дорогие секунды на другие слова, на длинные фразы, на придаточные, сказуемые и глаголы, которые Сашенька в школе тоже никак не могла запомнить... А тут в одном

слове было все: и то, как она боится не вернуться из заключения и не увидеть больше дочь, потому что не спит уже седьмую ночь подряд, в камере тридцать человек, душно, мысли не дают покоя, и болит сердце постоянно, так что даже стало привычно. А время от времени, особенно под утро, ноют суставы, шелушится кожа на распухших от мытья котлов руках, после суда будут тяжелые земляные работы, как у всех осужденных без квалификации. Хорошо, если удастся устроиться на кухню. И про свою неудачную жизнь рассказать хочется, кому ж еще как не дочери... Как хотела она любить, как тосковала одна ночами столько времени, как уходила молодость, как от тяжелых котлов испортилась фигура, как забыла запах пудры, помады и одеколона, как отяжелели ноги в кирзе и у ступней появились костяшки-выступы, так что большой палец правой ноги вовсе вогнулся внутрь и теперь уж нельзя даже мечтать о туфлях на высоком каблучке. А дочь выросла красивая, но злая и нервная, и за это нет ей, матери, прощения. И еще была одна вещь, которой хотелось поделиться, потому что давила она сердце, но поделиться этим нельзя было с родной дочерью, а скорее с человеком случайным, но понятливым, лучше с пожилой женщиной, легче бы стало, однако в камере не нашла она ни одной такой, с кем бы можно было о том поговорить. Впервые после Сашенькиного отца имела она мужчину, и теперь ей было тяжело без него. Пять лет ждала она мужа, сдерживала себя, стонала ночами, мяла о подушку сохнувшие груди, а теперь разом все излила в два месяца, ей было тоскливо и стыдно от пробудившихся острых желаний, терзавших ее нездоровое, быстро стареющее тело, и было обидно оттого, что не удалось насытить его перед концом, пока оно загложнет окончательно и состарится, потому в ее возрасте каждая секунда дорога, а уйдет месяцы и годы на нарах в одиночестве. Об этом дочери сказать нельзя было, однако хотелось, чтоб она поняла эту ее тоску, хотя бы неявно для себя, вернее, именно неявно для себя, так лучше, но простила б и пожалела.

Оттого, что Сашенькина мать остановилась, закричала и сбилась с ноги, ряды арестантов сломались, и возникла суматоха. Старуха Степанец нырнула вдруг ловко и бойко между цепью конвойных и, не обращая внимания на рвущуюся к ней овчарку, схватила связанного тщедушного паренька, заголосила. Женщина в каракуле пыталась кинуть своему мужу в бобриковом пальто вкусно пахнущую корзинку, но молодой милиционер-конвойный отбросил корзинку ногой, и Сашенька, рванувшаяся к матери, наступила мимоходом на отварной телячий язык, запавшийся чешночком, вдавливая его каблучком в снег. Пробежал белобрый дежурный, что-то крича, и двое конвойных схватили, повисли на высоком связанном арестанте с мутными глазами. Только высокий крестьянин не поддался суматохе, деловито и четко он передал за спиной милиционера своему брату завернутые в промасленную холстину куски сала, две буханки круглого домашнего хлеба и несколько пачек папирос «Беломор». Все это мгновенно исчезло в рюкзаке упитанного арестанта. К матери Сашеньке пробиться не удалось, арестантов оттеснили назад во двор и заперли ворота. Старушку Степанец закрыли в караульном помещении. На крыльцо вышел очкастый майор. Бледный дежурный говорил ему что-то, жестикулируя.

— Составить список, — громко говорил майор, — лишить права передач и посылок... И выяснить зачинщиков...

Он повернулся и ушел назад, не глядя на толпящихся родственников, которые сами теперь были запуганы случившимся.

(Окончание следует.)



Инна
ЛИСНЯНСКАЯ

☆☆☆

Мне не надо иного подспорья,
Чем от уст отлетевшая мгла...
Двадцать лет я не ведала горя,
Потому что сама им была.
Обо всем запрещенном я пела,
Обо всем разрешенном — молчу,
Лишь гляжу, как черемухи пена
Луговую венчает парчу.
Да дивлюсь, что я вижу впервые
Не людской, а растительный мир,
Не эпоху, чьи мысли кривые
Душу живу протерли до дыр.

День третий

О третий день, ты и проклятье,
И вечной жертвы торжество:
Из древа твоего — распятье,
Венец — из терна твоего.

Уже есть свет и тьма, уже очерчена
Вся твердь — вода отъята от воды.
Нас нет еще, но прочно обеспечена
Земля цветеньем и дает плоды.
Наверное, на каждый день творения
Уходит вечность. В небе еще нет
Светил для дня и ночи освещения,
Для исчисления наших дней и лет.
Еще нас нет, и торопиться некуда,
Еще в реке — ни щуки, ни линя,
А в воздухе — ни голубя, ни беркута,
И ты еще не предавал меня.
Еще до дня шестого бездна времени,
Нас нет еще — и нет сомнений в том,
Что истина сильнее любого семени,
Какое мы посеем и пожнем.
Нас нет — еще из рая мы не изгнаны,
Еще пустует памяти подвал,
Нас нет еще — и наши сны не изданы,
И ты меня еще не предавал.

☆☆☆

Развалилось то, что долго длилось,
Но столкнулось в тьму,
Помолилась я, перекрестилась,
Но с груди сниму
Крест, поскольку из зимы метельной
Катит черный ком,
Рассекут, боюсь, и крест нательный
Алым топором.
Прежде люди разнились по вере,
А теперь, теперь
Спрячу крест, раскрою настежь двери,

Двух Заветов дочерь.
Ярославны плач и плач Рахили
Смешаны во мне,
Спрячу крест, пойду по снежной пыли
Да к своей стене,
Спрячу крест и подымусь на кровлю,
И под град камней
Я заплачу в голос всю кровью,
Солью двух кровей.

☆☆☆

С какой тоской веселой последних полчаса
Медок сосали пчелы, а запах — небеса,
С какой тоскою пряной от липовых цветов
Июльский день отпрянул, сгорел и был таков,
С какой тоской беспечной я думала о том,
Что ты, мой первый встречный, ушел за окном
Всего, что было летом, всего, чему не быть,
Всего, о чем аскетам и строчки не сложить.

☆☆☆

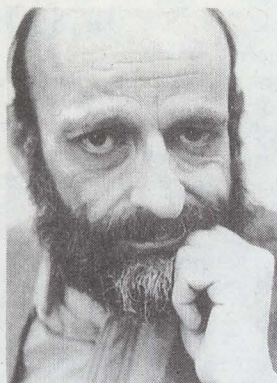
Я сама себе колыбельную
Каждый вечер пою:
Спи, скиталица, пыль метельную
Не увидишь в раю!
Сделал походя твой возлюбленный
Из голубки змею,
Спи, бесстыдница, взгляд потупленный
Ты не встретишь в раю!
В ночь безлюдную, новгородную
Дунь на свечку свою:
Спи, безумица, преисподнюю
Ты не вспомнишь в раю!

Долгий перерыв

Не чувствую давно, не мыслю, не рифмую
Ни местных новостей, ни тамошних вестей.
Я перестала быть, я рыбу фарширую,
Я перестала быть, я созвала гостей.
От юшки и вина стол золотисто светел.
Воздали рыбе дань, хозяйшкe — хвалу,
А то, что нет меня, никто и не заметил,—
Еще бы! Я верчусь и подаю к столу.
Стихи читает гость о милиционере,
В одическом горшке сварганив низкий жанр,
Всем весело, а мне нужны по крайней мере,
Как рыбине в сачке, движенья сильных жабр.
Я перестала быть. Но рано утром встану,
Чтоб как-нибудь попасть в столичный «Океан»,
В продаже карп живой, и я его достану,
И всех я обзвоню, и каждый будет зван.
Кастриюлю устелю кожанкою от лука —
Блестящ его навар, как солнце в серебре,
И вряд ли кто поймет, что нет во мне ни звука
И что справляю я поминки по себе.

☆☆☆

Ни красоты божественной, ни бесовских чар,—
У меня наследственный плакальщицы дар.
Лилия не вправлена в локоны завитой,
А душа отравлена кровью пролитой.
Воля и насилие пили заодно
Из бурбонской лилии алое вино,
Пулей делу правому пролагая путь,
И орлу двуглавному прострелили грудь.
Тронула я перышко левого крыла,
Ах, как эта кровушка руку обожгла!
Об орле и лилии мне ль сейчас страдать,
Правнучке Рахилевой есть над чем рыдать.
Но слезою горнею плачет Вечный Сын,
Не едино горе ли, если Бог един!



Юрий
КАРАБЧИЕВСКИЙ

☆☆☆

Москва пропахла
потом и духами,
стихам и клятвам
позабыла счет.
Она стоит
в слепом июльском гаме,
как женщина с красивыми ногами,
усталая, не старая еще.
И мчатся ли троллейбусы
с жужжаньем,
скрипят ли в переулке тормоза —
я обречен с угрюмым обожаньем
смотреть в ее спокойные глаза.
И что бы ни случилось:
рев команды,
рывок вначале
и удар в конце,—
полоска полустершейся помады
не шевельнется на ее лице.

Много лет назад

С. Гутману

Две девочки, две лаборантки,
Надсадный, отчаянный флирт.
Видавшие виды баранки
Да чаем подкрашенный спирт.

Приборы, привычные глаза,
Веселый, божественный хлам...
Казалось, за каждую фразу
Полцарства обещано нам.

Еще мы потерь не считали,
Еще не упали в цене
Те лучики предначертаний,
Что плавали в синем окне.

Достаточно было на йоту
Напрячь очумелые лбы,
Чтоб даже позывы на рвоту
Принять за призывы судьбы.

☆☆☆

Очень холодно. Некуда деться.
Что за место, никак не пойму.
Тьма такая, что, если взглядеться,
видишь ту же крошечную тьму.
Всякий вывод, любая оценка —
беспольный и каторжный труд.
Как ты думаешь, сколько до центра —
километров, копеек, минут?
Как ты думаешь, там, на Неглинной,
разливают ли свет фонари?
Перекладной сказочно длинной
запирают ли дверь изнутри?
Заполняют ли шорохи ночи
неподвижно-задумчивый дом?

И звучат ли шаги одиночек
все короче под каждым окном?
Здесь во тьме, где могильная сырость
растворилась уже в нас самих,
мне привиделось, или приснилось,
или так показалось на миг,
что маячит последняя точка,
заслоняя пространство и свет,
и уже ни клочка, ни кусочка
не осталось от старых примет.
Город пуст и на части расколот.
И в молчаньи, сводящем с ума,—
та же тьма и пожизненный холод.
Окончательный холод. И тьма.

☆☆☆

Кому там не спится,
кому приобщиться к утрате
в сердечной больнице,
в проклятой инфарктной палате?
Там воздух недвижим,
и желт, и на тяжесть испытан,
и шепотом выжжен,
и запахом кислым пропитан.
Там круглые икры
и мягкая поступь у Тани.
«Сестрица, водицы!»

Дохнуть не дает духота мне!..»

А вслух — бормотанье,
а вслед — провожанье глазами.
А некогда Тане,

сегодня у Тани — экзамен.
Готовься, готовься,
смертельные случаи редки.

Я тоже готовлюсь,
я тоже пугаюсь отметки.

За все небылицы
готовлюсь к последней расплате
в сердечной больнице,
в проклятой инфарктной палате...

Память

Что останется? Проблески, миги.
Все чужое. Но это — твое.
Как плескалась река возле Риги,
если в ней полоскалось белье.
Как размокшие руки в морщинах
там, где пальцы не тронул загар,
брали стебли усталых кувшинок —
твой никчемный и пламенный дар.
Как темноло, и как вы тянулись
к городской суете и возне.
(От угрюмой сутулости улиц
сладковато ломило в спине...)
В междукрышье, в бездонную стужу —
рокот стен и дрожанье опор —
так служил вам последнюю службу
холодеющий Домский собор...
Где бы дать себе волю и где бы,
как не здесь, убежать от судьбы?
Вознестись бы, вибрируя, в небо
продолженьем органной трубы.
Укрепиться на ясных вершинах
и спокойно следить вдалеке,
как усталые стебли кувшинок
умирают во влажной руке...

☆☆☆

Жара! Куда-нибудь и с кем-нибудь!
Безбрежный город в испуганной пене.
Туманит зренье радужная муть,
и под ногами плавают ступени.
Троллейбусы кусают удила.
Не верится, не терпится, не спится.
И женщины раскаленные тела
едва прикрыты платями из ситца...

Александр ЛАВРИН

ГОН

Повесть безымянных лет



Рисунки Филиппа Барбальсеса
Фото Леонида Шимановича

Что нового? А ничего. Ничего, скажу я вам.

Стукнет щеколда на деревянной калитке, скрипнут ржавые петли, и три фигуры одна за другой воздвигнутся в узком калиточном проеме.

По-петушину подымая ноги, идут они по двору, где у забора раскинулась морем широким бывшая поленица, а среди битого кирпича драгоценно блестит бутылочное стекло.

Знают — можно не стучать, а легонько приоткрыть низкую дверь и спросить в темную прохладу сеней, то бишь коридора:

— Хозяева дома?

И если нет ответа или какого шороха-покашливания, ткнуться в следующую дверь — толстую, добротную, обитую слоновьим дерматином.

— Да заходите, заходите, кто там!

Бородатый, на плече большая сумка, видать, старшой, первым шагнул на голос.

— День добрый!

— Добрый, добрый... — откуда-то сверху, как эхо.

А! Вот оно что! Хозяин-то на полатах, на настоящих русских полатах. Ох, старина, старина...

— Простите за беспокойство, нам бы воды попить...

Хозяин наконец свесил голову:

— Вон ведро — за занавеской, пейте сколько влезет.

А хозяин-таки молод. Странно. Молод — и на полатах. Днем. Или болеет?

— А может, квасу хотите?

— *Хотите!* — невольно поправляет одна из трех. Девушка-девица. А может, и не девица, кто ж ее знает.

— Ученые, значит? — спрашивает хозяин с подозрительной расстановкой.

Но бородач мудр, он вовремя применяет отвлекающий маневр.

— Заблудились, понимаете ли, за Дубровками. Наверно, раньше времени с большака свернули. А насчет кваса, это спасибо. Кваску сейчас попить нелишнее.

Гости заходят за занавеску. На низком столике ведро с водой и покрытая марлей трехлитровая банка с грибным квасом. И гриб плавает — слоеным блином.

— Спасибо вам! — выходя на свет, говорят гости почти хором.

— Не на чем, — бурчит хозяин. И смотрит игольчато: когда уйдут?

Девушка все-таки не удержалась:

— Извините, а вы чем-то больны?

Хозяин тут же согласно и будто бы с удовольствием кивает.

— Ноги у меня... парализованные. С самого малолетства. Полимелит называется, слышали? — Он откидывает голову, и видно, как часто ходит кадык на его малобритой шее.

— А вы лечились... где-нибудь? — тихо спрашивает девушка.

— Естественно в моем положении, — с явной обидой отвечает хозяин. — По всем врачам прошел, какие только есть. А ноги, сволочи, не ходят — и все тут!

— И в Москве были?

— Милая моя! — От оживления хозяин даже привстает на локте. — Как же не быть! Был, был я и в столице нашей Родины, вэдээнху видел, по Красной площади на коляске инвалидной ездил. Нет, нич-его не помогло.

Бородатый кивает сочувственно, упирая бороду в грудь.

— Вы уж извините Катю... то есть Екатерину Васильевну. Вечно она со своими вопросами и к месту, и не к месту.

— Да нет, нет, ничего. — Хозяин улыбается. — Я понимаю: у женщин всякий калека жалость вытягивает. Это бывает. Я сам жалею, когда котят топят. А что делать? Ведь если их не топить, их сколько будет? Их больше, чем людей, будет. А человек, он никогда не потерпит, чтобы больше, чем его, было.

Внезапно очкастый начинает хохотать. Хохоchet он с мелким взвизгиванием, со слюной, видной на просвет. Девушка смотрит на него, оторопев.

— Ты чего, Женя?

— Да чудно все это! — сквозь смех выговаривает Женя. — Ты вспомни, как село называется!

— При чем здесь село?

— А! — Женя машет рукой. — Долго объяснять. Вы лучше спросите нашего дорогого хозяина: ему, часом, не тридцать три года? А может, он нам и былины какие старинные расскажет? Ну, там про Илью Муромца, например. Как он тридцать лет и три года на печке сидел...

— Женя, какой вы жестокий... Я и не думала...

— А надо думать. Этим мы и отличаемся от табуретки, которая вещь в себе. А мы, как известно, вещь в народе...

— Ребята, ребята! — Эдуард Петрович поднимает руку. — Вы не на кафедре. И к тому же время!

Но Женя уже у самых полатей, лик его сияет.

— Извините, как вас величают?

— Леха... Жихарев Алексей то есть, — чуть помедлив, отвечает хозяин.

— А скажите, дражайший Алексей, вы какие-нибудь былины, сказки старинные знаете? Ну, может, бабушка в детстве рассказывала или еще кто?

— Зачем бабушка? — удивляется Леха. — В школе проходили: три богатыря и все такое.

— Ага, значит, вы ходили в школу. А как же это? — Женя торжествующе показывает на ноги хозяина.

— Что — это?

— Ноги-то ваши парализованные — как же? Или вы на руках, как циркач?

— А, ноги... Так меня на коляске возили и за парту сажали. А сидеть я могу. — И в доказательство Леха садится, почти доставая головой потолок.

Эдуард Петрович грубо кашляет с порога.

— Или мы идем сейчас, или — никогда. Евгений! Екатерина Васильевна!

В голосе его гудит нечто такое, отчего спутники бородатого покорно идут к порогу. И едва они выходят, как Леха спрыгивает легко на пол и на своих парализованных ногах кузнечиком скачет к окошку. На подоконнике горшок со столетником в пол-окна — не столетник, а баобаб какой-то! — но и сквозь баобаба видна калитка, мосток через канаву придорожную, а по нему тяжелыми ногами ступает родная жена наблюдателя по имени Дарья: в одной руке сумка, в другой авоська.

Трое у калитки здороваются. Дарья со вздохом ставит сумки у ног.

— Здравс-сте! А вы кто такие будете?

Она смотрит в лицо Эдуарду Петровичу, и он невольно подтягивается.

— Понимаете, мы к вам воды заходили попить. А так мы — ученые, экспедиция фольклорная.

— Дороги, что ли, мерите? У нас уже мерили прошлый год, когда газ думали вести.

— Да нет, мы не по газу. Мы сказания старинные записываем, обряды всякие, заговоры...

— Небось муж вас и заговорил! — усмехается Дарья.

— Вам, наверно, тяжело с ним? — встречает девушку Екатерина Васильевна. — А может, стоит его еще раз в Москву свозить, показать хорошим врачам?

Дарья щурит глаза, как от солнца.

— Да врачи-то здесь при чем?

— Как при чем? — пугается Екатерина Васильевна Дарьиного взгляда. — Чтобы ноги вылечить...

— Язык ему надо вылечить, а не ноги!

Непонятно, то ли рассержена Дарья, то ли довольна молодцом мужем, который запросто может обвести вокруг пальца городских умников. Но Женю не проводишь! Он восторженно щелкает языком:

— А?! Я сразу понял: дело пахнет табаком. Помните, он оговорился насчет школы? И потом, я еще ботинки заметил. Грязные ботинки! Значит, он по земле ходил. А еще гуманизму учить нас вздумал, на жалость бил, слезу вышибал.

Села Дарья на скамью у калитки и гостям предложила, к долгому разговору приготовившись.

— Вот вы люди ученые, скажите, что мне с ним делать? Я за него и замуж-то против воли пошла. Была б рябая какая, не так обидно, а то ведь за меня из трех деревень сватов присылали и так, нахрапом, пытались. А я вот за Алексея своего пошла. Подсидел он меня, вот что. Так сначала он был мужик как мужик, ничего не скажу. В леспромхозе работал, да на карьерах, и по дому все делал. А потом что-то на него нашло. Я сперва и внимания не обращала. Ну, остановится среди комнаты и глаза вроде как внутрь себя повернет. И молчит. Спросишь чего — опять молчит. Сколько-то постоит и дальше пошел. И не больной вроде, ничего на нем не болит. Я и то думала: не пьет, и ладно. А может, лучше пил бы...

— Ну, зачем же так... — тянет Эдуард Петрович, глазами незаметно стреляя на часы. Господи, уже на четвертый пошло!

— Да уж лучше бы пил, как другие, — упрямо повторяет Дарья. — Все равно, что с него толку. Он раз в год на шабашку уедет, элеваторы они строят, тыщу привезет — и все. Месяц работает, год спит. А что мне его тыща? Тыфу! Я ее и не вижу. Пятьсот — за долги, матери сто пятьдесят пошлет да сестре сто, остальное туда-сюда, по друзьям да по рукам, вот и нет ни копейки. А я круглый год горблюсь, его кормлю. Надо мной уж люди смеются: несла кобыла жеребца да и сдохла! А ведь поначалу какой был! На Север поехал, год с ружьем ходил, много денег взял, мы тогда обстановку купили, и мне мехов привез, девки от зависти лопнули. А теперь-то что делать, присоветуйте...

Эдуард Петрович боком к разговору смотрит на синеву небесную. Все, все ему ведомо — до последнего слова, до последнего вздоха. Леса и горы, веси и доли текут сквозь него, не протекая. И поселок лежит перед ним, как стеклянный. Видит он, как запирает сейф председатель сельсовета Самуил Евсеевич Лопатин, в третий раз облеченный доверием народа, как вносит компост под клубничные кусты на даче полковника Юргина беспронисная женщина староматеринского возраста, как пионер Коля Новохатко, сбежавший с контрольной по физике, в лопухах за школьной котельной читает «Всадника без головы», как проснувшийся к полудню Василий Скворцов, судимый за кражу комбикорма, три года условно, шарит в вещах отца, как...

Эдуард Петрович поворачивается к Дарье.

— Я дам вам три совета, запомните их. Во-первых, купите или сшейте красное платье из бархата или атласа, ну, в общем, чтобы горело на вас. Во-вторых, займите мужа какой-нибудь работой по дому — ска-

жем, крышу перекрыть или погреб вырыть. А в-третьих... Впрочем, хватит и двух.

Дарья советам как будто и не удивилась, но разумно сказала:

— Да крыша-то у нас хорошая, третий год, как шифер лóжили. И погреб есть.

— Не важно. Пусть роет второй. Придумайте, что старый пришел в негодность, что вы боитесь в него лезть...

Дарья сразу ничего не сказала Лехе, спросила только, будет ли есть. Картошку почистила, на огонь поставила, белье замочила, луку на огороде сорвала. Леха первым не выдержал:

— Что тебе эти-то?

— Какие эти?

А сама лицом уклонилась, фитиль у керосинки убавляя.

— Да эти, охламоны, что приходили.

— А... эти.— Дарья нарочно зевнула.— Ничего. Умные люди. По всему видно — большие деньги получают. Кто деньги получает, он как лебедь против утки.

— А кто ж это утка, по-твоему? Я, что ли?

— А что бы и не ты?

Да все равно Лехе! Все равно! Промолчал он. Но пружина заведена до предела, вот и лопнула.

— Ах-ты-негодий-негодий! Сколько-ж-ты-мою-кровь-пить-будешь! Все-люди-как-люди-а-ты! Я-горблюсь-до-ночи-как-собака-ишачу-а-ты-разлежся-баринном! Бык-ты-комольи-кабан-мохнорылый-вот-кто-ты! Да-кабан-и-тот-лучшее-тебя-хоть-желудь-роет-запас-копит-а-ты-только-жир-на-себе-копишь!

Лишнее, лишнее говорит Дарья — нет никакого жира на Лехе, хоть и лежит день-деньской. Но уж что заело, то и запело. Все струны загудели, будто гитару о крыльцо шарахнули.

А вот и зима. Мальчишка курносый, пальтишко веревкой обвязано, идет-бредет, переваливается по-утиному. Снег, снег в глаза! А бабушка не то сердится, не то смеется: рукою машет издалека. Поскользнулся — упустил санки под гору. «А у нас говняшки были», — говорит бабушка, промокая ему слезы варежкой. — Решето коровяком обмазывали да водой поливали. Вот и катались».

Открывает Леха глаза, а у Дарьи лицо белое.

— Ты чего? — тычется она в мужа.

Понимает Леха: опять с ним *было*. Погладил жену неловко, ушла ее печаль в половицы.

— Эх, Леша, Леша... Хоть бы чего сделать нам!

— Я бы сделал — да что? Все ведь сделано, Даш!

— Нам бы, Леш, погреб вырыть...

— Зачем? У нас же есть.

— Старый он, земля слоится. Да и неудобен больно. Сам знаешь. Доски там — гнилье одно. Не дай Бог чего случится.

— Накаркаешь! Можно укрепить его, и все.

— Нет уж, давай рыть новый. Христом-Богом тебя прошу.

Холодно стало у Лехи под сердцем. Неладно что-то, а что — не понять.

С отчаяния крикнул он:

— Да сделаю, сделаю! — И по дому стал ходить, тишину мерить, шагами думать.

День прошел, и ночь прошла, а ничего не случилось. Разве что на колодце свеженалепленная бумажка забелела:

Товарищи!

15 июня проводится общественная заготовка сена. Сбор у сельсовета в 5 час. утра со своими косами и другим инвентарем.

Утро! Солнце! восходит! Роса! блестит! Молодайки! в! беленьких! платочках! Статные! парни! с! русыми! чубами! Ну, чем не картинка из «Родной речи»!

Туфта все это, конечно. Но общественный труд — дело благое, проверенное: кругом люди, и ты внутри людей, хотя по-настоящему все наоборот — люди в тебе уместились.

У сельсовета сознательный народ курил в чистое раннее небо. Народу было пять человек. Слева от сельсоветского крыльца на корточках сидел рыжий Коля-Доля. Сзади над его головой серел щиток с объявлениями. Одна бумажка висела так давно, что успела почернеть.

ОБЕЗВРЕДИТЬ ПРЕСТУПНИКА

Органами внутренних дел разыскивается опасный преступник **ОГАНЕЗОВ Сергей Акопович**, 1938 года рождения, уроженец гор. Тбилиси. Его приметы: рост 163—165 см, плотного телосложения, лицо смуглое, овальное, уши большие, оттопыренные, ходит вразвалку, сутулясь.

Просим всех, кто видел преступника, сообщить об этом в органы внутренних дел.

Справа от входа стоял председатель, вертя острым беличьим лицом.

— Несознательность пошла, — приговаривал он полусожалеюще, полупрезрительно. — Проживает в поселке шесть тысяч, отбросим детей и что получим? Получим, что на тысячу человек меньше одного сознательного приходится.

— Не хнычь, председатель! — крикнул Коля-Доля. — Я тебе один всю сену скошу! Лучше скажи, когда шифер на склад завезут? А то у меня уж крыша потекла.

— Ты, Николай, работник хороший, но шутки и панибрательства твои тут неуместны. — От обиды Самуил Евсеевич вытянул губы, будто хотел выплюнуть косточку. — Ты слово сказал — как пукнул. А то, что авторитет руководителя страдает, ты это не думаешь. А что такое руководитель без авторитета? Руководитель без авторитета, если хочешь знать, — это Хрущев без Сталина!

— Как это? — заинтересовался Леха.

Обрадованный вниманием — председатель пояснил:

— А так: у нас всегда царь либо добрый, либо злой. А надо, чтобы было сразу два царя — один добрый, другой злой. Одного будут любить, другого, бояться, вот и пойдет дело.

— А если нет двух царей?

— Тогда один должен быть сразу и злым, и добрым, ну, как я, например. Я, конечно, так, к слову говорю, — спохватился Самуил Евсеевич, — не в смысле власти, а вообще. А так власть у нас народная.

— А шифера нет, — зловредно вставил Коля-Доля.

— Да что ты все со своим шифером! Ты ОРС тряс.

Со стороны Школьной улицы заурчал «пазик».

Подошли еще люди. Леха здоровался с мужиками за руку, напрягая ладонь не до предела, но со значением; женщинам кивал без улыбки. В какую-то минуту углядел Леха рядом с сельсоветской секретаршей Валеи красное пятно. Леха никогда не разглядывал людей подробно, особенно незнакомых; он видел словно сгусток тумана, из которого выплывали отдельные пятна. Здесь выплыли алое и белое — свитерок и волосы, светлые до седины, как отцветший одуванчик. Леха чуть не присвистнул. Почти девчонка — и такие волосы... На минуту Леха даже устыдился смотреть на нее. Сквозь общий говор прорезался голос секретарши Валеи, объяснявшей старику Митюшкину:

— Племянница моя, Сергея дочь. Мать у нее умерла, а ее Тонька вырастила, вторая жена брата. А девка — вся в мать-покойницу, егоза на масле! Вишь, не спится — со мной поперлась. А по мне провались все это... И так дел хватает. Чуть что: Валя да Валя! Валя в исполком, Валя в агропром, субботник — Валя, повестки разносить — опять Валя...

Старик напрягает переносицу, шумно дышит железным носом.

— Стой, не части, — просит он. — Как племянницу кличут?

— Танька ее зовут.

— Ну что, Валентина, отдашь Таньку за внука моего?

Лицо Вали темнеет, как пруд перед грозой. Старый козел! Мало, что ли, девок этот Сашка перепортил! Пьет да без дела шатается, того гляди в ларек или магазин залезет. Она открывает рот, но племянница опережает ее:

— Дедуль, а может, вы меня в жены возьмете?

И — смеется, глаза у висков щурит. Хороша девка! Старик Митюшкин доволен.

— И то дело. Вот с покоса вернемся — и по коням. А ты, Валентина, не тужи, девка за мной как за каменной стеной будет, еще внукам нашим сопلي утрешь.

Народ гогочет.

Что же ты, Леха, делаешь, в-Бога-душу-мать? Куда, рожа каторжная, зенки пialiшь? Шорты на ней, конечно, невыносимые для честного глядения. А дальше — и вниз, и вверх — еще страшнее. Нога — как шов снеговой на зеленой коже оврага. Лежит вдоль. Другая к груди поджата и руками охвачена, словно дите. А вместе они — охота пуще неволи. Стоят выжлятники да борзятники у норы лисей, а в глазах еще труба пылает. И борзая половопегая, только что на щипце висевшая, языком влажным, красномясым землю метет. Не спасся ты, лис, в перелоях, ржавцах да чапыжниках, подыхай как можешь. Ха! Какой там лис! Не лис ты, а переярок волчий...

А ведь она давно здесь. И не надоело ей? Могла бы уйти. Ему уже на копейку работы осталось, а она все сидит, смотрит. И он, жало косы поправляя, рассеянно, не спеша, как бы нехотя, как бы сквозь солнце тоже глянул на нее. Выкосил донце, к ней подыматься стал.

— Хорошо вы работаете, — вздохнула она наконец.

— Как умеем, — сказал сдержанно, мимо нее.

— А я первый раз в деревне!

— Не деревня у нас — поселок.

— Да какая разница. Меня Таня зовут, а вас?

— Алексей.

— Алексей... Алеша... Леша... — Она подбрасывала его имя, как теннисный мячик. Какой он смешной! Стоит, надувшись, и дышит в себя. Уж не боится ли он ее? — Алеша, давайте на «ты», хорошо?

— Слушай-те! — проговорил он, выкатывая каждый слог в презрительной отдельности. — Вам сколько лет?

— Неэтичный вопрос. Но я отвечу — семнадцать. А что?

— А то, что мне — тридцать три. Я вам или тебе — уж как там хочешь — в отцы гожусь.

— О! Вы, значит, в пятнадцать лет женились?

— Почему в пятнадцать? — растерялся он.

— Тогда в шестнадцать, — уточнила она, — по необходимости. Из-за ребенка, значит.

— Какого ребенка? Что ты мелешь? — Леха потелся.

— Ну, как же, — терпеливо пояснила она, — если вы мне в отцы годитесь, выходит, ваша дочь роди-

лась... тридцать три минус семнадцать... когда вам было шестнадцать лет. А это значит, что женились вы еще раньше, в пятнадцать, если только не оформили брак задним числом, когда уже ребеночек был.

Леха бросил косу, зайцем перекинулся на край оврага и присел рядом с ней.

— Все хиханьки да хаханьки, — укорил он с придыханием нежности, сорвал травинку, сунул в рот, чтобы ощутить сладкую кислоту жизни. — А того ты, девочка Таня, не знаешь, что женат я семь лет и детей не имею. Ясно?

Она не отодвинулась, только обе ноги вытянула, откинулась назад — дразнит? — так что тело выгнулось колесом.

— А почему детей нет — жена бесплодная или вы импотент?

Дура? Притворяется? Но обижать нельзя: может, она серьезно. Есть ведь такие люди, которые все наоборот думают.

— Всякое в жизни бывает, не для чужих ушей живем, так что про это не будем, — примирительно ответил Леха.

— Все ясно: импотент.

— Да не импотент я вовсе! — поспешил откликнуться, как собака на хозяйский зов.

Она привстала на локтях, нагло тряхнула волосами.

— А чем докажете?

Все. Шлея под хвост, терпенье кончилось.

— Приходи, — сказал Леха в ее зеленые от травы глаза, — вечером к школе. В десять часов. Увидим, кто из нас импотент. Брехать все умеют, а как до дела...

Вернулся домой в обед. Выпил две кружки чаю и прилег. А как прилег, так и унесло его волной за тридцать земель в черепаший царство. Сначала все черепашки маленькие были, шел Леха, как по лужам, ноги высоко поднимая, чтобы не наступить ненароком. Потом все труднее было сыскать пустое место. Не то что черепах больше стало, а вроде как покрупнели они, уже и с арбуз величиной попадались. Вот уже такие большие пошли, что пришлось Лехе через них прыгать, чтобы на пяточок земли попасть. Потом и пятки исчезли, а останавливаться-то никак нельзя! Ну, нельзя, и все. Еще немного, и пришлось ему ступить на спину черепахи. Сначала так, вскользь, чтобы на мгновение опереться в дрящемся прыжке, потом еще и еще, а уж затем оказалось, что и земли под ним нет — одни черепаши спины. И страшно так: все разом ползут, словно море из булыжников под ногами. И не остановиться — потеряешь равновесие, упадешь... Куда? Бог весть! А уж время идет, часы как сумасшедшие свертчат на небесах, мышцы паучьей судорогой стягиваются. Вот и сердце окостенело — бьет в ребра, как кулак; черный пот по лицу пошел...

Все. Разверзлось булыжное море, словно трещина по льду прошла. Глянул Леха вниз, но испугаться не успел — ангелы, с бумажным шорохом шелестя крыльями, подхватили под руки, подняли и понесли. Они так сильно вцепились в него, что от хватки их пальцев у Лехи заболели локти. Затем боль зазмеилась по предплечью, плечам, шее и, наконец, попав в голову, свернулась в клубок. С этой клубчатой болью Леха и открыл глаза.

Слез с нар, языком унежил пересохший рот. Пыльный воздух комнаты клочьями висел на прострельных лучах солнца. Дом был пуст.

Ступая с ленивым заносом тела из стороны в сторону, прошел Леха к сараю. Шел важно, не пригибаясь, в лад вечернему воздуху, уже остывающему, но плотному. Волосами с удовольствием задевал листья-ветки яблонь. В сарае отыскал любимую свою штыковую

лопату, взял обмылок кирпича, почистил и наточил лезвие. Все — не спеша, с размеренным приглядом и мыслительными паузами, как и полагается перед большим делом. Новый погреб решил рыть не на огороде, возле старого, а в сарае. И к дому ближе, и навеса не надо ставить.

В сарае было два отделения: одно с деревянным полом, верстаком и прочим инвентарем, ожидавшим ручного востребования; а другое — с полом земляным, усыпанным торфяной крошкой. В этом втором отделении пустовал угол. Здесь Леха и разметил яму. Один, два, три... Почти от стены. Одной рукой лопату за запястье, другой за плечо. Поехали!

Ногой пока не нажимал. Шла торфяная крошка, перемешанная с опилками, щепками, какой-то всеобщей дрянью, которой напичкана земля русская... Но вот площадка расчистилась, и штык лопаты вошел в хрящеватую плоть слежавшегося слоя. Теперь только и пойдет настоящий коп.

Воздух густел от жара труда. В рыжевато-желтых комьях земли вдруг сверкали молочной желтизной осколки известняка. Попадались и крупные камни. Леха их не корчевал, жалея лопату, а аккуратно обкапывал и вынимал руками. Мало-помалу рос горб вынуденной земли.

Да! Вспомнил Леха, что велел этой пигалице в десять приходиться к школе. Сказал, чтобы срезать ее, утвердить свое над ней возвышение. А вдруг она приняла всерьез — ну да, всерьез, теперь он уже был точно в этом уверен. Значит, надо идти? Почему же идти? Постоит, постоит да и уйдет... Вот идиотство! На минуту он застыл, как маятник, в самой нижней точке своего сомнения, но земля качнулась, все пришло в движение, и Леха понял, что пойдет.

Оставив лопату в яме, вернулся в дом.

Дарьи еще не было. Странно — где-то вдалеке от главной мысли (время!) подумал он. Будильник стоял. Дурацкий дом — на все про все один будильник, и тот с придурью. Как можно так жить? Да можно, можно, не суетись, видишь, снег идет, святая нежность, да так медленно, будто не весит ничего, весь угол в белой пелене, и сервант, и картинка из «Огонька» — молодая чилийка с печальными глазами, а позади синие горы, — и иконки бабушкины, простенькие, бумажные. Все в снегу — и можно остудить гудящие руки... Руки, кстати, надо вымыть...

Кочетом выскочил во двор. У крыльца к столбу был приделан рукомойник и полочка для мыла. Взял мыло, подел штот рукомойника и тут заметил на руках странную красноту. Будто кровь полусохшая, полурасмазанная. Неужели порезался? Или вляпался в краску?..

А, да черт с ним! Все смылось в секунду. Забыть и дальше, на улицу.

Двухэтажная школа по макушку заросла яблоневым садом. Можно дернуть по аллейке, посыпанной мелким гравием, а можно тропинками зайти с тыла. Леха на рысях проскочил аллейку и радостно обиделся: не пришла. Сыро светилась в сумерках штукатурка, ледяными квадратами зияли окна. Далеко за школой, за оврагом, захрипел мотоцикл, вильнул раскатистым эхом по улицам. Леха присел на бетонные ступени, но тут же выдернул тело вверх: из-за кустов шиповника проявилась пигалица.

— Классный сад! — засмеялась она, приближаясь. — Можно человека убить, никто и не услышит.

Леха улыбнулся губами помимо ума, но тут же нахмурился.

— Чушь. Зачем убивать человека, тем более в саду? У нас с этим тихо. Ну, там на свадьбе еще могут по пьянке пришить, а так — нет, не бывает.

А вообще-то я случайно пришел, не хотел приходить. Думал, ты испугаешься.

Она подошла так близко, что стал слышен городской запах ее волос.

— Плохо вы меня знаете! К тому же вы кое-что обещали.

— Что? — не понял Леха.

— Ну, как же, — улыбка лягушкой скакнула по ее лицу, — доказать, что вы не импотент.

Подначивает. Но в шутку или всерьез, поди пойми. Если всерьез, то она — последняя б...., таких и в Машино нет, разве что Алка Ежова. Шутит, конечно. Что ж, и мы пошутим.

— Ну, и как я должен это доказывать?

— Вам виднее.

Да она просто издевается! Но красивая — обалденно!.. Не гляди, не гляди — затянет навсегда. Снегири в волосах, а на губах роза. Вот и мелкое золото посыпалось с неба, и мать кладет его голову на колени: спи, сынок, ехать еще далеко...

— Раздевайся! — грубо сказал, но надо было еще грубее.

— Что-о?

— Раздевайся, говорю. Буду доказывать свою... дееспособность, — ввернул Леха городское словечко.

— А если я не захочу?..

— Я тебя раздену.

— Но я буду кричать!

— Так ты сама сказала: здесь никто не услышит.

— Блеск!

Она шагнула вперед, резко обняла Леху за шею и впилась в его губы. От неожиданности этого он едва не упал. Пришлось вытянуть руки и тоже обнять ее.

— Уйди от меня, — сказал он наконец бесполезным голосом этому одуванчику с маленьким сильным телом. Она все еще обнимала его, по-жеребьи закинув голову ему на плечо.

— Ты совсем другой, — прошелестела она в Лехину спину. — У всех лица низкие, у тебя одного такое высокое лицо.

Колеса стучали с точным перепадом, как молотки на кузнице, а он никак не мог решить, на какой остановке сойти. Шубинку проскочили, оставались Выселки. Бодая стекло горячим лбом, он втягивал в глаза плывущую тьму с дрожащими кристалликами далеких огней, случайными свечками фар. Проводница спала, коридор вагона был пуст. У бака с водой позвякивал стакан. С ходу проскочили жидко освещенный переезд с матросской рукой шлагбаума; выступили и обратно во тьму ужались деревянные вокзальчик с кирпичным флюсом пристройки, кусты, скамейки... Еще мгновение, и последние остатки света поглотит безумная, непроглядная, черноземная темнота. Канет душа, как в пересохший колодец, — и кто услышит, что раскручивается со свистом треск и обрывается ведро в провал, безводную пустоту... Он рванулся в тамбур и, ломая ногти, дернул стоп-кран.

— Уйди, дура, ясно ведь сказал. Или ты такая сука, что к любому кобелю готова лезть? (Так, так ее!)

— А я думала...

...Не такой, как все. Ах ты, Господи, печки-лавочки. Беги, Леха, беги, а то обратно запросишься... Нет, и проситься поздно: она сама бежит от тебя, и издали, на бегу:

— Косогубый! Все вы тут... с приветом!

В доме горели все окна, даже на терраске. С крыльца слышал Леха музыку — заезженную битловскую «Герл».

Шагнул в комнату — и изумился.

Яичным белком отсвечивала черная пластинка на «Ригонде». Под стеклянными побрякушками люстры



«Каскад» кружилась по комнате красная роза. То сворачивалась в кокон. То распускалась мгновенно. Тяжелый пурпур влажными волнами шел от нее, ударялся в стены, откатывался назад и отраженным, обессиленным светом смешивался с новыми потоками пурпура.

Леха подхватил Дарью на руки, отнес на диван.

— Ты меня еще любишь? — спросила она.

Он был ошеломлен; топтался рядом, путаясь в складках бархата, боясь наступить на него. Присел на край дивана, скосил глаза на ткань: откуда?

— У Маргариты выпросила — на платье. Представляешь, какая я буду?

— Да я тебя и так люблю.

— Не-ет, любовь, как костер: дров не подкинешь — гореть не будет.

— Детские штучки. А я, Дашунь, погреб начал.

— Правда?!

Она взвилась, опять закружилась по комнате, но уже не розой, а бабочкой — в белой ночной рубашке. Леха глянул на нее, как на чужую. Нет, совсем не постарела, разве чуть пополнила, но от нежной этой полноты шел душный трепет... Он потянул Дарью на себя, она неловко усмехнулась:

— Значит, любишь еще...

С порога сарая он увидел, как маслянисто отсвечивает яма. Вода! Натянуло за ночь, выходит. Странно: вроде грунтовые воды здесь ниже... Леха облизнул губы. Надо попросить у Коли-Доли насос. Коля — жмот, но Лехе даст — по старой дружбе.

Пока приволок на тележке насос, солнце встало прямо. Зверев от тяжести, Леха приладил его у двери сарая на кирпичях и досках, притащил переноску и шланги. Выходной шланг протянул до выгребной ямы туалета, впускной поволол в земляную темноту сарая.

Леха опустил конец шланга в черный рот ямы. Взвыв, насос загудел ровным голосом, и через несколько секунд послышалось смачное хлюпанье — пошла жидкость. Стоя на пороге, Леха с удовольствием смотрел, как унижается бликующая пленка, рябая от всасывания... Вот уже и не видно ее... Насос засвистел воздухом. Блеск. Леха вырубил мотор, стал отворачивать шланги. Отвернул и присвистнул.

Греб твою четыре пальца! Из патрубка вытекли остатки воды. Воды густого красного цвета! Вылившаяся лужица не впитывалась в землю, а стояла тяжело и плотно, как ртуть.

Из машинного любопытства Леха лизнул испачканный в красной воде палец... Кровь, мелькнуло в голове. Огромный косматый бык промчался по саду, ломая кусты, взметая из-под копыт ошметки земли. Глыба мяса, обросшая шерстью, насквозь пронзила сад и с чудовищным треском ударилась о стену сарая.

Леха обошел сарай, сдвигая взгляд и нюх. Запахи были привычные — яблонь и малинника, перегноя, слежавшихся в штабеле досок... Ничего подозрительного. Все предметы честно находились на своих местах. Леха зашел в сарай и, глянув на яму, удивился: дно опять затянуло! Когда глаза привыкли к полутьме, Леха заметил, что на боках ямы набухают темные, с матовым блеском капли — словно кровь от порезов.

Леха присел на культю бревна. Решить надо было две вещи: что это за жидкость и чего с ней делать. Насчет первого... ну, это можно сходить к Сергею Петровичу, учителю химии, он всякими опытами увлекается, в школе целую лабораторию оборудовал. Со вторым же вопросом без первого не разобраться, значит, пока его в заглазничник...

Еще раз откачав жидкость, Леха яростной лопатой налег на землю.

Ярость приспевала вспышками, прерываясь необходимостью выносить в ведрах вынутую землю. Было жарко до бессмыслицы. Когда брови перестали удерживать пот, Леха остановился. Теперь яма была ему по огузок. Жидкость просачивалась слишком быстро, и под ногами хлюпала жижа, доходя до щиколотки резиновых сапог. Пригнувшись, Леха смотрел, как сочится из земляных пор красная жидкость, солнце бьет в глаза, он отбрасывает одеяло, вскакивает с пружинистой кровати. По всему дому запах сырников, и слышно, как бабушка слабым голосом напевает, хлопоча у печки: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущем во гробех живот даровав...» Так чудно, так весело все в это утро. Сейчас чай, а потом на кладбище. С вечера приготовлены яички, покрашены, а одно — с секретом, тяжелее и крепче других, им Леха будет биться с другими мальчишками... Кулич, яркие бумажные веночки, карамель, по дороге на кладбище и оттуда уже идут люди, и солнце, и дорога подсохла, даром что два дня шли дожди, и впереди весь день и вся жизнь, потому что смерти нет. А кладбище? Нет, и там смерти нет. А мертвые? Они не мертвые, говорит бабушка. Ведь мы приходим к ним, кладем в изголовье веночки,

крошим на могилки яйца и конфеты, говорим с ними. Так разве они мертвые? Мертвые? Ну, тогда и мы мертвые, нет, хуже, чем мертвые, ни имени нет у нас, ни света светлого...

Сходил Леха в дом, взял баночку из-под югославского джема. Зачерпнул по горлышко красной жидкости, завинтил крышку, обтер банку тряпкой и сунул в полиэтиленовый пакет.

Пяти метров не прошел от калитки — замаячило в глазах серое и голубое. Участковый! Он шел прямо на Леху, натянутый как струна, в руках желтая папка из кожи. Неужели насчет ямы, заглодел от догадки Леха. Ну да, вот и глядит он не на Леху; взгляд его хищной птицы вьется над домом и садом, нацелившись на сарай с подозрительной ямой.

— Здрас-сте, Филипп Киреич,— первым заговорил Леха и удивился, почувствовав внезапное спокойствие в теле.

— Здравствуй, Жихарев.— Участковый остановился в двух шагах.— Я, Жихарев, всех обхожу — предупреждаю. В нашем районе видели опасного преступника, рецидивиста. Зовут Оганезов, Сергей Акопович. Сейчас фото покажу...

— Так я же помню! — взвился Леха с облегчением.— Он у сельсовета висит на стенде. Что ж его до сих пор не поймали?

Участковый подумал и не очень уверенно выдал:

— Поймали. Это он второй раз бежал.

— А-а... — Леха осмелел.— Ну, с нашей милицией не пропадешь. Один вы чего стоите. Я вот удивляюсь, почему про ваши героические будни в газетах еще не пишут.

— Напишут,— с неясным отношением повел головой участковый.— А вот ты когда за ум возьмешься?

Леха сник, створки раковины захлопнулись перед самым носом ловца жемчуга.

— Устроюсь я скоро. Может, на склад пойду,— выдавил с трудом.— Только что там делать... творчеством человеку.

— Ты это брось,— дробью по жести жажнул участковый.— Знаем мы это творчество. Вся эта художественная самодеятельность, знаешь, где кончается? В лагере, вот именно.

— Да что вы меня в преступники записываете? — Леха сделал гордо-возмущенное лицо, как на картине «Ленин в Казанском университете».

— А кто ты есть? — Участковый пренебрежительно отмахнулся.— Ты и есть преступник. Тебя государство поит-кормит, а ты, как баран, жируешь — и все. Тунеядство называется.

— Меня не государство кормит, а жена. Да я и сам подрабатываю. Я вон на северах сколько откалымил! А, ладно! — Леха примолк, сглатывая сухим языком нищую слюну.— А если бы даже и государство меня кормило, никакого вреда бы не было, а только польза. Вот вы, Филипп Киреич, думаете?

— Чего?

— Ну, размышляете в свободное время, откуда что берется, как человек живет и так далее?

— Какой человек, ты кого имеешь в виду?

— Да никого, это так, образ, что ли.

— Мне твои образы без нужды. Мне человек нужен, а не образ. Вот приходит оперативка, а в ней сказано: задержать такого-то. Или, скажем, совершенно преступление, а преступник неизвестен. Значит, надо установить личность преступника.

— А если наоборот: преступник есть, а преступления нет?

Участковый шагнул вперед.

— Постой, постой... Какой преступник? Ты о ком?

— Да ни о ком! — Леха понял, что перешел опасную границу разума собеседника.— Я это вообще.

Понимаете, все можно предсказать. Взять и заранее описать всевозможные преступления и кто бы мог их совершить. Ну, это как задачник, когда сзади все ответы даны.

Участковый так и не расслабился лицом, и Леха заторопился объяснить главную мысль:

— Я хочу сказать, что кто-то должен просто думать. Вот я, например, могу три года ничего не делать, только лежать да палец сосать. Но, может, мне за это время такая мысль в голову придет, что всей стране польза на тысячу лет будет. Так есть смысл меня кормить или нет?

— А где гарантия? Гарантия где? — Филипп Киреич в волнении изобразил пальцем что-то вроде полета шмеля.— Хлеб съешь, а ничего не придумаешь — что тогда?

— Так ведь и у вас нет гарантии, что вы всех преступников поймаете. Пусть я пользы особой не принесу, но и вреда от меня не будет. Зато надежда есть, что я гениальное что-то изобрету для государственного счастья. Надежда-то дорожке харчей стоит, Филипп Киреич! А насчет хлеба... — Леха деланно покривился.— Вон у нас во всяких райпо да райфо по сорок человек сидит, не сеют, не пахнут, бумажкой машут.

— А это не твоего ума дело. Раз государство положило по сорок человек сидеть, значит, надо, значит, колея такая. Вот у меня колея — порядок охранять, а у тебя колея — ручным трудом жить. Ты мужик здоровый, а ваньку валяешь, живешь, как бич. Нехорошо, Жихарев. Подумай!

Провалом потянуло на Леху, сырым земляным духом. Что тут скажешь! Участковый — власть, а всякая власть себе всласть.

На егозливый звонок дверь открыл Сергей Петрович. Постарел, оплыл, и щеки как стеариновые. У Лехи сердце повернулось на месте, словно куриное яйцо. Долго они молчали, колеблясь, как водоросли, навстречу друг другу. Наконец учитель признал Леху, и мягкое его лицо поломалось.

— Жихарев! Какими судьбами? Вот не ожидал... — Сергей Петрович засуетился, схватил Лехину руку, дернул на себя, отпустил, еще раз схватил, потащил вперед, в свою комнату.— У меня тут бардак, не обращай внимания,— забормотал он, попутно голосу распахивая по углам какие-то бумаги, книги, кофты.— Молодец, что зашел... хороший у вас был класс... сейчас ребята паршивые стали, совсем другой колленкор...

— Да я в общем-то по делу.

— По делу? — Учитель обмяк. Как-то сиротливо, боком присел на стул, рукою показал на другую.

Леха сел, не покидая глазами учителя. Утвердившись на стуле, достал из пакета баночку с жидкостью.

— Что это? — Учитель подался вперед, взял баночку, посмотрел на просвет, понюхал.— Никак химией на старости лет заинтересовался?

— Купил бочку с солиеркой, а вместо солирки вон чего подсунули,— соврал Леха, упреждая нежелательные вопросы.— Может, куда пригодится? — И добавил для убедительности: — Жалко все-таки денег.

— Жалко,— согласился Сергей Петрович,— но я тебе сразу не скажу, что это.

— А не может это быть какая-нибудь марганцовка?

— Исключено.— Голос Сергея Петровича обрел школьное напряжение.— Перманганат калия — это совсем другое дело. И окраска другая, и запах... Да и вообще, судя по всему, у тебя в банке органика... Вот что. Я завтра с утра дежурю, у меня будет свободный часик, посмотрю я твою жидкость. Сде-

лаю пробы. А ты зайди ко мне после обеда, хорошо? Рассказал бы хоть, как живешь, где работаешь...

— Да не работаю я, Сергей Петрович. Так, на шабашку иногда езжу... Скучно мне все это. Куда ни придишь: давай, давай, Жихарев, жми, дави, вира, майна... А что, зачем, почему — никого не колышет. Тут мне один знакомый егерь письмо прислал, зовет поохотиться. Я раньше с ним любил очень ходить, у него потрясные собаки, ни у кого в Союзе таких нет. А теперь и охота не в радость. — Неприметно для себя Леха встал со стула и перевел свое тело к окну. — У всех одно на уме: работа — деньги, деньги — работа. Вы уж простите, Сергей Петрович, вы знаете, как я вас уважаю, но ведь и вы меня не о душе, а о работе спросили. А может, у меня такая боль душевная, что я век бы эту работу не видал!

— Ну, извини, — руки учителя разошлись и опали, как ветки под снегом, — не знал, что ты таким обидчивым стал. Душа, говоришь... Душа, конечно, дело важное, но в работе тоже свой резон есть. Когда ничего не делаешь, тут самые гнилые мысли в голову и лезут. А работа спасает. Другое дело, что работа должна нравиться...

— Да не в этом дело! — загорелся Леха. — Зачем вообще работа нужна, если мы не знаем последней цели? Мы ж не для того родились, чтобы пожрать, извиняюсь, поспр..., да и в могилу лечь.

— Ну, как... — помялся Сергей Петрович. — Мы жизнь постепенно улучшаем. Строим светлое будущее, так сказать.

Было видно, что говорит он не по убеждению, а из головы.

— Ладно, построим мы это будущее, пускай не через сто, а через тыщу лет. Все одеты, обуты, и прочая хреновина какая там у них будет. А дальше-то что? Еще более светлое строить?

— Так этого никто не знает. Возьми себе червяка, лягушку или, например, дерево. Они просто растут, и все.

— Но я-то не червяк!

— Ты думаешь, ты лучше червяка? Чем? Только тем, что можешь раздавить его ногой? Но ты ведь и сам для кого-то — червяк. Да и не надо с таким презрением. Червяк, он по-своему гармоничен. А отличие меж вами всего-то вот такое, — учитель указал на кончик ногтя, — тебе дано сомнение, а ему нет.

— Что ж, душа, по-вашему, это сомнение?

— С чего ты взял? Душа есть и у червяка. Только он живет бессомнительно, а ты вон весь — как на пружинах.

— Да я понять хочу, зачем все, а потом уже делать!

Поскакали белки, а за ними куницы, кабаны, олени по прольсям, мшарникам да мочевищикам, а позади свет, зарево, крики. Ночь совится, бархатной волной опадает. Ельник, березняк, опять ельник. А вот и смычок заливаается, оба в паре — верхочуи, чистые, гладкие, не какие-нибудь брудастые цуеки. Эх, житуха! Одно дело — гнать, другое — в чапыжнике затаиться, умереть без звука, будто и не было тебя на земле.

— Да ты слушаешь меня?

— Да... конечно. — Леха спешно повернулся к учителю.

— Вот об этом и речь. Тебе свободы полной хочется, а это самое худшее рабство и есть! Полная свобода — это пойдти туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Соблазн сделать все и потому — ничего.

— Сергей Петрович, а вы Слепцова помните?

— Романа? Ну, как же. Из вашего класса только вы двое меня и навещали после выпуска. Но ведь он...

— Ну да, я об этом и вспомнил. Понимаете, я ведь его видел накануне, перед тем как он повесился.

Я крышу красил, смотрю, он идет. Остановился и говорит: «И как это у тебя голова не кружится?» А я ему, давай, мол, залезай ко мне, вместе красить будем. Шутя, конечно. А он всерьез принял. «Нет, — говорит, — не могу. Высоты боюсь. Вдруг голова закружится — и упаду». А домой пришел и повесился.

— Н-да. — Сергей Петрович поскреб полупустой затылок. — Печально все это, Алексей, печально. Он парень хороший был, с придурью, но хороший. А то, что он с собой сделал... Что ж, он имел на это право. Но, понимаешь, самоубийство — это та самая дурацкая свобода, которая хуже рабства.

— А может, наоборот — освобождение?

— От чего освобождение? От цвета? Запах? Вкуса? От воздуха и хлеба? Как легко ты этим бросаешься! Ведь это зачем-то нам дано...

— Вот именно! А зачем дано, я не знаю.

— Ну, это, брат, не нашего ума дело.

— Ухобдите от ответа, Сергей Петрович, — погрозил пальцем Леха.

— Не ухожу, а просто бессмысленно это. Мы, русские, полжизни тратим на разговоры, а толку-то... И ладно бы что-то новое, а то ведь по триста лет одно и то же мусолим.

— Что ж, это зря, по-вашему?

— Может, и не зря, а только... пойдем выпьем чаю. А с той штукой, — учитель кивнул на баночку, — разберемся. Вещество, оно и есть вещество. Это тебе не свободу искать.

Вернулся Леха домой — Дарья в комнате над столом нависла. Подошел ближе — пишет. Письмо. Вон и конверт пестреет.

— Ты кому это, Даш?

Дарья подняла лицо, глянула со странной усмешкой.

— А что, у меня и друга сердечного не может быть? Одному тебе по малолеткам бегать, что ли?

— По каким малолеткам? Что ты мелешь?

— По каким? А за москвичкой этой задрипанной, Валькиной племянницей, кто бегае — не ты, скажешь?

— Не я, — сказал Леха. Сердце его твердо легло на место. — Тут совсем другое дело. Она молодая,глупая, ко всем тянется. Ей надежный человек нужен.

— Ты, значит, и есть этот человек...

— Да в другом смысле, Даш, пойми ты!

— У вас, мужиков, все смыслы одним кончаются.

— Ты что, ревнуешь?

Дарья встала, ускользнула на кухню, ничего не говоря.

Ну, дела! Леха сам себе покачал головой. Проходя мимо кухни, крикнул:

— Я в сарай!

Дарья посудой заглушила его голос, но останавливаться Леха не стал. В сарае, чуть глянув на яму — полная! — привычно прикрутил шланги, пустил мотор... Небось выгребная яма тоже полна. Все-таки надо сделать отвод в канаву. Взял лопату, пошел размечать, где провести шланг. Когда через несколько минут заглянул в сарай, увидел, что жидкости в яме почти не убавилось. Между тем насос работал в полную силу, гудел надсадно, как улей.

Леха отключил насос и присел перед ямой на корточки. Жидкость быстро поднялась до самого края ямы, и прибавление ее кончилось. Ладно, хоть на этом спасибо. Однако тут не насос — тут помпа нужна, как у строителей. Придется на растворный узел идти с самогоном... Или черт с ним, с погребом, — укрепить старый да жить дальше?.. Леха вытянулся во весь рост, поднял руки, чуть не задев потолок.

ные балки. Что-то хрустнуло в нем, переломилось, сладкой болью пошло по суставам. И с ясностью осеннего заморозка понял вдруг Леха, что ничего прежнего уже не будет; другая жизнь пошла — хорошая ли, плохая, но — другая. И от этого понимания все кругом переменялось. Тело стало крепким и плотным, как дубовый брус, волосы потекли по ветру до края села, на затылке прорезались глаза, крыша сарая поднялась и выгнулась, как линза, собирая в одну сверкающую точку свет тысячи звезд, зазвеноло корыто легко и чисто, как колокол, кистеперые птицы рассекли сад и гигантской петлей закрутились меж землей и небом, из облака посыпались вниз, как резиновые мячики, апельсины, лимоны, мандарины... И все кругом гудело, горело, сияло, сверкало, билось, трепетало, входило друг в друга, как ветер в ветер. В этом бушующем водовороте всплыли на поверхность мелочи жизни, и унесло их прочь потоком, как уносит половодьем щепки, обрывки бумаг и прочий мертвый мусор.

В равновесном парении чувств вернулся Леха в дом. Подумал вдруг, что за делами-хлопотами так и не сказал он жене о странной жидкости. Пора? Пожалуй. Клином клином вышибают. По крайней мере забудет про ревность.

Так и вышло. Дарья, когда принес ей ковш с жидкостью, охала, ужасалась, брезгливо трогала ее пальцем.

— Чего ж теперь делать? — спросила недоуменно.

— Ничего. Я Сергей Петровичу, учителю, отнес в банке. Подождем, что он скажет...

Помпа работала отлично. Правда, трещала, как зверь, но днем, когда народ на работе, это ничего. Пока Леха накапывал несколько ведер, помпа успевала откачать набежавшую жидкость.

Леха вгрызался в чрево земли с яростным наслаждением самоистязания, как если бы он любил самую недоступную женщину, — чтобы доказать ей себя. Известно, сколько времени земля принимала его удары, пока от нее не пошел горячий туман. Он оседал на лице скользкой пленкой, смешиваясь с потом, жег глаза и губы, вползал в легкие и превращался там в студень. Но Леха не мог остановиться. С каждым ударом лопаты, с каждым вывороченным комом, с каждым вытащенным из сарая ведром земли он глубже и глубже уходил в свое нетерпение, увязал в нем, словно в глиняном месиве. Кровь поднялась в нем на дыбы, жилы натянулись, как провода... Очнулся Леха под яблоней, оттого что на крыльце дома рикошетил в закрытую дверь голос Коли-Доли. Он звал Леху, не входя в дом. Медленно встал Леха на четвереньки и поднялся, опираясь на ствол яблони.

— А, вот ты где, — увидел его Коля-Доля, — а я стою, зову тебя. Чего ж ты молчал! Слушай, — тут он воровато оглянулся, хотя были они одни, — тебе чувиха эта, ну, Валькина племянница, просила конверт передать.

Леха машинально взял конверт.

— Да ты спрячь, дурак, — зашипел Коля-Доля, — Дашка увидит — глаза тебе выцарапает.

Мысли, летавшие вокруг да около, наконец слились в рой и в стройном порядке улеглись в улей. Леха сплюнул горячей слюной и выговорил:

— Нет ее... дома.

— А... — Коля-Доля бессмысленно потоптался на месте, не зная своего дальнейшего дела. — А ты что, занят?

— Погреб рою, — сказал Леха, давясь неохотными словами. — А насос твой не пригодился. Слабый он. Счас я тебе отдам.

— Сам ты слабый, — обиделся Коля-Доля за любимое имущество. — Я этим насосом воду из скважи-

ны качаю. А скважина у меня, знаешь, какая? Двадцать метров глубины!

— Н-а! — Леха открыл дверку в деревянной обшивке меж фундаментными столбами и выволок насос. — Держи свой фонтан.

— Чего-то ты сегодня, как вобла, — удивился Коля-Доля неспорному настроению Лехи.

— А ты чего ходишь, балдеешь? С работы, что ли, поперли?

— Не-е... — Колины губы разошлись, как льдины, открывая полынью рта. — У меня отгул сегодня, за ДНД. Ладно, Лех, я пойду... А ты с чувихой этой... того или еще нет? Смотри, Леха, залетишь! Кто их знает, этих москвичек...

— Ладно, Колюнь, идешь и иди, — потерял терпение Леха.

Коля-Доля, дурачась, пропел:

— Привычка фрайера сгубила... — И враз посмурнел. — Эх, Леха, Леха. Меня куркулем люди зовут, но ты ведь тоже куркуль, как и я! Только я наружнее коплю — вещи всякие и прочее, а ты все внутри себя держишь, ни копейкой не поделишься. Душу закрыл, как склад на учет, и — абздец! Хреновый ты друг, Леша. Ладно, пойду я. Ну-ка, придержи.

Вдвоем они уложили насос на тележку, и Леха помог выкатить ее за калитку.

Вернувшись в сарай, вспомнил про письмо. Разорвал конверт. Круглым детским почерком светилось:

Алексей, я была не права. Но и Вы не сердитесь. Я хочу с Вами обо всем договорить. Приходите туда, где мы встречались, в 10 часов вечером. Очень буду ждать. Таня.

От того, что «Вы» было написано с большой буквы, Леха обомлел. Свечение перетекло с бумаги в его глаза и пальцы. Минут пять он не мог ничего делать и думать — стоял и смотрел на свои руки, держащие бумагу. Потом заставил себя спрятать письмо и взять лопату. Но работал вяло, больше пользуясь тяжестью тела, чем силою мускулов. Вынул ведр двадцать и понял, что работать дальше не может. Сон звал его... Зашел в дом и, даже не перекусив, бухнулся на нары. Благодатное марево затуманило стены дома... Высоко-высоко в небе прозвенел жаворонок-будильник. Леха глянул на него и выругался: обманул! Был заведен на шесть, а сейчас уже восемь! Значит, больше поработать не удастся. В десять нужно быть у школы, а перед тем еще успеть к учителю...

— А, это ты... — Сергей Петрович яростно почесал щеку, будто сдирая коросту. — Заходи. — В комнате он достал Лехину банку с жидкостью. — Знаешь что, а ведь это кровь, самая настоящая кровь! Я, конечно, не врач, не биохимик, но тут особенных анализов не надо. Откуда у тебя она?

— Да я ж говорил: купил по дешевке канистру с соляной, оказалось — вон что!

— А у кого купил?

— Приезжий какой-то, из района, на сто тридцатом «зилке». На опохмелку ему надо было. А может, это не человеческая кровь, а коровья там или еще какая?

Сергей Петрович покусал губу, раздумывая.

— Что ж, может быть. У некоторых теплокровных очень близкая к нам физиология. Ближе всего у шимпанзе. Но откуда в наших краях шимпанзе? Чувь какая-то!.. Постой, постой. Если это кровь, как же она за три дня не испортилась? Тогда, выходит, это полимер какой-то... Послушай, Алексей, принеси-ка ты мне всю канистру — посмотрим, что и как.

— Да жена вылила сдуру, я ее не предупредил.

Только эта баночка теперь и осталась...

— Аа-а... — Учитель разочарованно угас.

Теперь можно и уйти, вздохнул Леха. Но сразу неудобно.

— Сергей Петрович, а что, программы сейчас другие в школе?

Учитель как будто обрадовался перемене разговора.

— Программы пока старые, но ведь их сразу не поменяешь. Хорошо нам, естественникам, — фундаментальные законы открывают редко. А вот, скажем, историкам как быть? Учебник, знаешь, сколько пишется? Да пока утвердят, пока выпустят... Возьми того же Сталина: тело давным-давно из Мавзолея вынесли, а душу только сейчас — и то по частям. Признаюсь тебе, Алексей, в одном страшном грехе: не люблю историю. Я ее, гадину, ненавижу. — Учитель вдруг взъярился, сжал пальцы в кулак. — Для меня история — то, что умерло, яма, провал! А копошиться там — все равно что мертвецов выкапывать. Ты можешь возразить: история, мол, нужна, чтобы ошибки не повторять. Какие там ошибки! У нас самого простого нет — точки отсчета. Она у нас блуждающая звезда, нынче здесь, завтра там.

— Может, это и хорошо, — сказал Леха, подымаясь, — нельзя же в одно место, в одну точку смотреть, это только при гипнозе нужно.

— Да при чем здесь гипноз! — фыркнул Сергей Петрович, следом за Лехой перемещаясь в прихожую. — Я говорю о нравственной, о философской точке!

Леха уже обосновался у двери и, держась за ручку, неожиданно для себя выпалил:

— Да кому все это нужно! В магазине год уже ни сахара, ни мыла — вот она, блуждающая точка-то! Пока жратвы, да водки, да вещей всяких не будет навалом, вы людей своей точкой не заманите.

— Нет, дружище Алексей, ты не прав. Вспомни, сколько раз человечество меняло вектор, погнавшись именно за блуждающей точкой, за каким-нибудь Сириусом в вышине!

— Это потому, что людям деваться было некуда. Их в яму спихнули, а там, в яме, поневоле на небб уставишься. А вышли б люди из ямы, никаких Сириусов для счастья не нужно. Да чего там! Люди же верят, что счастливы, пусть и без колбасы. А если кто и несчастен, то он вроде как сам по себе несчастен, без остальных. — Леха открыл дверь и вышел на площадку. — А за анализ спасибо. Извините, что оторвал.

— Чудак человек! Я тебе про Ерему, а ты мне про Фому, — махнул вслед Сергей Петрович, — а впрочем, Бог с тобой. Ищи сам свою точку.

Она ждала его, мерцая глазами в сумеречном облаке сада. Все дрожало в Лехе, сладкая тьма растекалась по телу, уходила в руки, нагревая ладони до пота.

— Привет! — крикнула она первая. — Получил, значит, записку?

— Значит, получил. Что, перешли на «ты»?

— Пора бы. Вон уже сколько кадримся.

Они стояли рядом, отражаясь друг в друге.

— Зачем я тебе нужен? — спросил Леха, стараясь перевести дрожь из грудной клетки через ноги — в землю.

— Так мы же не договорили в тот раз.

— Сама убежала...

— Убежишь тут. Я думала, ты чокнутый. Я только потом поняла, что ты не всерьез. — Она притерлась к Лехе плечом. — А ты меня тогда с толку сбил. Я тебя проверить хотела, а ты испугался, а я тоже испугалась — того, что ты испугался...

Леха слушал, удерживая радость в сжатых ладо-

нях. Боясь раскрыться, заговорил отрывисто, стрижеными фразами:

— Не испугался. Тебя пожалел. Только ты зря. Разве я один?

— Человек? — дрогнула она.

— Ну да. Есть же и другие!

— Нету, Алеша, других, нету. — Она уронила зрачки вниз. — Ты уж поверь, я долго искала. Думаешь, я дура, кайф ловлю? Нет, я совсем другая. И ты другой. Ты человек.

— Да что ты заладила — человек, человек... Бре-пешешь, как лисица. Объясни толком: чего тебе надо?

Она взрезала воздух взглядом, как алмазом. Из небесной сини выпал круг и разбился где-то за школой, в кустах.

— Да как ты не понимаешь! — тихим голосом задрожала она. — Я думала... я хочу... мы должны быть мужем и женой.

Голубиное ее сердце дышало рядом, как на ладони. С печалью сожаления Леха медленно, как для глухой, проговорил:

— Ты же знаешь, я женат. А ты себе еще найдешь мужа.

— Нет! — Она дернулась, как от толчка. — Ты ничего не понял! Все, что есть, — в тебе! Ну... я не могу объяснить...

Со странной смутуо смотрел Леха в эти дикие глаза. Теперь только он понял, что жена была отговоркой. Дарья уже не держала его, и эта девочка вставала на ее место, принимала ее черты, вытесняла Дарью из пространства жизни как не бывшую вовсе. Странно: он знал, что этого допускать нельзя, и допускал — со сладостью сердечного щемления. Медленно он приподнялся на цыпочках и вытянулся вверх... выше, еще выше, увлекая ее за собой. От встречного воздуха платье ее заструилось вокруг ног, как факел, направленный вниз, к земле.

Вот уже свернула под ними крыша школы из рифленой нержавеющей стали, островками зачернели тополя и липы, млечной пылью засветились тропинки вокруг школы и пруда, бегущие — ух, как далеко! — к оврагу и Офицерскому поселку.

Ты не боишься? Нет, она не боится. Обнявшись, они видят через плечи друг друга каждый свою половину мира. Она видит, как стрелочник, уснувший для продолжения сил, забывает перевести стрелку. Она бы крикнула ему, но рельсы проржавели, и паровоз под насыпью задрал колеса вверх, и труба его обросла незабудками-ромашками.

А Леха видит, как плывут облака, похожие на листья кувшинок, протяжно пересекая пространство взгляда. Сидят на них седоки, не понимающие движения своих облаков, но твердо верующие в полет над бременной землей. Машет рукою с ближайшего облака Сергей Петрович; ноги его по колено утонули в молочном пуху. Секретарша Валя невидящими глазами всматривается в фиолетовую тьму вечера, пытаясь уследить хоть платок, хоть волосок непутевой племянницы. А вот и Самуил Евсеич высококим лбом принимает алмазный блеск звезд. И в руках у него книга бухгалтерская, где записаны все дела поселковые, земные, рукотворные... Мысли председателя светлы и покойны, и только одно вдруг искрой замыкает их: украли в прошлом году три мраморные плиты, заготовленные для памятника павшим, пришлось списать по фальшивой статье. Коля-Доля тоже не спит, сидит на своем облаке, ссутулившись, перекидывает в голове цифры, словно гири чугунные, и такой они тяжести, что скоро Колина голова перевесит остальные части тела. Перевернется он тогда в облаке, как поплавок в воде... А еще далеко-далеко, за ранней сединой полей, за прямыми дымами больших заводов, за патронташами железных дорог, стреляю-

щими под всяким поездом: та-та-та! та-та-та! — за всем этим проступает во всю необъятность мира чистый лик, сияющий, как свежий снег, не тронутый ни бегом звериным, ни посором древесным... И мучительно сходятся брови: узнать, угадать бы, кто там — заезжий ли ученый, любитель былин, от каждого слова в счастье млеющий, или строгий участковый, порядка вечный хранитель, судия дней наших и помыслов...

Бог ты мой, как тяжело возвращаться!

Леха скосил глаза. Она лежала рядом, откинув голову, прикрыв веки... тихо-тихо... как подозрительный звереныш. Какая уж тут помылка! Скорее бежать самому, хотя и пал он уже с первой угонки, и засыпан чернотроп листвою до самых небес, и чапыжник колюч, и притины повсюду, а если гончие и не повисли на щипце, то уж хлопунец не зевает, на весь лес арапником щелкает: легкий щелчок — береза упадет или осина, щелчок сильнее — сосна с ног валится...

Он поднялся и рывком поднял ее. Она стояла перед Лехой, как тряпичная кукла.

— Надо идти, — сказал Леха.

— Куда идти? — спросила она. — Я ничего не понимаю.

— Домой, домой! — Он махнул рукой в неопределенность.

Она провела ладонью по юбке, вернув ей изгибы тела, и вдруг засмеялась:

— Пошли!

Пока выходили из школьного сада, молчала, держась за него, как за поводья, и спотыкаясь на каждом вздохе. Приостановилась, некрасиво дернула лицом:

— А если б я была хромая, ты бы меня любил?

— «Если бы» не существует, — напрягся шагом Леха.

— А я бы любила! Даже если б ты без двух ног был. Даже если б тела у тебя не было, все равно любила бы!

Леха оторопел. С трудом выкорчевывая из головы слова, сказал:

— Слушай, а ты случайно не того?

Она снова засмеялась.

— Я живу, Алеша! Я, может, только теперь это знаю!

И побежала... полетела... вниз, через кусты, в темноту оврага.

Догоняя ее, он упал, но успел схватить ее за руку в неясном стремлении поймать, остановить внезапно возникшее, тревожное, непонятное ему состояние мира, — и она пресеклась, упала на траву рядом с ним. Он томился тревогой, но она не чувствовала этого, настойчиво искала его губы.

Ночь пульсировала — то сжималась до чернильного пятна, то шумела широкой свежестью заовражной березовой рощи. Правее оврага, на краю поселка, зряшно по цепочке брехали собаки. Еще дальше, за поселком, на товарной станции, лязгали сцепляемые вагоны. Волна блаженного безразличия пошла по телу. Леха прикрыл глаза, помня весь мир, кроме себя, и в этом мире вся жизнь была рассчитана и угадана, все находилось на точном месте, как в часовом механизме.

тик-так

тик-так

Месяц... год... тысяча лет...

У махового колеса откололся зубчик, сломался анкер, соскочил с оси храповик, последний раз дернулись и замерли стрелки. Леха был уже один. Прошестели кусты, и со склона оврага донеслось убегающее: «Подожди, я сейчас!»

Леха повернулся на бок и стал ждать. Намокшая от росы рубашка холодила тело свежестью жизни. Свободно пахло мятой и какими-то забытыми травами. Можно было поднести к лицу пальцы и потрогать себя, как посторонний предмет... Таня... Думать о ней было сладко и страшно. Началось новое — то, чего он не хотел умом и чему верил вопреки себе... Ждать, ждать! Он может ждать хоть вечность, ведь он бессмертен. Теперь он уже точно знал — смерти нет. Во всем мире тяжело дышали, плакали и ненужно страдали люди, еще не подозревая этого. Он скажет им. А пока он один жил за всех будущей вечностью. Леха потянулся на земле, почесал спину о выступающий бугорок... и вдруг очнулся, как после наркоза, дико посмотрел вокруг. Предметы сместились, утерев свои границы. Почему так долго нет ее? Крикнуть? Неловко как-то. Может, она нарочно спряталась, чтобы подшутить над ним... Леха подошел к краю пологого спуска и напряг зрачки, просеивая темноту. Ничего не видно! Все сливалось в черной воронке оврага.

«Аааа-аа!» — выстрелил во чреве оврага крик и — глухо умолк, как под воду ушел. Кругами пошла тишина. Леха еще вслушивался в себя, повторял в памяти крик, чтобы разобрать его лучше, а легкие уже вытолкнули ответное: «Таня, ты где?!» — и тело, качнувшись, как от ветра, верхней тяжестью ухнуло вниз. Кусты и мелкие деревца в испуге шарахались в стороны. Наконец он скатился на дно оврага. Здесь вытягивался мелкий ручей, перепоясанный шатким деревянным мостиком. Веером раскинул Леха взгляд по длине овражной ночи — и белый сгусток курточки засветился на другой стороне ручья, под смутной ивой. Пробежав по мостку, Леха встал у тела. Он сразу понял, что она мертва. Наклонившись, он узнал подтверждение этому: висок, ухо и волосы вокруг виска были залиты кровью. Она лежала ничком, как после долгого бега.

Леха подержал ее за запястье, перевернул на спину и приложил ухо к груди. Нет! Она уже не жила, земля ждала ее.

За что? Почему? — забились кровь в висках. Видно, что внезапно, — одежда не смята, свободно волнится по телу. А он проспал, скололся, как последний цунок! От отчаяния Леха дернул головой так, что хрустнула шея. И тотчас увидел, как по верху перелоя метнулось человеческое пятно. Вскинул руку к поясу, будто карабин схватить, — да нету, нету никакого оружия! Остается гон, взять зверя вручную. Плевать, что шум и треск пойдет, — тварь и так знает, что ее по зрячему гонят.

Цель найдена, и можно не думать! От сознания этого наливаясь радостной силой, взлетел Леха по склону. Увидев на поляне приседающую в беге фигуру, твердо понял: не ототрется. Переложив ногу на другой шаг, Леха побежал легко и свободно, в раскачке ловя нужный темп. Тот, за кем он бежал, не понимал таких хитростей. Его бег был бегом зайца, спасающегося сметками и не ведающего, что идет за ним не случайный пес, а кровный выжлец, не знающий ни времени, ни усталости.

Расстояние между бегущими сжималось медленными тисками. Леха уже различал коренастое тело со выдвинутой головой. Поляна скоро кончалась. Левее начинался кустарник, отсекавший рощу и начало офицерских дач; по правую руку темнел табор поселка.

Леха еще сильнее раскачал тело, увеличивая шаг и готовясь к последнему броску. Беглец явно стал выдыхаться. Несколько раз он сбивался с ноги; стало слышно его хриплое, наждачное дыхание. Видно, поняв, что ему не оторваться, он вдруг остановился и выбросил вперед руку со сверкнувшим, как блесна, ножом. Леха уже летел на него, открытый, как книга.

Чудом успел перекантоваться в прыжке и, приземляясь, ударил ногой по коленной чашечке противника. Оба оказались на земле. Беглец первым вылез из-под тела в полуподнятое, покачиваясь на две стороны, как вратарь перед пенальти: левым глазом на Леху, правым — блеск утерянного при падении ножа. «Летит, сука!» — гортанно вскрикнул Леха, резко поднимая руку к небу. Коренастый против воли вскинул голову, и в следующий миг Леха врезал ему по кадыку. Противник осел, как мыльная пена, схватился за горло, захрипел-заскулил утробно. Получив передышку, Леха углядел отлетевший нож, в прыжке подобрался к нему. Наклонившись за ножом, на мгновение потерял точность тела, и коренастый, почуввав это, ринулся сзади со слепой яростью. Леха не успел найти точку опоры, упал и смог только перевалить противника через себя. Коренастый был крепок и изворотлив, но сила его подтачивалась мыслью о победе. Долго никому не удавалось взять верх, хотя Леха все ближе подбирался к горлу противника, чтобы зажать его со спины в расщеп руки. Из-за ловкости коренастого большая часть Лехиных усилий пропадала зря. Несколько раз, находясь в странных положениях, когда никто не мог занять преимущества, будучи крепко схвачен другим, оба жадно ели воздух. В какую-то минуту Леха ослабил бдительность упора, и коренастый, извернувшись, ударил его коленом в пах. Пока Леха корчился, он вскочил и побежал.

Раз... два... три... Леха считал про себя секунды, как судья над упавшим боксером, боясь перележать на земле больше, чем требовалось для дальнейших сил в погоне.

Наконец он поднялся и снова рванул за беглецом. Леха чувствовал, что запас его бега больше, а ноги длиннее, и все же коренастый по-прежнему опережал его на длину взгляда. Так пронеслись они тремя улицами, миновали старое здание поссовета, будку сапожной мастерской, шпалы у железнодорожной насыпи. На поляне Леха сократил-таки расстояние, но по шпалам коренастый пробежал ловчее его — так что, когда Леха взобрался на насыпь, противник был далеко впереди. Он двигался вдоль трогаящегося товарняка, выскивая, где посспособнее прыгать на тормозную площадку. Минута, другая — и вот он уже схватился за поручень и вскочил на подножку. Леха рванулся сверх сил, опережая ход поезда, чтобы подбежать как можно ближе к вагону с коренастым. Это было рискованно — впереди могло не оказаться тормозной площадки, а поезд шел все быстрее.

Наконец Леха понял, что медлить больше нельзя, уцепился за поручень и в два рывка забрался на площадку. По прикидке выходило, что беглец находится не далее чем через два-три вагона. Пока поезд разогнался, Леха то и дело метался от одного края площадки до другого, боясь, что коренастый все-таки спрыгнет в начавшуюся после переезда темноту. Но, кажется, прыжка не было. Состав набрал железную, свистящую скорость. Одолевая напор воздуха, тугой, как накачанная шина, Леха полез на крышу. Став ногами на перильца площадки, ухватился за вертикаль перекладины и попробовал подтянуться. Едва оторвав ноги, понял, что не получается, и вернул ногам опору.

Есть еще один шанс. Отдышаться. Теперь вперед. Спуститься вниз, к сцепке, пока возможно, страхуясь руками. Так... спокойнее... спокойнее. Постоять, привыкая к раскачке. Выбрать момент и... Толчок! Нет, все сначала. По-другому. Спуститься ниже, почти лечь на сцепку. Перенести на ту сторону сначала ступни, потом колени... Проклятые стыки! Теперь упор спиной. Можно выпрямиться, упираясь руками в балку. Оп! Руки перенесены. И по скобам — на верх вагона.

Вагон с углем, гружен полностью. Леха пробежал его в минуту. Вгляделся в следующий — тоже с углем. До него — метра два. Леха решил прыгать. Несколько раз примерялся, пробуя, как держится уголь под ногой, даже притрамбовал площадку. Почувствовал вдруг, что еще секунда — и заботится. Коротко разбежался, перенес тяжесть тела на одну ногу и оттолкнулся. Ночь ударила в лицо, ослепила на время выдоха. В следующий миг он врезался ногами в угольную тьму и понял: жив.

Пробежал весь вагон, готовясь на ходу прыгать на следующий, но, едва выдвинул лицо над тормозной площадкой, как увидел внизу коренастого со светлячком сигареты во рту. Беглец тоже заметил его и странно дернулся. От неожиданности он метнулся через перильца на буфер, стремясь к другому вагону, но не удержался, упал на рельсы. Сквозь громохание колес и встречное напряжение воздуха услышал Леха смертный вскрик коренастого... Закрыв лицо руками, сел на уголь.

Состав несясь по узкому коридору. Справа и слева темнотой, неразличимой в своих отдельностях, густел лес. Неделимой массой он возвращал поезду его лязг и грохот, и шум этот метался в узком пространстве от поезда к лесу и обратно, возрастая многократным эхом, будто кругом рубили, ломали, коржили землю, деревья, металл... На крутом повороте, когда товарняк притормозил и поджался, Леха прыгнул и кубарем скатился с насыпи. Для ночного прыжка довольно удачно — рук-ног не переломал, а ушибы не в счет. Назад пошел не по шпалам, а по припудренным зарослям, страшась увидеть то, чем стало тело коренастого, лишенное души.

Уже мерцало сияние утра, и тишина была готова разговестись первыми птичьими голосами, когда Леха вернулся домой.

Дарья выла, сидя на кончике стула. Желтая лампочка горела над ней остаточным ночным светом. Шла беда, чуяла Дарья, шла, забирая таким широким неводом, что не было от нее никакого спасу. Беда, как снегопад, зависала от неба до земли, принимала женские черты, дышала в лицо грубой насмешкой, веселилась сиюминутным бессмертием молодости.

Леха шел с намерением уберечь жену от гибельной правды, но под одиноким светом лампочки увидел вдруг, что ложь еще гибельнее. Он стал перед Дарьей на колени, обхватив ее ноги в спасительном уничтожении. Дарья в слабом негодовании отталкивала его лицо с незнаемыми чертами. Она могла бы горько бросить: «Что пришел ободранный, как кот? Исцарапала тебя эта стерва московская?» — но даже это казалось ей слишком ничтожным.

— Я двух человек убил, Даша, — сказал Леха так тихо, что она сразу поверила.

Стыд! Срам! — но душа вдруг облегчилась и возликовала — не изменял! Тьма отчаяния нашла позже, минуту спустя. Он говорил — она слушала его, как далекое радио в соседнем доме. Главное, никак не могла связать в одно: убил, но — не виновен, виновен, но — не убивал.

— Сиди! — хрипло приказала она. — Я сейчас, сейчас...

Отчаяние не притупило мысли — не забыла схватить кошелек, — и туда, во тьму на исходе. Домик бабки Макриды крайний по улице, неуклюжий, присевший, как от удара. Стучала, стучала в окошко — никак не проснется бабка.

— Да кто там? — проскрипел наконец деревянный голос.

— Это я, бабуль. Жихарева Дарья.

— Чего тебе, касатка?

Занавеска откинулась, сквозь мутное стекло завиднелось пятно лица.

— Бабуль, выручай, мужу похмелиться надо.

Вернулась домой, бутылку на стол: пей! Леха очнулся, ошалело глянул на ладони — горят, проклятые, будто только сейчас от лопаты отнял. Все равно теперь. Куда не шла, туда приехала. Дарье спасибо, в ножки надо поклониться. Стакан, другой. *Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает.* Спи, веселая душа, Леха Жихарев! Не качает над тобой ромашка детской своею головкой, василек не разжигает синие угольки — пырей ползучий по тебе ползет, пырей да осот! Был ты, Леха, поймой с медвяными травами, стал чапыжником колючим. Век тебе маяться, а захочешь избавления — зови огонь да топор, ничто иное не возьмет тебя...

Синий туман стоял неделю, а может, две. Из него выплывал следователь, и Леха в сотый раз объяснял ему, кто где стоял и что он делал, когда услышал крик. Позади проступало, как сквозь марлю, лицо участкового с кривящимися губами: «Я же предупреждал, Жихарев, что тунейдство твое добром не кончится!» «Да не виноват я, Филипп Кирейч!» — «Это ты на суде скажешь». Туда-сюда возили Леху, не верили сначала, да и потом не совсем чтобы поверили, а все же и поверили. Он вовремя сообразил: не надо говорить о погоне на товарняке. Сказал только, что бежал за коренастым до станции, но тот вскочил на товарняк и был таков. Тело бандита, конечно, обнаружили, но к Лехе это касательства уже не имело.

А в конце тумана сморил Леху сон. Был он черный, без малейшей искорки, просто черное небо без звезд — и все. Когда же проснулся, так тяжело разлеплял веки, словно плоть от плоти отдирав. Воздух дрожал перед глазами аккуратными ромбиками, как соты. Солнце стояло почти прямо. Сквозь липкую пелену полдня продрался Леха к столу. Поверх зеркальца белым светом горела записка. Несколько раз прочитал он ее, не беря в руки, а наклонившись, как собака над миской.

*Ни о чем не думай все что было тебе приснилось
я придумала как нам жить дальше
скоро придю никуда не уходи.*

Приснилось? Ну да, конечно: вон и лестница в небо уперлась, лезь — не хочу! А вон старик Митюшкин руками рвет сердце перед секретаршею Валею. Кричит она ему, что племянн его проклятый испортил да и убил золотце ее ненаглядное, кровинушку ее родную и выпарапала бы она глаза старику и всей его поганой родне, да пальцы у нее уже не те, распухли от водянки и не гнутся. Но чтобы Сашке причинное место отрезать — для этого у нее сил хватит. «Режьте мне, — говорит Леха, — моя на всем вина». А Валья не слышит и не видит его, проходит Леху насквозь, как воду. Забыть! — гулко ухнуло внутри, как в пустой, заброшенной церкви. Все в сторону! Болотный туман стеною отрешет поселок, увязнут в тумане и слова, и взгляды.

Надо жить, понял Леха, против животного чувства плотского страдания. Вышел во двор, подставил голову под рукомойник. Вода хоть и теплая, а полегчало. Выпрямился, пошел в сарай. Рывком дернул дверь, будто надеясь увидеть иное...

Нет, все так же матово отсвечивала яма, полная тяжелой красной жидкости. Леха подошел к ней, опустил руку по локоть и вынул. Пошевелил пальцами. Плотными ртутными шариками кровь закапала вниз. Леха постоял на протяжении еще нескольких мыслей... постоял-постоял... и плюнул в яму.

Вернулся в дом. Аккуратно вымыл руки. На обратной стороне записки начирикал случайным карандашом, что, мол, позвал его на заработки старый друг, так что уезжает он на месяц-другой, как получится, пускай Дарья его не ищет, а живет, как жила, Бог даст, привезет Леха много денег, и пойдет у них жизнь лучше прежнего, всегдашним весельем станет...

Обманывал Леха, успокаивал Дарью привычным. А на самом деле некая мысль захватила его, пока шел из сарая в дом. Была эта мысль хороша не только всеобщей выгодой, которая от нее предвиделась, но и тем, что покрывала всю Лехину боль-печаль — и нелепость поселковой суеты, и две загубленные им жизни, и годы, развеянные, как пыль от помола. Близко близились идея: протяни руку — и вот она, птица счастья, играющая золотым пером, поющая медоточиво, как Мария Пахоменко. Но, как ни опьянялся своей мыслью Леха, понимал он, однако, что близость эта обманчива и многое надо сделать, чтобы расставить сети и тенета хитроумной жар-птице.

Взял китайский термос с розами и начерпал в него половником крови из ямы. Целый литр, до горлышка. Отыскал в шкафу выходной костюм, провонявший нафталином, и, поморщившись, влез в него. Показной одеждой Леха не любил, но для дела придется потерпеть. Поискал лишних денег, и, конечно, без толку. Потыкался взглядом по углам, наткнулся на Дарьин бархатный отрез и решил забрать. Сунул в сумку. Вернется — сто таких отрезков ей купит. Что еще? Ну да, конечно, хлеба и сала, и бутылку с водой. До города хватит, а там разживемся.

К железной дороге вышел правее станции, ближе к переезду. Пути были свободны. В этом месте товарняки часто тормозят, а то и совсем останавливаются.

Потом долго полусидел-полулежал в канаве, водя взглядом по небу, будто кистью по крыше. Парило. Жар шел и сверху, и снизу, от распаренной земли. Над ухом стрекотал кузнец, травинки кололи шею. Можно было закрыть глаза, и тогда цветные пятна медленно шевелились в голове, как рыбы в аквариуме. Леха было приятно наблюдать за любой малостью в себе и вокруг себя. Это уводило от прошлого времени, готовя мозг к будущему. Оно, это будущее, становилось все больше и больше. Огромностью своей оно не только заполнило Леху, но стало разрастаться со скоростью его мыслей.

Уже и поселок Карачарово был только булавочной головкой в этом будущем, и райцентр уместился в спичечном коробке, даже Москва... Да что Москва! Весь мир стал подрастерян Лехе! Он висел над миром, как тысяча облаков, сцепленных в гигантскую фигуру человека. Тень его легла на мир, заслонила солнце в дневных странах и луну — в странах полночных; заблеяли-замычали козы и коровы, завывали собаки, заплакали дети, но взрослые люди спокойны — они знают, что это доброта зависла над землей, спасение идет к ним. В больницах всего мира играют марши, а из окон больные машут белыми флагами, нарезанными из врачебных халатов. Ура Алексею Жихареву, герою и спасителю! Вечная слава тебе ныне, присно и во веки веков! Аминь.

Часть II

Товарняк попался неудачный. Бог знает, сколько плелся, много раз тормозил, а перед Дебальцевом и вовсе простоял около часа. Так что, когда на подъезде к райцентру Леха спрыгнул возле депо, солнце уже путалось в верхушках станционных тополей. Потерян день, огорчился Леха. Целый день! Но делать нечего, надо где-то перекантоваться ночь. Кой-

какие знакомые у Лехи здесь имелись, но люди это были случайные, обсевов в поле, и душа не лежала возвращать им память о себе. Оставалось привычное дело — вокзал.

К восьми Леха трубой стоял у входа в городскую поликлинику. Регистраторша пояснила, что главврача Грачика Григорьевича сейчас нет, а будет он через час, поскольку в девять у него прием.

— Можно? — спросил Леха, приоткрыв дверь кабинета.

Грачик Григорьевич сидел за столом — высокий, прямой, похожий на свое имя. Спросил заранее устало:

— По какому вопросу?

— Кровь я принес. — Леха выдвинул вперед термос.

— Что значит — кровь?

— Ну, кровь, кровь... — Леха засуетился, неловко сместил какие-то бумаги и поставил термос на стол. — Вот она.

Грачик Григорьевич подергал глазами с термоса на Леху и все понял. Обращаться с такими людьми он умел в совершенстве.

— Я убедительно прошу вас убрать *это* с моего стола. — Главврач говорил медленно, с дикторской членораздельностью, и Леха как замороженный слепую рукою снял термос. — Вот так, — удовлетворенно расслабился главврач. — А теперь объясните, что вы хотите.

— Я... Я кровь принес.

— Вместо кофе? — Грачик Григорьевич не удержался от усмешки скобочкой. — Зачем она нам?

— Как зачем?... Для переливания, для всяких там донорских дел.

— Во-первых, когда нам нужно, мы сами берем кровь, для этого есть специальные пункты, а во-вторых... — Пальцы главврача нащупали карандаш и выбили пионерскую дробь по столешнице. — Во-вторых, кровь берут из вены, а не заваривают в термосе, как шиповник. Вы вообще понимаете, куда вы пришли? — Грачик Григорьевич вспомнил вдруг про свою статью. Брови взлетели, глаза горят, шерсть на загривке дыбом.

Ух ты, какой грозный! Леха было по кончик хвоста ушел в нору, но идея, идея! Невозможно было просто так, за фук, похерить ее, и он пролепетал что-то вроде того, что у него и вправду этой крови навалом и, если надо, он может залить ею не одну, а десять, сто таких больниц, как эта, пусть только возьмут у него на пробу этот литр, — но Лехино бормотание вызвало у Грачика Григорьевича лишь легкий прилив профессиональной брезгливости. Заниматься этим сумасшедшим главврачу было некогда да и хлопотно. Он просто подошел к двери и стремительно ее распахнул.

— Прошу!

Ободранный, исцарапанный, с репьями на боках, вывалился Леха из кабинета. Печаль унижения, а, пуще того, боль за идею так сильны были в нем, что и гудящей очереди не услышал он — перемогся по лестнице, и все.

Выскочил на улицу и остановился в нерешительности мыслей. Рядом шофер «Скорой», раскрыв дверцу, щелкал семечки.

— Ты чего, ждешь кого?

Леха помотал головой, не желая тратить печаль на слова.

— А чего тогда? — не отставал шофер.

— По делу я приходил. К вашему главному.

— И что?

— Отказал он.

— Бывает, — выплюнул шофер с очередной порци-

ей лузги. — А ты в райдрав сходи пожалься. Может, и поможет.

— Точно! — спохватился Леха. — Как же я сразу не допер! Слушай, а ты меня не подкинешь?

Шофер достал из кармана новую порцию семечек и равнодушно бросил:

— Трояк.

— Понимаешь, денег у меня нет.

— Ну! Так ты хочешь и рыбку съесть, и в кресло сесть?

— Слушай, у меня тряпка есть хорошая. Чистый бархат. Возьми вместо денег.

Леха открыл сумку. Шофер вытянул край отреза, пощупал, похмыкал и наконец кивнул:

— Садись.

До райдрова домчали за двадцать минут. Леха скакнул из машины.

— Эй! — крикнул шофер. — А тряпка?

Досадуя на задержку, Леха повернулся к шоферу.

— Держи! — Красная тряпка, развернувшись на лету, облепила лицо и руки шофера, будто текла по ним бархатная кровь.

После яростного света улицы — затхлая темнота коридора. Заведующий здесь? Нет заведующего. А кто-нибудь за него есть? Есть, да не про вашу честь, сегодня неприятный день, товарищ, обуйте глаза. А мне плевать на приемный день. У меня самого, может, сегодня неприятный день, а я же вот пришел, не поленился. Товарищ, я занята и не буду сто раз объяснять. Я, девушка, вполне уважаю тех, кто стучит пальчиком по машинке, однако и здесь вот кое-что должно стучать. Вот у вас окурочек кто-то бросит, загорится здание, так что ж, и пожарных будете в приемный день звать? Но вы-то не пожарник. Да, девушка, я не пожарник. Я пожар! А у вас, между прочим, очень красивые глаза. Как у соболя... когда умирает.

Соболеглазая вдруг смиростивилась. Приоткрыла дверь.

— Галина Федоровна, к вам человек, очень просится. Вздох на всю Вселенную.

— Лена, ну я же говорила...

— Но ему *очень* нужно.

Ох, нет у людей совести.

— Пусть зайдет.

Леха робко, бочком, чтобы зря не раздражить, вкрался в кабинет. Глянул на хозяйку. Модные очки, тяжелые серьги, рыжие волосы, роящиеся высоко надо лбом. Сверкнула очками на стул:

— Садитесь.

— Ничего, я постою.

— Прошу вас, садитесь. А то я сама встану.

Решительная женщина. Это хорошо. Леха сел на стул без прицела, попал на краешек, но ерзать для усадки не стал.

— Понимаете, я был в больнице, у главного врача, но он и слушать не стал... Вот, пришел к вам за помощью.

— Если это в нашей компетенции, — райдровша приподняла очки, потерла пальцами красную переносицу, — постараемся помочь. Что у вас за вопрос?

Леха резко подался вперед, чуть носом не клонул стол.

— Понимаете, я нашел, можно сказать, целое месторождение крови, ну вроде минерального источника. Бери сколько хочешь — опять натечет. Я сначала сомневался, может, не кровь, а так, ерунда какая, но оказалось, вправду кровь.

— Пойдите, пойдите... — Райдровша утопила подбородок в ладонях, снисходительно помягчала глазами. — Разве кровь бывает в земле? Вы что-то путаете.

— Ну! Так и я не поверил сначала. Понес на анализ учителю одному школьному, по химии он учитель, вы, наверно, слышали, он всякие кружки да лаборатории организовал, в газете даже писали, ну он все и проверил. Говорит, кровь.

— Ну, хорошо. Предположим, что там действительно кровь.— Голос райздравши становился все нежнее и нежнее, будто Леха у нее на глазах превращался в ребенка.— Ну и что дальше?

Леха вспотел. Мягкость сидевшей перед ним женщины вдруг испугала его, он забоялся, что все его слова уйдут в нее, как в вату. Он хотел говорить слова прямые, как ружейный ствол, но, словно заяц-недоем, путался в собственных следах.

— Так что ж... Кровь-то не моя. Я ж хотел, чтобы для всех. Мне самому ведь не надо. Да я могу вам показать, она у меня с собой, в термосе.

Галина Федоровна воробьиным трепыханием руки остановила его порыв и откинулась на спинку, сияя улыбкой невесты.

— Голубчик вы мой! Послушайте меня внимательно. Вы пришли в райздравотдел, так давайте рассуждать *здраво*. Заметьте,— повышением голоса предупредила она попытку Лехи возразить,—я говорю с вами, как с *нормальным* человеком. Положим, вы нашли источник какой-то жидкости... пусть даже это действительно будет кровь. Но вы ведь взрослый человек, неужели вы не понимаете одной простой вещи — в земле кишат тысячи болезнетворных микробов и бактерий, и кровь, попавшая в землю, будет ими заражена! И что в таком случае...

— Нет, это вы послушайте! — перебил ее Леха. Он не даст себя сбить. Тысячи доводов находил он в поддержке идеи. Ведь, скажем, когда вода идет сквозь грунт, она очищается, фильтруется. Вон какой у родниковой воды вкус! Так и здесь: кровь из земли, она и от болезней очищена, и от всякого страха, подлости людской. Это ж вода живая, а не кровь!

Горькие складки повисли на уголках губ райздравши. Бессловесно покачала она золотой головой. Можно ли говорить с людьми, которые не внимают доводам разума? Которые просто не хотят вас слушать?

— Сначала научитесь не перебивать других, а потом уж и приходите. Вас приняли в неприятный день, а вы?

— Так... — Леха поднялся, пружиня ноги.— Скажите, где начальник вашей шараги находится в рабочее время?

Ватин непробиваем! Тот же тихий голос и вечерняя улыбка.

— Игорь Маркелович (пауза) сейчас (пауза) в исполкоме (пауза) на сессии (пауза) райсовета (пауза, точка).

— Хорошо! — Леха понял, что здесь он проиграл, и не стал терять силу на слова.

Не настолько он был выпрямлен яростью, чтобы не понимать: нужен хитрый ход, иначе не прорваться на эту исполкомовскую сессию. Просто так небось не пустят. А в общем, нет худа без добра — ведь при районном начальстве этот, как его, Игорь Маркелович не осмелится похерить сообщение о крови. А уж тогда закрутится дело — все больницы в районе получают крови, сколько нужно, а там и область пойдет, и вся страна. Ну а кровь в этой яме неисчерпаема — накопилась, видать, как нефть. Глядишь, и на экспорт пустим. По всему миру растечется кровь из Лехиной ямы. А поскольку кровь эта вроде как природная, землей от всякой дряни очищенная, то и люди, которым перельют ее, чище станут. Эти люди других родят — вот и мир переменится, радостью восстанет... Наивно, конечно, да ведь не наивней того же коммунизма. А в коммунизм люди верят, хотя его

и с самой высокой сосны не видать,— так почему же и здесь не поверить?! А поверят — может, люди и сами, без крови, исправятся, одним внушением...

Приструнивая шаг, Леха взбежал на второй этаж исполкома и замотал головой направо-налево. По длинному коридору ясеневым шпоном желтели нумерованные двери: 211, 212, 213, 214... Рванулся влево — туда, где коридор беременел площадкой с письменным столом, уставленным разноцветными кубиками телефонов. Бледноволосая женщина с потаенными следами красоты на расстегнутом лице, пригнувшись, шипела в трубку:

— Звоните в горгаз... Да! Это их участок!

Одновременно силно пунктирил другой аппарат. Леха выждал момент и вклинился в расщеп между двумя разговорами:

— Митичкин на заседании? (Слава Богу, шатаюсь у вокзала, высмотрел на каком-то стенде фамилию председателя.)

— Да, а что вы хотели?

— Срочное сообщение. В районе ЧП.

Женщина, подавшись Лехиному настрою, ахнула: — Идемте!

Не давая секретарше опомниться, он схватил ее за руку, и она пошла за ним, как лошадь на поводу, повторяя ошеломленно:

— А что случилось-то? Что случилось? Неужели на ЖБИ?

На коридорной развилке Леха ослабил зажим, почти отпустил бледноволосую — теперь она сама вела его куда надо. Правда, перед дверью зала чуть пришла в себя, попросила:

— Обождите секундочку, я предупрежу.

В наискосочном пространстве Леха увидел, как секретарша пробралась к президиуму, наклонилась к одному из срединных. Тот выслушал, благосклонно кивнул, и секретарша засеменила назад.

— Идите в зал,— прошептала она, вернувшись.— Геннадий Алексеевич даст вам слово... А много людей-то погибло?

— Потом, потом,— отмахнулся Леха и по стеночке, по стеночке пробрался вперед, сел с правого края.

Трибунщик клокотал, будто кран с сорванным вентилем, но клокотание постепенно утихало, и наконец он остановился. Едва осиротинил он трибуну, как председательствующий восстал над футбольным столом. Начал значительно:

— Товарищи! — Тут он, как дрель, перешел на высокие обороты.— В нашем районе произошло ЧП. Слово для экстренного сообщения имеет... Простите, как ваша фамилия?

— Жихарев,— подкинул Леха.

— ...товарищ Жихарев.

Трибуна легла под локти, как лодка, и поплыла, качаясь, прямо в зал.

— Я говорить не умею, скажу, как могу,— затормозил вдруг Леха.— У меня дома — я в Карачарове живу — погреб есть, а в нем кровь я обнаружил, большой источник. Сколько ни выкачивай, все течет и течет. Прямо прорва какая-то. Я и подумал: это ж бесхозяйственность, что она просто так течет. Надо ее в ход пустить — людей лечить. А вот ваши бюрократы не видят ничего за бумагами. Можно подумать, что у них крови по горло, что они отказываются. Сомневаюсь я что-то. Вон по больницам сколько плакатов висит: сдавайте кровь да сдавайте. Так ведь не каждый вокруг сознательный, чтоб свою кровь государству отдать! Опять же донору платить надо. А тут тебе бесплатно — целый Беломорканал!..

Председательствующий опомнился, распрямился, как парус, захолопал на ветру:

— Горбаневский, это ваш?

В одном из кресел вырос гриб-боровик, покачал шляпкой:

— Первый раз вижу, Геннадий Алексеевич.

Зал разрядился прибойным рокотком.

— Так он не с ЖБИ? — удивился самому себе председатель.

Леха, почуяв неладное, затосковал. Шило, красное стальное шило пронзило мозг и вышло из копчика. Все заислоилось кругом, заколебалось... Какие-то головы, руки... Последний день Помпеи... Иван Грозный убивает своего сына...

— Не надо, не надо, — попросил он коридор пустоты меж сценой и залом, — я сам уйду. Но только с кровью как?

Челюстями заходили кресла, заблестели зрочки, как битое стекло на черноземе. Взгляды, до того натянутые, как веревки, разом провисли, и только один, наоборот, сверкнул штыком — от председателя к серому человечку в первом ряду. Распрямился и потух. Но из искры уже разгорелось пламя, и серенький, улыбочиво растягивая рот, пошел к сцене.

Перекрывая рокот прибоа, председатель заговорил ровными увесистыми порциями слов, будто шмякал мастерком раствор.

— Товарищи, попрошу тишины. Вы, товарищ, — обращение к Лехе с поворотом одной головой без корпуса, — спуститесь вниз. Товарищ Спиридонов с вами разберется. Я дал указание.

Серенький Спиридонов уже причаливал к сцене, заносил ножку свою на ступеньку лестнички, лицом и телом радуясь Лехе, как предстоящему брату. Какие-то мгновения Леха еще сохранял грозную чистоту мыслей, но, чем ближе подходил серенький, тем туманнее становилось все вокруг.словно фиолетовые цветы, потекли вопросительные «зачем?», «куда?», «почему?», и медленно, как на заклинание, пошел он навстречу Спиридонову. Влекомый неотвратимой нежностью серого брата, покинул Леха сцену и уже на выходе, обернувшись, заметил, что в зале заморосил дождь и многие расцелкнули зонты или прикрыли головы портфелями-палками, а то и просто газетами. И только председатель сидел прямо, не замечая мокрой правды жизни.

На выходе из зала Спиридонов стал как будто еще ласковее. Уже не за руку — за талию взял он Леху и потащил по коридору, приговаривая напевно: «Сейчас, сейчас, голубчики-сестрички...» Подвел к нужной двери, точехонько нащупал в кармане пиджака ключ и с единой попытки вонзил его в замок.

— Прошу, прошу. — Спиридонов повлек Леху к столу, унизил в кресло, чуть не из воздуха сотворил бумагу и ручку. — Опишите пока все, да, пожалуйста, подробнее, как можно подробнее, а я сейчас, сейчас, ужином обернусь!..

Горела голова, гудело тело. Леха сидел за столом, не слишком понимая, почему он поддался на Спиридонова, но какой-то, пусть самой мелкой, частью души все еще веря в незрешность своего сюда прихода. Значит, нужно им, раз попросили — на бумаге! Надо довериться.

С маху Леха исписал весь лист, перевернул на другую сторону, но открылась дверь, и вошли двое в фуражках. А из-за их спин — Спиридонов. Глянул на Леху никакими глазами и выстрелил рукою — за бумажкой. Подал ее добродушному круглолицему. Тот было глянул, но тут же махнул небрежно: на хрена она мне, эта писанина!

— Правильно, — взвился Леха, — я так все объясню.

Не надо, остановил его Спиридонов, товарищам уже все объяснили. Что объяснили? А что надо. Так что пройдемте. Куда пройдемте? Зачем? Там узнаете.

Но я не хочу никуда идти, мне надо, чтобы с кровью вопрос решили. Без вас все решат.

Раз-два, и вдруг оказалось, что Леха уже стоит в дверном проеме, и за руку его крепко обжимает второй фуражечник, чином поменьше, по погонам лейтенант, по хватке сержант. Двинулись вчетвером по коридору. А бумага? Бумагу-то забыли, спохватился Леха. И впрямь забыли, подхихикнул Спиридонов. Раком переместился назад, в комнату, схватил брошенную старшим фуражечником бумажку и — раз! раз! — на клочки ее, на клочки.

Тут только и понял Леха глубину своего неверного доверия. Крути не крути ворот, оборвалось ведро, летит, громыхая, по сруб. Плюнуть, смириться? А как же идея? Ведь зовет, кричит, машет руками!.. А коридорчик кончается, вот и лестница, вот и выход. Та-ак. А на улице уже и «газик» милицейский стоит, фырчит синим дымом.

Раз-два-три-четыре-пять... Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ты не спрятался, Леха Жихарев! Вынимай документы, выворачивай карманы, отстегивай часы, вытаскивай шнуры из ботинок, снимай брючный ремень и прочую дребедень. И сумку свою отдавай. Да не бойсь, ничего не пропадет, на фиг нам твоё барахло, что мы, гангстера какие? А вот и камера твоя, КПЗ родная, три на четыре, деревянные нары да окошечко с детским кулачок в са-ааамоу верху. Посиди да подумай о своей жизни, время есть для того. А чтоб не слишком скучал, вот тебе попутчики: старик бомж и малый за тридцать, ровесник по годам, бугай бугаем, кожа на мышцах трещит.

Посиди, поговори с попутчиками; они и сами рады покалякать, особенно этот бомж с трясущейся головой — так и льнет к тебе, так и ластится. Серый ты человек, Леха, а все ж вспомнил, что есть такое слово «наседка». И означает оно человека, к тебе подсаженного, чтобы все выпытать и ментам рассказать. У тебя-то выпытывать нечего, но ведь лезет и лезет старик с вопросами, а какое его собачье дело?

Не стал Леха вспоминать правду, сказал только, что статья его пустынная — изнасиловал козу у соседки, так что на вышку не тянет, — и прилег на нары. Под голову положил пиджак свернутый, замечтался о прошлом-будущем.

Недолго мечтал, однако. Пришли за ним, отвели в комнату, где за полированным пустым столом сонно жевал губами пожилой краснотелый майор с допросным листочком. Майор молчал и вздыхал внутренними органами. Иногда доставал платок, вытирал лоб, выворачивал платок на другую сторону и бросал в ящик стола.

— Слушай, — майор поднял наконец глаза, — до-мой хочешь?

— Хочу, — закивал Леха.

— Тогда колись сразу, чтобы нам время не тратить зря.

Леха честно признался, что колотья не в чем и вообще у него такое чувство, что он занимает здесь чужое место.

— Ха! — радостно оживился майор. — Тогда и я не на своем.

— Почему? — не удержался Леха от майоровой зацепки.

— А пораскинй мозгами. Если ты не преступник, значит, преступник я, что держу тебя здесь, и меня надо в камеру.

Майор говорил легко, почти с улыбкой, и Лехе это показалось хорошим знаком.

— Вас просто ввели в заблуждение, — предположил Леха.

— Тем более мне не место в милиции. Так что садись на мое место, а я сяду на твоё. — Майор встал

из-за стола и указал на стул. — Будешь меня допрашивать.

— Что вы! — Леха растерялся. — Я же не в том смысле, что вы виноваты. Вы, может, совсем и не виноваты.

— Ах, не виноват!.. Ну тогда не обижайся: раз я не преступник, значит, преступник ты.

— А не может так быть, — робко заметил Леха, — чтобы никто не был преступником?

— Нет, не может, — посуровел майор. — Пока есть преступник, до тех пор будет и милиция. А раз есть милиция, значит, есть кого ловить и сажать, — иначе зачем мы нужны?

— Так что же делать? — огорчился Леха.

— Как что? Признаваться надо. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Вот тебе бумага и ручка — пиши обо всем.

— Так я уже писал в исполкоме! А ваши люди не взяли...

— Ну что же ты хочешь, — добродушие зацвело на лице майора, — не все ж у нас Шерлоки Холмсы. Это только в кино преступника по пуговице от кальсон находят. Вот мы, к примеру, полчаса с тобой говорим, а ты слова дельного не сказал. Давай я пока выйду, а ты все припомни и напиши. Но только правду, договорились? Ведь если *ты* соврешь, все равно узнаем. А если ошибемся *мы* — так ведь за правду и пострадать не обидно, верно?

Майор вышел, но его красные глаза будто продолжали висеть над столом. С трудом взгорячил себя Леха; пусть через пень-колоду, но написал о находке крови и о своих мытарствах, рассчитывая хотя бы на казенность майорского ума: раз есть факт, надо его проверить! Да и человек он вроде толковый, умно к делу подходит. Как это он под конец здорово ввернул: «За правду и пострадать не обидно».

Вернувшись, майор небрежно взял Лехину писанину, прочитал раз, другой... Пожамкал губами, спросил в ладонь:

— Значит, у тебя в сарае из земли течет кровь?

— Кровь, — с радостью единомыслия подтвердил Леха.

— А не вино?

— Не вино.

— Жаль. Больше толку было б... Ну, ладно. — Майор глянул на часы, снял телефонную трубку, накрутил номер. — День добрый. Это вас Кравцов беспокоит... Что?.. Да-да, с этим человеком... Разумеется.. Нет, это не уголовщина. Совершенно верно... Так что с ним делать?.. Конечно, конечно. Я тоже так думаю... Все понял. Желаю здравствовать. — Облегченный чужой волей, майор раздвинулся на стуле, уже не сдерживая границ тела. — Ну что, Жихарев, — любовно услышал майор свой густой голос, идущий из глубин живота, — хоть и нарушил ты общественный порядок, но статью тебе вешать не будем. Преступность твоя нам не нужна — она у тебя не от избытка, а от недостатка умственных способностей. А потому получишь ты сейчас свои вещички и поедешь в другое место.

— Это куда?

— А туда, куда по недостатку ума и посылают.

— В психушку, что ль? — догадался Леха.

Майор широко и даже сочувственно развел руками, молча воздвигся из-за стола, звякнул дверцей сейфа.

— Но я же не псих! — Леха старался не возвышать голос, чтоб не завести себя на дурную злобу.

— Ни черта ты не соображаешь, — с последним сожалением глянул майор. — Ведь псих-то первым и кричит, что он не псих! Ты, если хочешь за нормального сойти, наоборот, тыкай всем, что ты псих.

— Но вы же про себя так не говорите!

— Так меня никто и не спрашивает.

— А если спросят?

— А если спросят, скажу, что псих.

Майор победоносно заржал. Закрыв сейф, переломилс через стол, кончиками пальцев воткнувшись в столешницу.

— Послушай, Жихарев, хорошего совета: не суетись под клиентом. Месяц-другой полежишь в больнице — и отпустят. А будешь дергаться, таких диагнозов повешают — всю жизнь не отмажешься. Тебе же добра хотят.

— Мне вашего добра не надо, — ошетинился Леха, но лишь по инерции. Уже понимал он, что в словах майора была общая правда стены против его одиночного камня. Из гранита, из диабазы уральского стала Лехина воля песком, раскрошилась известняком — загребай, кто хочет, лопатами, сыпь в тачки!

Когда вернулся в камеру, старик бомж сладенько посвистывал у стены, задрав вверх реденький дымок бороды. Бугай тоже спал, дыша глубоко и неряшливо; от звука лягнувшего замка он повернулся на торец тела. Леха присел на краю нар, где было пустое место.

Подумал, что не знает времени. Ему вдруг смертельно захотелось узнать точный час. Попробовал взглянуться в окошечко под потолком, чтобы по густоте неба угадать возраст дня, но заоконный белесоватый сумрак не имел точной отчетливости. Тогда Леха слегка прикрыл веки и попробовал отыскать время угадкой. Мысленно представил он себе чистое время — то, какое могло быть, если бы он не попал сюда, — и отнял от него время грязное — проведенное подарестно. Выходило не то девять, не то десять вечера.

Леха не знал, хорошо это или плохо. Он не мог определить сейчас своего отношения ко времени. Лампочка под высоким потолком нехотя отрывала от маленького овального тела свет. Он летел вниз так медленно, словно это и было само время. Зачем оно мне теперь, подумал Леха, плотнее прикрывая веки.

Но время обжимало его, текло на него сверху, как вода, становилось плотней и плотней. Вязкость появилась в воздухе, стало трудно дышать. Уже почувствовал Леха, что время, как мазут, держит его своей тягучестью. Он выдергивал из времени части тела, но только глубже увязал в нем... Засосало по колено, по пояс... дошло до подмышек... Вдруг Леха понял, что еще секунда — и время навсегда втянет его в свой тягучий мазут... Испуг разбудил его. Он вскопчил на ноги и резко потянулся, стряхивая с себя часы и минуты, как собака воду. Надо найти дело, понял Леха.

Перебрав все бессмысленные занятия, остановился на рассмотрении — кусочек зг кусочком — стен и потолка. По штукатурке, изношенной от тысяч прикосновений и взглядов, по-тараканьи расползались надписи, рожденные усердием ума или безволием отчаяния. Писали карандашами, ручками, утаенными при шмоне, царапали острыми предметами.

Пацанался с Косым прощай Воля. Шкет.

Гулял смело, сажу за дело.

Вы... кончай баланду травить.

Серый — пидор и козел.

И вдруг внизу, почти у пола, углядел Леха невообразимое — маленькими буквами, чуть ли не иголкой накарябанное:

А судьи кто?

Ух ты! В отчаянии восхищения закусил Леха губы. Вот человек — и здесь не пропал, сохранил голову. А я? Разве я хуже? Он оглядел себя изнутри, подобрался всем телом и — проникся легко-

стью, словно вернулись к нему сила и ловкость, чутье и везение.

Вот птица летит сквозь тучу, крылья отяжелели, словно не воздух гребут, а воду. И не надо ружья, чтобы подстрелить эту птицу, — хватит и взгляда. Увидит кто ее, глянет с прищуром прицельным — и все. Прошита взглядом, кувыркаясь, летит она на землю быстро-быстро, и только крылья последней судорогой ловят обмолвки ветра.

Живи, птица! Вот тебе твои вещи: ремень и часы, мелочь денежную и авторучку шариковую, сумку напечную, а в ней — термос с кровью. Тяжелый термос — значит, цела, не вылили.

Словно чужого, наблюдал себя Леха — как расписался в получении вещей, как посадили в глухой фургон с двумя провожатыми, как трясся на жесткой скамье часа два, не меньше, как, разговаривая с конвоирами, узнал, что везут его в областной центр, как, наконец, приехали и глаза резанула каменная белизна бывшего монастыря, где была теперь психушка, как, пройдя охрану и кучу дверей, сдали его конвойные дежурному врачу... А врач молодой, лицом тонок, как нож. Рядом с ним санитар тупоголов, словно молоток, хотя по отдельности, может, и сошел бы за человека.

Милиционеры убрались, а врач, кончив писать, подсел рядом, заставил закрыть глаза и достать кончик носа по очереди обеими руками. Постучал по коленям и сгибам рук молоточком.

— Жалобы есть? — спросил сухо, но не враждебно.

Он думает, что я больной, понял Леха, а ведь больной-то он! Как майор сказал: кто говорит, что он здоров, и есть настоящий больной. А раз так, то весь мир болен! Ну-ка, глянь: кто свое счастье вызвездил и понял, зачем он? Нет кругом таких, не знает их Леха. Может, во всем мире он один и остался здоров. Кто же, кроме него, поможет остальным?

— Значит, нет жалоб? — повторился врач.

— Нету, — буркнул в пол Леха.

Да вы не переживайте, — заметил Лехино настроение врач. — Мы вас долго не задержим. Посмотрим, что и как, если надо, подлечим. Чем спокойнее вы будете, тем скорее и домой вернетесь.

— А если мне некуда возвращаться?

— Разве вы бездомный? У вас вид человека вполне благоустроенного. — Врач кивнул на Лехин костюм.

— Ну, положим, я не бомж, но ведь и дом — это вам не четыре стены с крышей! Дом — это когда ждут тебя да картошечку с лучком на закуску жарят.

— А, вы в этом смысле, — облегченно улыбнулся врач и вдруг поразился: — Умно, черт возьми! А кто вы по профессии?

— Никто. Точнее, был всем, стал ничем. И на северах рыбачил, и зверей стрелял, еще на шашке плотничал...

— Понимаю, понимаю... — Врач энергично покачал головой, как рычагом водопроводной колонки, будто перегонял мысли из тела в голову. — Охота к перемене мест. Ну, а сейчас что?

— Не знаю. А работать просто так, за жвачку, не хочу.

— Положим, работать надо в любом случае, хотя бы ради, как вы сказали, «жвачки».

— Шутите? — Леха раскрутился, как пружина. — Да чтоб я жизнь потратил на жратву? Не-е, на этот манок я не ходок. Пусть я лучше, как последний бич, на помойке сдохну! Я себя больше, чем жизнь, люблю. Я, конечно, понимаю, что вам милиция меня сумасшедшим выставила. — Говоря, Леха задрожал от внутренней обиды. — А сами-то вы в это верите?

— Ну зачем вы так! — укорил врач. — Мы вам плохого не желаем. Посмотрим вас тщательно, сдела-

ем анализы. Вас что, пугает, что вас в психические больные запишут? Так это в норме вещей. Сейчас в кого пальцем ни ткни — невроз или астения. Жизнь такая пошла, сплошные стрессы.

Соблазненный рассудочностью врача, Леха решил-ся.

— Давайте начистоту, — чуть не крикнул он. — Я вам одну вещь предложу, вроде как на спор. Зато будет сразу ясно, шизик я или нет. У меня в сумке термос, большой такой, китайский. А в термосе у меня кровь, настоящая кровь. Если надо, я ее могу цистернами качать. Подождите, подождите, я доскажу, — заторопился Леха, заметив, что врач поджал губы. — Вы мне, конечно, не верите. Я б тоже не поверил, если б кто другой сказал. Ну, так проверьте! Вы же тут делаете анализы, вот и отдайте на анализ. Послушайте, — Леха придвинулся к врачу, но не слишком, чтобы не спугнуть его, — вы, может, еще про мою кровь диссертацию напишете...

Врач молчал, и Леха скатился до жалости в голосе:

— Ну чего вам стоит — я же все равно в ваших руках. А если я соврал, заприте меня тогда с самыми буйными, хоть навсегда! Как человека вас прошу: возьмите термос, проверьте!

— И не подумаю! — отрезал врач. Ему уже все было ясно, и он мысленно перешагнул через две недели, когда этот парень, в общем-то безобидный и в чем-то даже симпатичный, убаюканный аминазином или галоперидолом, покинет свою отрешенность, ревнивое одиночество и покорно вернется к людям, в общую лодку жизни и смерти, чтобы плыть со всеми до конца.

— Возьмите, — упрямо повторил Леха.

— Хорошо, — неожиданно для самого себя согласился врач. — Проверим эту вашу кровь, но уж если это выдумки, тогда не жалуйтесь — лечение назначим самое строгое.

— За ради Бога! — обрадовался Леха. — Я на все готов.

— Тогда так. — Врач повернулся к санитару. — Во-лодя, стрижка, ванна и в десятую, к Романову. Найдите сумку и принесите мне термос.

— Спасибо, спасибо вам, — воспрянул надеждой Леха.

Когда вышли из приемного отделения, санитар гоготнул:

— «Спасибо»! Да ты ему в ножки должен кланяться! Он тебя в лучшую палату определил, можно сказать, для избранных. У тебя там один напарник будет, из тихих. А попал бы ты к блатным, по-другому запел бы. Вот, скажем, опустили бы тебя — и все дела.

— Как это — опустили?

— Да ты что, дурак или прикидываешься? — Санитар презрительно перекошил лицо. — Трахнули бы всей палатой, понял?

— Ни фиги! — зло сказал Леха. — Только через мой труп.

— Ну, и забьют они тебя — чего с психов взять. В общем, бросай фигню пороть. — Санитар шмыгнул носом. — И вообще не гоношись. Если чего надо, лучше приди, посоветуйся. Деньги есть? Нет? Ну и дурак. Надо было заначить. Теперь только переводом придут. Ну, потом еще заработаешь. Здесь ларек есть, два раза в месяц можно продукты брать.

— Так что, мне деньги дадут?

— Ни хрена тебе не дадут. У продавца в ларьке ведомости есть — там отмечено, сколько на тебе денег числится. Продукт возьмешь — он тебе отминует. Теперь вот еще что. Если с передачей кто придет — проси денег. За деньги я тебе вино буду носить, понял? Сухое — чирик, портвейн — два. За неукол тоже надо платить. Сестры по два рубля берут.

— За какой еще неукол? — опять не понял Леха.

— Ну, если забьешь, чтоб сестра не колола, когда курс назначат. А вообще держись меня. Я не блатной, я вольняшка, а с блатными свяжешься, обдерут как липку, понял?

...Палата узилась сундуком, уместая в себе две койки и тумбочку. Напротив двери в толстой стене сияло высокое зарешеченное окно, закругленное вверх.

У окна лицом и волосами, седыми до белизны, светел человек.

— Удивляетесь размерам? — с добротой будущего соседства сказал светлый человек. — Это ж бывшие кельи. Узкие же — для усмирения гордыни. Русская-то гордыня вон какая широкая — как поле! Только кельей и усмиришь ее. Ну, здравствуйте. — И он шагнул навстречу Лехе, протягивая сразу две руки. — Романов Алексей, — обозначил себя сопалатник и добавил, поясняя: — Великий князь, наследник российской короны, сын Николая Второго.

Вот они какие, настоящие шизики, понял Леха и вдруг обжегся мыслью: а сам? Разве сам он не шизик в глазах милиции, врачей, санитаров?

Сосед принял Лехино молчание за недоверие и улынулся.

— Вижу ваше недоумение. Вы, конечно, знаете, что всю нашу семью расстреляли. Это вправду так, но лично я уцелел. То есть был ранен, и очень серьезно, но, благодаренье Господу, не насмерть. Лежал, как труп, и повезли меня с остальными вместе, однако нашелся человек, из красноармейцев, пожалел малолетство мое, видя, что дышу. Спрятал тайком, а потом добрые люди выходили. У меня ведь тогда, — сосед коротко кашлянул, — память отнялась. Поэтому, наверно, и уцелел. Семьдесят лет ни о чем не помнил, только на старости лет и озарило, кто я есть... Тут, знаете, как получилось — бутылку с лаком я открывал, а пробка присохла. Я посильнее нажал, горлышко отломилось — мне осколком прямо вот сюда, в большой палец. Аж до кости прошло. Три дня кровь не могли остановить — не шла на свертывание. Оказалось, гемофилия... — Старик выжидательно посмотрел на Леху, но не заметил в его глазах ответного движения и пояснил: — Болезнь так называется. А по-другому — царская болезнь. Ею цари всегда болели. Вот это мне глаза и открыло... Но вы не подумайте, я на престол не претендую: пусть уж все будет как есть... А вам я рад! — внезапно оборвал себя сопалатник. — Одному, знаете, скучно. Потолок низкий, лежишь и кажется — вот-вот опустится...

— А давно вы здесь? — спросил Леха.

— Да, верно, недели две.

— Так долго?

— Долго? — засмеялся сосед. — Ну, что вы! Мы же в карантинном отделении. До выписного нам еще жить и жить. А вообще-то я второй раз сюда попал. Первый раз полгода пролежал, и это еще хорошо. Тут есть такие, что по пятнадцать лет торчат, а есть и бессрочники.

— А что... — Леха примолк, подбирая необходимые слова, — в первый раз не удалось вас подлечить?

— Почему же. Просто я упорствую. Они хотят, чтобы я отказался от своего настоящего имени, а я не могу.

— Хорошо, — сказал Леха, — положим, я лично поверю, что вы князь. А как вы другим докажете?

— А зачем мне доказывать? — удивился сосед. — Кто сомневается, тот пусть и ищет доказательств. Тут ведь какая механика... Простите, вы не представились...

— Леша я, Алексей то есть.

— Ну, видите, как славно — мы с вами, оказывает-

ся, тезки. Так вот, Алеша, здесь как с верой в Бога — либо веришь, либо нет. А доказать невозможно. Можно, конечно, явить чудо, чтоб человек уверовал, да много ли стоит такая вера!

Леха растерялся, не понимая, куда повернула излучина разговора. Зерном из распоротого мешка посыпались мысли, и Леха, прикрывая растерянность, бросил ехидно:

— А что, может, вас высочеством надо звать? А кофею в постель не хотите?

— Ну, зачем же вы так? — огорчился голосом сосед, но лицом остался так же мягок и светел. — Я ведь сказал, что не претендую. В Писании сказано: всякая власть от Бога.

— А что за интерес Богу, — не унимался Леха, — отбирать власть у царя? Раньше-то он царей любил-лелеял!

— Так никакого интереса или любви у Бога нет, — с охотой оживился князь. — Интересы нет, потому что он и так все знает — и назад, и вперед, ну, а с любовью я так понимаю, полюбить одного — значит выделить. А этого Богу никак нельзя, перед ним же все равны, никакого тебе блата.

— И Ленин, и Гитлер? — взвился Леха.

— И Ленин, и Гитлер, — кивнул князь. — Богу-то какая разница? Перед ним все в ответе.

— Ну, и глупо! Понимать же надо! Ленин добра хотел людям, чтобы всем жилось хорошо, по справедливости.

— Так и Гитлер того же хотел. Только справедливость они по-своему понимали... По большому счету, даже не в них дело. Сами люди непостоянны, вот что! Время проходит, глядишь, что добром было — злом объявляют... Вот и еще доказательство, что Бог в дела наши земные не лезет. И нет никакой его воли, а только прихоть.

— Почему же воли нет, а прихоть есть?

— А потому что необъяснима она. — Князь примолк, поглаживая волосы сухонькой рукой. — И вообще Бог ничего не делает сам, а только попускает. И живем мы как бы не вправду.

Леха усмехнулся в половину рта.

— Что ж, может, мне вообще все это снится?

— Может, и снится, — согласился князь.

— Но если это сон, почему же я не могу делать, что хочу? Вот я хочу выйти отсюда! — Леха подскочил к окну и без чувства будущей боли ударил кулаком по лучистым прутьям решетки: — На-те! На-те! — Кожа на костяшках содралась, мгновенно насочились ягодки крови. Леха сунул руку под нос соседу. — Это что же, сон?

— Это? — Князь брезгливо пожегил губами. — Это глупость, а не сон. Вы, Алеша, делаете то, чего в вас на самом деле нет, нарочно делаете, на злобу. Это и есть ваш сон.

— И вот эта кровь? — Леха облизнул разбитые костяшки.

— И кровь. Поймите, во сне человек и есть, и нет. Есть духом, а телом в отсутствии. Отсюда познайте: дух свободен, а тело — темница наша. Свободен же тот, кто хочет.

Куст раздражения заветвился в Лехе. Наследник нашелся! Идиот! Сидит в психушке и воображает, что свободен.

— Ладно, — буркнул Леха, угасая от непонятной тоски, — поговорили — и хватит.

Встал, потянулся, хрустя валежником тела, с размаху бросился на койку. Запахнул на груди пижаму, вздохнул до самой глубины живота и только сейчас по-настоящему понял, где он. Был один Леха — внутри поношенной линиялой тряпки, и был другой Леха — обернутый в кокон пижамы. Куколка бабочки. Да разве вызреет? Леха уже не верил во врача.

Они, наверно, с три короба наобещают, чтобы только слушались и не буянили...

Чего ж теперь делать, как дальше жить? Придумать нужно что-то, но мысли вянут без свежей разгонки... Потом, потом! Еще будет время подумать, решил Леха и незаметно придремал.

Глаза открыл — сестра в палате. Стоит над соседом со шприцем, как ангел со свечой.

— Ложись, царевич! — говорит она князю.

— Да вроде уж все мне, — просяще тянет наследник.

— Какой все! — подталкивает князя сестра. — Еще три раза, кроме сегодня, у тебя же месячный курс.

Покорно ложится князь на койку, спускает штаны, и всаживает сестра в его тощую желто-серую задницу комариный хобот. Длинный укол, большой. Наследник аж захрипел, когда она иглу выдернула. Ушла сестра, не обратив на Леху внимания ни на копейку, а князь так и остался лежать со спущенными штанами. Присмотрелся Леха — у него на щеке слеза блестит.

— Ну вот, не надо было от трона отказываться, — пошутил для сочувствия Леха, — сейчас бы не они вами, а вы ими командовали.

— АТФ это, очень больной укол, — прошептал князь. — Для подкормки мышц назначают. У меня мышцы ослаблены.

— Ну и закричали бы, зачем терпеть?

— Криком здесь не поможешь. — Князь повернулся на бок, подтянул кое-как штаны. — А если есть боль — значит, живой ты, значит, надо терпеть... — Потихонечку оклемаваясь, князь незаметно перешел на «ты». — А все эти «зачем» — это лишние мысли, от главного уводят.

— А что главное? — Леха спрашивал не всерьез, чтобы только отвлечь князя разговором.

— Главное то, что ты видишь меня, а я — тебя.

— Ну, кайф! — засмеялся Леха. — Вы и я — и больше никого! Ни врачей, ни санитаров, ни рыбы, ни мяса!

— Ты не понял, Алеша, — пояснил князь, покачивая облаком головы, — главное то, что ты меня пожалел. А мне тебя жалко. Вот и выходит, что мы главное через другого находим.

— А!.. — махнул Леха рукой. — Главное — не главное... Лучше скажите, когда здесь обед.

— В два.

— Так, наверно, пора уж идти.

— Не-ет, это только в выписном сами в столовую ходят, а нам в кормушку подают. — Князь кивнул на окошечко в двери.

Леха шалашиком сгрудился на койке, головой поттичему закачал. Ох ты, Господи, вот ведь попал! За что? Не в том смысле за что — что начальству районному поперек горла встал, — а в другом смысле, в смысле вообще судьбы. Обиднее всего, что не спросишь ни у кого!

Он спал, и луна стояла прямо над его теменем, протискиваясь студенистым телом сквозь заоконные ветки. Бледные лучи доходили до него, но только холодили кожу. Он озяб и никак не мог согреться под казенным байковым одеялом, переспавшим с тысячей тел и отдавшим им весь запас своего тепла. Потом луна расплылась, как кусок рафинада в черной воде чая, и остался Леха один-одинешенек в провале забвения... Он был — и он был нигде, пока не возник, словно слабенький лучик, голос: «Алексей... Алеша... Леша». «Таня, где ты?!» — рванулся он в никуда. Он хватал руками пустоту, комкал ее и мял, пытаясь прорваться, увидеть знакомый голос, но чем ближе

подходил он к нему, тем тише звучало имя... И уже на последнем усилии услышал он только шорох листвы, встревоженной случайным ветром, бессмысленное, безгубое «ша... ша... ша...»

— Э! Вставай! Вставай же, тебе говорят! Вот раз-долбай!

Слова дрожали далеко и расплывчато, но с каждой секундой обретали все большую четкость.

Голос умолк, и вдруг — хлясь! — жгучая боль закипела в скуле. И еще! И еще! Леха открыл глаза, сел на койке, очухиваясь. Над ним стоял санитар, заноса скрученное в жгут полотенце для следующего удара. Но Леха сел, и санитар не ударил, сдержался. Отбросив полотенце, скривился.

— Кончай косить, сука! Давай на выход. К врачу тебя.

У санитаря мутно блестили плоские пуговичные глаза на таком же плоском лице. Леха задрожал от внезапной ненависти, но буянить не стал. К врачу! Это перевешивало все. Быстро натянул пижаму, искоса глянул на князя — тот рылся в тумбочке, сочувственно не замечая Лехино унижения.

Когда вошли в ординаторскую, врач с веселым любопытством пригляделся к Лехе. Усмехнулся:

— Знаете, а ведь у вас в термосе в самом деле кровь. Первая группа, резус-фактор отрицательный, лейкоциты четыре тысячи, эритроциты четыре миллиона, РОЭ шесть, все честь по чести. Но откуда у вас целый литр крови? Украли в больнице?

Тоска, понял Леха, опять идет тоска. Все ищут легкие, обычные причины, чтоб кровь эту объяснить. Да если б обычные были причины, разве бы он сам не допер, что и почему!.. Леха метнул глазами вбок. Санитар по-прежнему балдел на диване, разнеся по сторонам руки и ноги.

— Можно я вам один на один объясню? — попросил Леха.

Врач прошел за стол, ужался в стул, не отодвигая его.

— Иван, — сказал он санитару, не теряя веселости, — сходи к Федоренко, скажи, чтобы позвонили насчет шприцев.

Санитар с презрительной готовностью исчез.

— Так откуда кровь-то?

— Ну, я вам говорил вчера — у меня в сарае яма с источником есть, вроде как минеральная вода. — Леха сдерживался, нарочно замедляя выход слов. — Только вместо воды эта самая кровь.

— Чепуха какая-то! — Врач дернулся лицом, обрушил руки на стол. — Откуда в сарае может быть кровь?

— Не знаю, — поежился Леха, чтобы убедительнее изобразить удивление. — Но я термос из этой ямы наполнял, факт. Да вы поймите, — Леха почуял, что в голове зарождается комариный звон тревоги, — мне ж ничего не надо. Я ведь за кровь ничего не прошу, какая ж мне выгода обманывать! Мое дело предложить, а вы там сами разбирайтесь, чего с этой кровью делать. Для донорства или еще куда...

— В том-то и дело, что для донорства она не подходит! — Врач помолчал. — Конечно, насчет сарая — это все ваши фантазии, но в любом случае пользы здесь с гульки нос — кровь ваша не свертывается, вот ведь как. Не свер-ты-ва-ет-ся, — как будто даже с наслаждением повторил врач. Он откинулся на спинку стула, точно свежевыделанная шкура. — Значит, не годна для донорства. Есть такая болезнь — гемофилия, это когда...

— Да знаю, знаю я, — грубо оборвал Леха. — Что уж вы меня совсем за дурака держите. Царская болезнь называется. Мне князь... то есть сосед, рассказывал...

— А, князь... — засмеялся врач. — Библиотекарь он бывший, а не князь. Начитался всяких романов, вот и пошла фантазия. Это все на почве стресса — у него дочь и двое внуков в автомобильной аварии погибли. Ну, он и вообразил себя царским сыном... Что-то вроде защитной реакции организма. У него, кстати, и не гемофилия вовсе, а болезнь Верльгофа, разжижение крови, как говорят в народе.

— Значит, не годится моя кровь? — насутился Леха.

— Не годится.

— А может, для каких исследований? — Леха коготками цеплялся за последние травинки.

Врач разогнал воздух лицом — вправо-влево.

— Нет-нет. Бесполезно. Что тут исследовать? Вы же говорите, что эта кровь из земли течет... Так что, мы, — врач всхотнул от пришедшей мысли, — землю будем лечить? Скальпель, что ли, от Курил до Карпат выкуем? — И засмеялся уже в голос, от восторга воображения прищелкнув пальцами.

— А со мной как же? — спросил Леха.

— С вами? Да ничего. Подлечим вас, и все.

Леха ахнул.

— Как подлечим?! Я же не соврал вам про кровь. Вы меня отпустить должны!

Врач повернулся поперек света, отчего стал похож лицом уже не на нож, а на ножовку. И заговорил он совсем другим голосом — визгливым, лесопильным.

— Это мое дело, что я должен, а что нет! Про кровь вы действительно не соврали, но все остальное — полный бред. У вас навязчивое состояние, понимаете вы это? И в ваших интересах слушаться нас. Не будете слушаться — пеняйте на себя.

— Та-ак... — Леха покачался с ноги на ногу, набухая гневной тяжестью. — Выходит, можно человека за здорово живешь держать в психушке без его согласия?

— Ну-ну-ну, не горячитесь! — Врач встал из-за стола, рукою бесцельно подвигал бумаги. — Повторяю: вас проверят и, если все в порядке, выпишут.

— Когда, когда выпишут?

— А это как комиссия решит.

— А скоро комиссия?

— В декабре.

— Как — в декабре? — У Лехи даже голоса не хватило на изумление. Что же этот врач ему мозги крутил?

Обман, сплошной обман, везде силки, капканы, тенета! Впору скулить, выть, рыть от отчаяния землю, но пол здесь дубовый, половицы в кулак толщиной — нору не выроешь, от слонявых борзых не укроешься... Прощай, воля! Прощай? Нет, погоди, мы еще погуляем! Вы мне за все ответите! Вся горечь последних дней, все боли и унижения взорвались вдруг в Лехином мозгу красным тюльпаном. За шумел дикий осинник, всхрапнули лошади, и бросился Леха на врача, не понимая себя.

Э-э, не да того напал, Леха Жихарев! Здесь и не таких видали. Отскочил врач в сторону, а сзади уж санитар набегаёт (сторожил у двери, что ли?). Заломил Лехе руку — и на диван, лицом вниз, в вонючую кожу. А сверху — как с неба — голос:

— Зря вы так, очень зря. Сожалею, но придется вас наказать — чтобы на будущее это не повторялось. — И к санитару: — Сульфазин ему, сейчас же. Ведите в палату, сестру я пришлю.

Повели. По дороге еще один санитар присоседился.

— Пустите, я сам, — сердито попросил Леха, но они только крепче сжали с боков.

Когда вошли в палату, князь вскочил с койки, глянул на Леху, все сразу понял. Наморщил лицо свое от жалости:

— Что же ты, Алеша? Зачем ты?

И вкочкотал, не подходя, пока санитары укладывали Леху на койку и бинтами привязывали руки к спинке. Старались ребята на совесть, нажимали что есть силы, сопели противно. Могли бы и не стараться — давно уже обмяк Леха, матрасными стали руки и ноги. Тут и сестра подросла. Оп-ля! Ловко сверкнула шприцем, спиртом похолодила кожу и — р-раз! — уколола.

И ушли все вдруг, как ветром сдуло. Леха пошевелился — резкая боль по телу. Не удержался, застонал. Подтянул ноги — опять больно. Да больно-то как! По-гадостному больно!

— Сульфазин? — догадался князь.

— Угу, — выдавил Леха. — Вроде так. Это от чего?

— Не от чего, Алеша, а за что. Его в наказание делают, чтоб пошевелиться нельзя было без боли.

— Руки... развяжи, — попросил Леха.

— Нельзя, Алеша. Они в любую минуту могут войти. Увидят в глазок — и все. Только хуже будет. Потом, тебе все равно сейчас нельзя двигаться — пока сульфазин до конца не рассосется... А если я тебя развяжу — и мне укольчик вкатят.

— Трусись, значит?

— Трушу, — спокойно признался князь.

Смирился Леха. Затаился, прикинулся сдохликом. В самом деле: чего беситься? Таня в земле, дома никто не ждет — Дарья думает, что он на заработки сорвался, а кому еще Леха нужен? Здесь же кормят-поят и, если не дрыгаться, не трогают. Чем не радость жизни!

Пошли-поехали больничные дни: по утрам завтрак да два раза в неделю обход врачебный, в полдень — обед, вечером — ужин и долгие до ночи разговоры с князем. А между тем — оправка да лечебные процедуры, анализы-манализы всякие. Уколов Лехе, правда, не назначали, давали только какие-то голубые таблетки с диким названием. Сестра стояла рядом, пока не выпьет. Леха сначала пил, а потом, по совету князя, наловчился прятать таблетку под языком, чтобы потом выплюнуть.

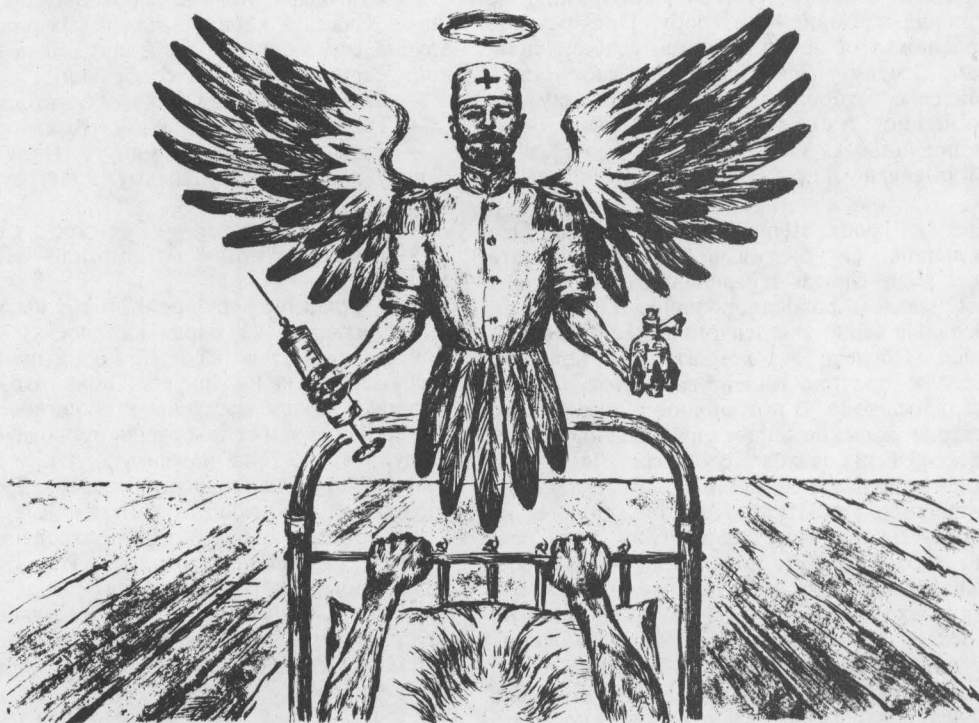
Несколько раз заходил остролицый врач, видя Лехино смирение, одобрительно кивал головой, на вопросы неопределенно пожимал плечами. А недели через три объявил, что карантин кончился и Леху переводят в выписное отделение.

Попал Леха в палату на семерых человек, но баловства здесь не было: всяк старался сам строго держать режим, чтобы дожить до выписной комиссии. Тут даже блатные не косили, дорожа будущей волей. Дружить Леха ни с кем не стал, а общаться — общался. В шахматы играл, в шашки, в «овцы и волки». Ходил на трудотерапию — клеил бумажные формуляры для библиотечных книг. За это стали начислять деньги, по семьдесят копеек за тысячу штук, но на руки не давали.

Прокантовался так с месяц, а тут новость: открывают в подвале столярную мастерскую. Завезли туда верстаки, циркулярку, фуговальный и токарный станки. Занятия с больными стал вести завхоз, по совместительству оформленный надзирателем.

Завхоз был веселый мужик, всех больных называл он ласково-безразлично «Ваня». Когда выяснилось, что Леха, чуть ли не единственный из всех, хорошо знает столярку, завхоз проникся к нему большой симпатией. Потихоньку стал доверять Лехе режущий инструмент, а потом и вовсе поставил бригадиром.

Эх, дерево-дерево! Нежно-гладкое и сучковато-свилеватое, белое, как кожа под майкой, и зеленое, что твой мшарник, розовое и желтое, красное и коричневое! Восковой мягкости и железной крепости! Мало ли перевел тебя Леха на своем веку в горбыль и брус



на лесопильнях, а еще больше пустил в дым да золу на таежных ночевках! Вот и встретились по новой.

Стал Леха от скуки-тоски всякие штуки мастерить: сначала табурет высокий, с ящичком под сиденьем; потом заказали ему шкаф для регистратуры, так уж Леха расстарался — ошкурил фанеру до блеска и морилкой проморил, и лаку положил пять слоев. А к каждому ящичку ручку выточил фигурную из обрезков дубовых.

Один раз под воскресенье, когда трудотерапии не было, пришел в Лехину палату завхоз. Был он в рассудительной грусти и сказал, не здороваясь:

— Эх, мужики! Теща у меня померла, метр восемьдесят, это без волос и тапочек. Царствие ей небесное. Хорошая была женщина, ничего не скажу. Так я чего толкую: гроба нигде под рост не найду. Весь город объехал, ети их!

— А в Барском были? — проявился кто-то в углу.

Завхоз только махнул рукой: какой там!

— Да неужто, мужики, не выстроим гроб-то? — с подначкой кинул он. — Чего там и делать — стенки да крышка. А мое отношение вы знаете.

— Выстроим, — сказал Леха.

— О! Это дело! — Завхоз подскочил к Лехе. — Я тебе, Ваня, и дуба хорошего дам на крышку, а низ и стенки можно из елки.

Леха вроде как обиделся за покойницу.

— Не-е, на низ тоже дуб давайте или хотя бы березу.

— Ладно, ладно, будет тебе береза, — поспешно согласился завхоз. — Только не продинамь — гроб мне к завтраму нужен.

— Так вечер уж почти! — удивился Леха.

— Ну, что вечер? Ночь-то вся наша!

Завхоз исчез и появился сразу после ужина. Провел Леху в мастерскую, вынул из сумки бутылку портвейна.

— Это тебе сейчас, а завтра водки принесу. Давай, Ваня, работай. Я тебя на ключ закрою, а утром, кто будет дежурить, откроют, я договорился.

Выкатился завхоз, а Леха — за работу. Но торопиться не стал. Сначала снял ножи с фуговального станка, поставил точильный круг и заточил их по

новой, поотложистей. Потом промерил доски, прикинул, что куда, разметил...

На свежезаточенных ножах досочки фуговались, как ласточки! Правда, и выдержки они были хорошей, не меньше как двухлетней... К полночи, когда в репродукторе гимн заиграли, Леха уже начал собирать дно и стенки. Жаль, мало времени, а то можно было б не на гвоздях, а на шипах собрать гроб, да проолифить как следует, чтоб дольше не гнил...

Утренний гимн он встретил, заканчивая отделку — вставляя обрезки шпона и щепу в мелкие щели и шлифуя шкуркой стыки. Где-то к семи кончил наконец работу. Сел на верстак рядом с гробом, потянулся с окончательным удовлетворением. Достал портвейн, который отставил на время работы, чтобы не мозолил глаза, и открыл бутылку. Стакана нигде не нашел и стал пить из горлышка. Отпив несколько глотков, снова прицениваясь посмотрел на свою работу.

Ему вдруг захотелось лечь в гроб, примерить его на себя, может, даже почувствовать то, что чувствуют покойники. Леха перекинулся через бортик гроба и аккуратно вытянулся, прислушиваясь к телу. Немного жестковато, а так ничего, даже просторно. Леха чуть поворочался, но каких-то особых, покойничьих мыслей не возникало. Крышка, догадался он. Нужно накрыться крышкой, чтобы уж совсем отсечь себя от земли живых, тогда и мысли придут последние, лишенные света.

Леха встал, подтащил крышку к гробу и положил так, чтобы легко было надвинуть ее изнутри. Потом снова скользнул в гроб — с чувством уже привычного обиталища. Старательно, как одеяло, натянул до конца крышку. Она точно и плотно попала в уготовленный паз. С огорчением увидел он, что в крышке все же есть две-три мелкие щели. Ладно, закрою глазетом, подумал Леха. Зато эти щели делали гробовую темноту нестрашной, близкой и живой. А ведь вечной тьмы и нет, ясно понял Леха, везде какой-нибудь луч да блеснет! Даже в гробу. И так хорошо ему стало от этой мысли, от сухого теплого запаха свежеструганого дерева, что скользнула под рукою кунница, и легкая птица овевляла его лицо...

Леха очнулся от тишины. Не сразу сообразил, где он. Потом понял-вспомнил — в гробу. Правда, гроб почему-то не лежал, а почти стоял со слабым спинным уклоном. С минуту Леха приходил в себя. Наконец он решился и осторожно нажал на крышку. Но удержать ее не смог, и она упала. Уф-ф! Слава Богу, грохота не получилось. Оказалось, что гроб стоял меж стеной и диваном, и диванные подушки съели шум.

Леха вышел из гроба. Шуря глаза, огляделся. Это явно не больница. Он был в небольшой комнате человеческого вида. Сквозь занавешенные белым ситцем окна прорывалось солнечное сияние. По стенкам жались мебельные вещи, как девчонки, не приглашенные на танец. Посреди же комнаты, на большом обеденном столе, под простыней, натянутой до подбородка, бугрилось тело. В потолочное никуда строго смотрело старое женское лицо, превращенное смертью в мужское. Теща завхоза, сообразил Леха. Значит, пока он пьяненький лежал в гробу, его прямо так сюда и приволокли. И как это у них крышка не свалилась! Впрочем, пригнана она впритык, с внутренней фаской... Стоп. Но ведь получается, что он сбежал из больницы... И едва сверкнула эта мысль, как Лехе вправду захотелось бежать. А, черт возьми! В доме небось полно людей, незаметно не выйдешь. Если б еще одежда на нем была не больничная...

Обиднее всего, что, как только мелькнула мысль о побеге, Леха сразу понял, куда ему нужно идти. Обрывками он думал о том и раньше, но только сейчас ясно увидел этот дом — высокий беленый фундамент, флюгер на крыше, резные наличники... Там, там помощь и спасение — в таинственных, легких руках бабы Полины!

Где-то за стеной послышались шаги, голоса. Сейчас войдут! Испугом Леху бросило к окну. Отдернул занавеску, мельком глянул за окно. Увидел садик-огорожок, маленький, соток на пять, обжатый острыми зубами штакетника.

Леха схватился за шпингалеты. Верхний открыл сразу, нижний заело. Пришлось слегка потрясти раму за ручку. Порядок! Леха распахнул окно, перебрал ноги через подоконник — все тихо-мирно? — и прыгнул на завалянку. Бежать через садик-огорожок не решился — могли увидеть из окон. Безопаснее было подвести тело к краю дома, глянуть из-за угла. Повезло! Во дворе никого нет. Здесь угол террасы, и из комнат дорожка к калитке не просматривается. Всего десять шагов — и он на свободе. Раз... два... три... четыре... На счет «десять» рывком на себя щитовую калитку, и нос к носу — завхоз.

— Ваня?! Ты чего здесь?

Что-нибудь соврать, быстрее!

— Да это, как его... вы же гвозди забыли — для крышки.

— Что? — Завхоз закричал смехом, как утка. — Ну ты, Ваня, чудак. Что, у меня дома гвоздей нет? Ну ты, тля, даешь! И отпустили ж тебя... Ладно. — Он замолчал, что-то соображая. — Васька тебя отвезет назад... Васька! — заорал завхоз.

Из «зилка», цепеневшего на другой стороне улочки, у колонки, вылез апельсиново-рыжий шофер и не спеша подчапал.

— Отвезешь этого шибздика в больницу да побыстрей. Нам потом на рынок надо смотаться.

— Да чего машину гонять! — Леха с нарочным усилием зевнул. — Сам небось доберусь.

— Ну да, доберешься. Тебя в этом барахле на первой остановке захомутают. Могли бы, дураки, одежду тебе нормальную дать, раз уж отпустили... Да, погоди... — Завхоз отпузирил карман и достал кошелек. В Лехину руку перекочевал трояк.

Не благодаря, Леха вслед за Василием пошел к машине. Залез в кабину. Рыжий Василий остервенело врубил скрежещущую передачу. Леха напрягся головой. Через пару минут сообразил.

— Слышь, Василий, по пивку не вдарим?

— Ты че? Времени нет, — отозвался рыжий.

— Да ладно, мы ж на минуту. Пару выпьем здесь, а пару я в больницу возьму... Ну, будь человеком, Вась!

— Хрен с тобой! — быстро сдался шофер. У «Овощей-фруктов» затормозил. — Давай, что ли, деньги.

Леха отдал шоферу трояк, и тот выскочил из кабины, прихватив из бардачка авоську. Хозя-яйственный! И ключ из замка зажигания вынул, собака! Леха подержал глаза на шофере, пока тот не провалился в дверной проем магазина, и скользнул на его место. Выдернул из замка зажигания провода. Это провод на массу, а это... тоже на массу... Ага, а вот это ближе к жизни, это у нас плюсовая клемма. Теперь закрутим провода на зажигание и контакт на стартер. Руками Леха держал провода, ногой притравливал газ. Завыл стартер, и машина дернулась. Ишак, обругал себя Леха. Забыл снять с передачи. Рычаг — на нейтралку, и снова соединил провода. Завелась. Леха глянул по сторонам и на первой передаче, потихонечку, не слишком газуя, чтобы не слышно было в магазине, двинул вперед.

Дорогу он знал. Это была южная окраина города, недалеко отсюда находились досаафовские шоферские курсы, на которых Леха учился перед армией. Он ехал по улице Телеграфной, за ней шла улица Павлова, а дальше начиналась дорога на заброшенные глиняные карьеры. По ней, он помнил точно, можно выскочить к Рожая. На Рожая, на речку, и была вся надежда.

Выехав на соседнюю улицу, Леха давил и давил на педаль газа, бросая машину в разинутые пасти колдобин. О-па! О-па! Било и трясло, как в танке. Проку-карекали последние домики, частные, кирпично-зажиточные, и город кончился. Дорога стала малость ровнее — угадывалась от давней неезды и дождей.

Движок рычал с хрипом, как астматик. Леха пожалел его и сбросил газ. Японский городской, а ведь выбрался! Веселая уверенность била тело мелкой дрожью.

На большом просторе поднялся ветер. Встав на задние лапы, он гнал на машину клубы пыли. Мягкая и теплая пыль нянчила грузовик в своих волнах. Она забиралась в кабину, струилась по приборному щитку, закрывая цифры. Птичьими перьями она касалась потной кожи и оседала на ней рыхлым налетом...

Так, в облаках пыли, Леха и въехал в реку. Тяжелый от воды донный песок хорошо держал машину, и ехать было легко. Дыша жарой, Леха крутил руль, пока вода не залила катушку зажигания. Двигатель зачих. Леха открыл дверь и шагнул в воду. В испугленные бывших страданий прохлада омыла лицо, и руки, и тело. Стоя по грудь в реке, он снял больничную одежду и пустил ее по реке. Плыли, плен!

Леха лег на реку и, оттолкнувшись от капота машины, поплыл по течению. Опустив лицо под воду, он видел, как сикильдявки обшаривают воду серебряными пальцами своих тел. Подняв лицо, он видел большое и долгое туловище реки, с трепещущими осколками солнца в каждой точке. Течение было покойно, но вскоре водоворотные раны начали обозначать в теле реки чужие предметы. На мелководе вращались в песок тракторные шины, балка от заднего моста, кожух электродвигателя и другие человеческие вещи... В одном месте Леха увидел вершу; из любопытства вытащил из воды — в ней оказались два карасика. Карасей он выпустил, вершу выбросил на берег ниже по тече-

нию. В другом месте, зацепившись за корягу, колебались обрывки сети. По концам Леха понял, что их резали ножом, видно, спасаясь от рыбнадзора. Эх, сейчас бы на север, заиграло в нем было, но лишь на миг.. Не сейчас, потом, потом. Сначала — к бабе Полине...

Может, час плыл, может, больше, руки усталостью заволокло.

Вылез Леха на берег, на горячий песок и придремал...

Не спи, не спи, парень! Ночь близко, а свет низко. Кто ж вместо тебя ночью взбодрствует?

Леха глянул вверх сквозь смутные воды сна и понял, что это вечер и что над ним стоит человек. Его лицо, маленькое и сухое, сжалось, как вылущенный из скорлупы катышек ореха. Каждая складка лица сгоняла к глазам всю тоску прожитых лет.

— Дед, дай лодку, — сказал Леха, привстав на локте.

— Ты сперва подымись, — обидчиво зажмурил губы дед и, дождавшись, когда Леха возвысится, сообщил: — Лодка у меня есть, но дырявая, хоть рыбу ей лови. А я теперь плаваю редко, я пасеку стал держать. Раньше по десять центнеров качал, а прошлый год у меня двадцать семей от варроতোза померло, во как.

Леха думал, не говоря. Старик как будто испугался его молчания и сказал:

— Есть у меня, правда, другая лодка, но она не моя, отдать тебе не могу. Ты ж не вернешь.

— Верну, — возразил Леха без правды в голосе.

— Врешь ты, — спокойно сказал дед. — Когда тебе возвращать? — Он сузил глаза до безглазия и враз открыл. — Ладно. Сам тебя отвезу. Тебе куда — в Маслово?

— В Сельцы.

— Дале-еко.

— Дед, я бы заплатил, — голосом рванулся Леха, — да нет у меня ничего, ни копейки нет.

Старик оглядел Леху, стоящего перед ним в одних трусах, и захихикал тоненько, как лобзик.

— Какие деньги! Что ты! У тебя и карманов нету, чтобы деньги лобжить. Ну, пойдём, что ли...

Дошли до припрятанной на берегу лодки.

— Погодь здесь, — сказал старик.

Он ушел и вернулся минут через двадцать с веслами и холщовой сумкой. Из сумки вынул штаны и рубаху.

— На, одень.

— Спасибо, — скромно порадовался Леха. В самом деле становилось зябко. Вечерело, и от реки тянуло прохладой.

В чetyре руки столкнули лодку, подкладывая рычаги. Леху старик посадил на корму, сам сел на весла. Вечер поплыл по реке, а они — ему навстречу. Солнце, низкое, огромное, уже проваливалось за дальний лес. Низинные места кончились, пошли крутые, ломаные берега; и река завилалась, как собачий хвост. Солнце уходило то вправо, то влево, а потом и совсем пропало, оставив только отсвет на вершинных облаках.

— Отдохни, дед, — предложил Леха. — Давай я погребу.

Вместо ответа старик сказал, длинно вздыхая:

— И сколько ж мне еще вас возить?

— Кого это — нас?

— Ну, вас, вас всех, — остался на своем слове старик. — Вот наказание Господне. Вожу, вожу, а кто ж меня-то отвезет? Что ли я без смерти останусь? Мне ведь девяностый скоро стукнет... Слушай, малый, — старик качнулся к корме, — а то вертаемся назад, а? Останешься у меня жить, пчел научу держать, сберкнижку на тебя переведу. Слышь, парень?

— Не, счас не могу, — без сожаления ответил Леха. — Дело у меня. Вот сделаю дело, тогда посмотрим.

— Да не вернешься ты! — Дед даже весла бросил, чтобы рукой махнуть.

— А ты, дед, почему знаешь?

— Так я ж людей в последний раз вожу. Перевозчик я.

Так сказал он это, что у Лехи сердце опустилось, в груди пустота заледенела. Что он плетет, этот старик?

— Какой еще перевозчик? — крикнул Леха с отчаянием.

Старик подержал слова внутри и указал рукой на берег.

— Паром тут раньше ходил, до войны еще. А там деревня была. Дворов под сто, не меньше. Теперь и печки не сыщешь. И кирпич растащили, на лодках, на телегах все увезли.

— Ну и черт с ним, — озлобился Леха. — Ты-то, дед, здесь при чем?

— А при том, — свечкой поднял палец старик, — что раньше я при пароме был, и люди были, и жизнь, какая ни есть, была. А теперь я для случайности живу. Нарочный человек здесь не ходит, а тот, у кого на лбу печать горит.

— Знаешь, дед, — покачал головой Леха, — я только что от таких, как ты, убежал. Из психушки, ясно? Для тебя место освободил. Ты поторопись, пока не заняли.

— Чудной ты, — засмеялся дед. — Я отсюда никуда уйти не могу. Вдруг какая душа забредет — кто ж ее на тот берег переправит? Вот если б ты на подмену мне пошел, я б хочь куда, хочь в эту самую психушку.

— Дед, а ты давно здесь? — ушел в сторонку Леха.

— Давно — не давно, а шостый десяток будет.

— А до того?

— А до того хозяйство вез, шесть душ у нас было, пока не война. В солдаты б взяли, да я припадочным сказался. Отваров мне дали знающие люди. Я попил и высох, как щепка. Колотить меня стало на каждом дыхе. Ну, и ослобонили меня от мобилизации. А все равно, как пришли немцы, я в лес пошел, боялся, что в Германию увезут. Баба моя еду мне носила, немцы ее усекли, думали, партизанам носит. Она меня не сказала, так стрелили ее. — Старик перекрестился. — Мой грех. Остался б дома — ее бы не погубил. Может, за то и живу при реке.

— Ну, а дальше, дальше что? — подстегнул Леха.

— А ништо. Померли все дальше, вот что. Я один и живу... — Дед высморкался в руку и, скособочившись, обтер пальцы в реке. — Ты, парень, верно, голодный. Возьми там в сумке хлеб и мед, поешь себе.

Старик опять взялся за весла, а Леха наклонился над сумкой. Хлеб был черствый, почти сухарь. Леха снял с литровой банки полиэтиленовую крышку. От меда пошел нежный дух.

Леха жадно сожрал весь хлеб, наматывая на него толстые, липучие спирали меда. В горле посушело.

— Дед, а попить нету?

— Как нету? Пей — не хочю. — Дед показал на реку.

— Да... грязная вода-то, — замылся Леха.

— А тебе не все ль равно?

— Нет, дед, не все равно. Может, еще заражусь чем. А я болеть не хочу. У меня еще дело есть.

— Ну, раз дело... Жалко мне тебя.

— Да что ты заладил, дед! Чем я тебя таким жалоблю?

— А тем жалобишь, что и рыба. Я вот, скажем, щуку когда ловлю, на дорожку. Поймаешь ее, а она ведь живая. Хочь и хичная рыба, а жалко. Живот ей

вспорешь — там рыбка, а то и две. Вот оно как, парень, сперва она всех, потом, значит, ее съедят, как жертву то есть. Вся жизнь на жертве и построена.

— Почему же вся жизнь?

— А ты сам посуди: каждый, кто есть, или охотник, или зверь. Не ты съешь, так тебя съедят. Все твари так.

Леха на секунду усомнился, но тут же вскинулся победно:

— А пчелы ваши, а?!

— Пчелы? — усмехнулся дед. — Что ж, пчелы. Они ведь пыльцу у цветов крадут, и трутней сбивают они. Видишь ты, везде одно. Никак не получается, чтоб без жертвы.

— Да разве нельзя так устроить жизнь, чтоб никто никого не убивал?

— Нельзя, — серьезно сказал старик. — А как бы ты выбрал, кто ты есть: охотник ты или зверь дремучий?

— А если я не хочу ни охотником быть, ни зверем? — вошел в азарт Леха.

— Ай, тебя не спросили! Ты уж с рождения хичник. Человек самый хичник в мире. И деревья валит, и зверя бьет, и рыбу, и птицу всякую. Опять же землю режет, нутро ей поганит. Вот уж хичник так хичник! Одно забыл: и его черви пожрут.

Леха только покачал головой.

— Ну, дед, у тебя и философия.

— Дурак ты, парень. — Старик сожалительно зевнул и объяснил: — Чужими словами говоришь, потому и дурак.

Солнце давно уж село. На бледноватом небе проступила прыщавая сыпь звезд, а позади лодки вяло поднималась луна, поливая лодочный след будто пальным оловом.

— Да давай я погребу, — предложил Леха.

— А что, и погреби, — согласился на этот раз старик. — Тут место хорошее, глубокое. Только близко к берегу не бери, на сеть можно напороться. Браконьерят иногда ребята. Они за сеть и садануть могут из ружья-то... Ну давай, милый, а я вздремну. Как луна над головой станет, ты меня буди.

Они поменялись местами, и старик, подстелив на дно балахон, ловким макаром ужал свое тело между бортами.

Леха, взявшись за весла, не стал рваться из жил, а постарался найти свой темп, чтобы не потерять силу раньше времени. Весла он опускал в реку с аккуратным замедлением, чтобы не наделать лишних брызг. Вода тихо-тихо дышала, ворочалась, даже постанывала, как человек в беспокойном сне.

Луна наконец уперлась в макушку неба, и Леха позвал:

— Дед, а дед! Просыпайся, время уже.

Старик проснулся и сразу сел прямо. Глянул кругом.

— В точку вышли, — объявил он. — Давай к тому берегу.

Минут через двадцать лодка ткнулась в песок. Леха вылез и хотел помочь старику, но тот остался в лодке.

— Я тебя привез, теперь поплыву назад, — сказал он и с надеждой глянул Лехе в глаза: — А может, останешься?

Леха помотал головой. Старик вздохнул глубоко.

— Ну, как знаешь. По темноте не рыскай, заплутаешь, гляди. Пережди до света, уж немного теперь. Костер пожги для согрева. На вот... — Он пошарил в кармане куртки и бросил Лехе коробок. — Ну-ка, толкни меня.

Леха зашел по щиколотку в воду и сдвинул мыс лодки. Загребая одним веслом, старик поставил лодку

кормой к берегу и поплыл. Доплыл почти до середины и вдруг крикнул:

— Прощай, дурень!

Остаток ночи Леха просидел у костра, греясь и завороченно уйдя глазами в смутную игру огня. Дорогу пошел искать не с рассветом, а дождавшись дня — чтобы народ разошелся на работы. Пока ждал, углядел кустики ежевики, поел в детское удовольствие. Найденная тропинка вывела из леса к ферме, где у длинного коровника колготились бабы и в сторонке торчал тракторный прицеп с бидонами. Леха обошел ферму по краю леса, вышел на большак. Метров через пятьсот завиднелись дома.

Уже припекало. Сонное марево дрожало в воздухе. В теплой пыли валялись куры; у колодца голопузые малолетки мучили игрою кошку. Старик в овчинной безрукавке и валенках дремал на подзаборной скамье. Беременная девка лузгала семечки на автобусной остановке. Деревня как деревня.

Дом бабы Полины Леха помнил хорошо — он стоял на берегу пруда и еще издалека был виден флюгером на коньке крыши. Пруд, правда, почти высох, но флюгер уцелел. Подходя к дому, Леха со страхом подумал вдруг, что и бабка могла высохнуть, как этот пруд, умереть... Открыл калитку, поднялся на крыльцо. Наличники от дверного косяка отстали, перила расшатаны.

Постучал. Никакого ответа. Леха толкнул дверь — она открылась. Ступил в узкие сени. Толкнул вторую дверь, и та распахнулась легко. Он вошел в комнату, перегороденную до середины шкафом и фанерой. Из-за фанеры зашебуршало.

— Митя, ты?

Бабкин голос, обрадовался Леха. Жива, значит.

— Кто там есть, сюды, милай, сюды проходи, — шепеляво позвала бабка.

Леха шагнул за фанерную перегородку.

Баба Полина лежала на кровати под лоскутным одеялом, щуря глаза на гостя. Большие коричневые руки топорщились поверх одеяла. А лицо тихое, и глаза ясные.

— Кто ты, милай, я плохо слышу.

— Не узнали, бабуль, — усилил голос Леха. — Я у вас раньше был, пацаном еще. Вы мне уху заговаривали.

Старуха закивала. Что ж, все может быть.

— Сам-то я из Карачарова. А вы что, приболели?

— Да нет, сыночек, не болею. Чуток послабела я. Как зять помер, с тогда и послабела. А все понемножку на огороде вожусь и по дому работаю... Это я так легла полежать, — будто повинилась старуха, — сейчас встану.

— Да вы лежите, лежите, — замахал руками Леха и не удержался, спросил, как в воду бросился: — Бабуль, а вы больше не заговариваете?

— Как же, милай. — Баба Полина глянула на него светлыми глазами. — Если нужда большая, то и заговариваю. У тебя что за напасть? Или за другого пришел?

— Вроде бы и за другого, а вроде и нет. — Леха замялся. — Просто заболел не я, а... Ну, в общем, земля как бы заболела, кровь из нее течет.

— Чего течет?

— Кровь, говорю, течет! — чуть не крикнул Леха.

— Во как, — в удивленном сомнении покачала головой старуха. — С чего ж она течет-та?

— Да я и сам не знаю. Я вот чего пришел — как бы заговорить ее, землю эту? Чтобы кровь не текла.

— А ты, милай, значит, не ведашь, с чего это?

— Понятия не имею.

— Так я скажу тебе, сынок. Это кровь не просто кровь, а убийственная. Как людей убивали, так она

стекала, и земля ее в себя брала. А теперь все, переполнута земля-от! Не хочет больше нашей кровушки, берите, говорит, назад, куда хошь девайте, а я ее больше держать не могу.— Старуха говорила твердо и прямо, куда и шепелявость ее пропала.

— Ну, хорошо,— не сдавался Леха,— а заговорить ее разве нельзя? Я ж помню, как вы мне в детстве голову заговорили, и кровь остановили, и нарыв прошел.

— Так у тебя ж другая кровь — живая, а тут кровь убиенных, мертвая, значит. Я за ее не возьмусь. И никто не возьмется, такого знахаря и не ищи.

— Бабуль, а может, попробуете? Я вам сколько хотите заплачу. Привезу и отвезу вас на машине, а, бабуль?

— Куды там, милай! Да кабы тут весь причет заговаривал, и го б не вышло. Нет у отдельных такой силы. А всех разве съединишь!

— Ну а как вы это делаете? Скажите мне, я хоть сам попробую,— в последнем отчаянии попросил Леха.

Бабка строго поджала губы.

— Ишь ты, какой прыткой! Все тебе Расскажи да покажи... А что ты за человек, а? Откуда мне знать, может, ты дурной какой. На злобу пойдешь колдовать если?

— Да ну! Какой я дурной! У меня кровь в сарае течет, вот что. Если б не кровь, я б и не пришел.

— Знаешь, чего, милай,— бабука вдруг подобрела,— у меня за божницей бумажки есть, достань-ка ты их мне.

Леха обернулся. Высоко на стене, на узкой полочке, стоял киот с несколькими иконками и лампадкой. С трудом дотянувшись до полки, он достал из-за киота ворох бумажек и фотографий, подал бабке.

— Не вижу я ничего без очков,— сказала она, подержав бумаги в руках,— погляди-тко сам, там записанное должно быть, внучок мой переписывал.

Леха взял бумаги обратно. Так... Облигация государственного займа... елки-палки, сорок девятого года! Что ж она не погасила-то? Рецепты на лекарства. Письма. Квитанции окладного страхования... Ага, вот это, кажется, то, что надо. Развернув пожелтевший листок из школьной тетради, Леха увидел круглые детские буквы и в минуту прочитал.

Заговор от истечения крови

На море, на океане, на острове Буяне, лежит бел горяч камень Алатырь. На том камне Алатырь сидит красна девица, швея-мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, руду желтую, зашивает раны кровавые. Заговариваю я раба Божия от пореза. Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань!

— Да это чепуха какая-то,— скривился Леха. Поднял голову и вдруг увидел, что бабука смеется — тихо и сухо, будто листок сухой на ветру шелестит.

— А ты что ж, милай, не с чепухой ко мне пришел? — оборвала бабука смех. — Вон ты какой, на тебе воду возить можно, а ты ходишь, сказки плетешь, свет людям застишь.

Совсем сломался Леха от досады. Ничего не сказал бабке, бросил бумажку на стол и пошел вон.

Выйдя на крыльцо, постоял секунду-другую и побрел к калитке, даже и не пытаясь соединить в голове разорванные, как сети, мысли. Едва положил руку на калиточный брус, как увидел, что по дорожке от пруда поднимаются трое. Их лица выступили из тени деревьев, и Леха ахнул. Господи, это ж эти, ученые по сказкам! И сюда, значит, добрались.

Впереди важно выступал Эдуард Петрович, держа в одной руке наплечную сумку, а на локте другой — свернутый пиджак. Позади, чуть отстав, о чем-то спорили Женя и девушка.

Ух, как не хотелось Лехе встречаться с ними. Не потому вовсе, что подшутил он над ними у себя дома, и не из-за дурацкой одежды своей, а просто было в этой встрече что-то такое глупое, что уж совсем уязвило Лехино сердце. Отступив на несколько шагов, он увидел, что идут они точно к дому бабы Полины. Леха оглянулся. Позади за редкими вишнями стоял сарайчик с поленицей дров. Туда! Леха пригнулся и, крадучись, побежал к сараю. Пускай они войдут в дом, тогда можно незаметно уйти. Добежав до сарая, Леха повернулся передом к калитке. Еще не вошли. Отступая полубоком к углу сарая, он не приметил на земле старые вилы без ручки, зацепился ногой и, потеряв равновесие, стал падать. Успел выбросить руку и ухватиться за поленицу, но выдернулись полешки, и верх поленицы, рушась, повалился в его сторону; краем глаза Леха успел заметить, что дрова сучковаты и наколоты слишком толсто, а в следующий миг он уже окончательно падал на землю, виском прямо на ржавый палец гвоздя, торчащий из обломка доски...

Он летел и летел вниз, как в какой-то забытой детской сказке, облепленный липким мраком отчаяния. Казалось, не было конца провалу, яме, в которую он падал. Иногда как будто ветки, пружины, подхватывали его, но, не удержав, роняли вниз. Мысли исчезли, осталось только смутное чувство падения, падения, падения... Но время пришло, и кончился мрак, и чудный зеленый свет вспыхнул вокруг. Леха стоял на крепкой земле и в изумлении сердца смотрел перед собой. Все, что было раньше, отступило в Бог знает какую даль, стало ненужным, мелким, букашечным. А здесь, рядом с ним, красной стеною золотились вековые сосны, в низине чешуйчато мерцала река, и огромный луг восходил глубоким духом пойменных трав. Сразу же за лугом, где река изгибалась серпом, на опушке леса шла домовитая работа. Бобры, ловко зажав в маленьких лапах топоры, обтесывали бревна, медведи подкатывали бревна к срубам и по указаниям волка-бригадира укладывали венцы, собаки крепили лаги, зайцы таскали мох, дятлы конопатили щели. Пчелы, жужжа от усердия, вожили рамы, кабаны месили глину, а лисы обмазывали фундамент и основание печки. Сколько видел глаз, трудились на опушке всякие малые звери, каждому находилось дело по его разумению. И самые породистые, и последний цунек — все рядом! Вжикали рубанки, звенели лучковые пилы, стучали молотки, и столько ласкоты и вечной заботы о крове было в этих звуках, в слаженных движениях зверей, угадывающих друг друга даже спиной, что Лехе мучительно захотелось к ним, в чудный звериный лес, где думают руки и тело, а голова, свободная от хлеба насущного, дышит одною чистой любовью...

Он быстро и невесомо пошел вперед, но, когда опушка была совсем уже рядом, вдруг с ужасом понял, что впустую перебирает ногами, словно под ним навсегда кончилась земля, и сколько бы ни шел он теперь вперед — сто! тысячу! сто тысяч лет! — ему все равно никогда не сделать того последнего шага, что отделяет его от зверей. Он будет идти и идти, пытаясь поймать ступнями теплую ускользающую землю, и вот она, вечная казнь его, — видеть этот очарованный лес и не мочь войти в него даже дыханием...

1986—1988 гг.

СССР
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Формы «Б»
ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ.
ПРИ УТЕРЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.

Управление ИТЛ. АМ
почтовый ящик 244/9

4-ДЭ

Справка № 0000275

Выдана гражданину (ке) Разгон
Леву Эммануиловичу 1908

года рождения, уроженцу (ке) г.р. Тарки
Могилевской области

гражданство (подданство) СССР национальность еврей

в том, что он (она) с 17 августа 1960 г.

содержался (лась) в тюрьме и с 2 июля 1955 г.

освобожден (на) за прекращением дела в порядке ст.ст. У. 125

УПК (УК) и следует к месту жительства
г.р. Москва

железной дороги.

7 (Намечено)
Кожухов

Секретарь



Лев РАЗГОН

БУНТ НА БОРТУ

Рассказ

«...Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото кружев с розоватых брабантских манжет».

Я смотрел на лицо капитана Намятова, где попеременно краска ярости сменяла бледность страха, на рефлекторные подергивания руки, тянущейся к кобуре нагана, и пытался вообразить, как с потертых обшлагов капитановой гимнастерки сыплются лепестки розоватых брабантских манжет...

— Чего лыбишься-то?! Вам это что — смешки?!

Ну, не объяснять же Намятову, что он карикатурно вызвал в моей памяти знаменитые строчки Гумилева.

— Я же вас предупреждал, гражданин капитан, что не нужно заводиться с ними.

— А чего не заводиться? Такие же зеки, как все. Подумаешь, хуаны черномазые! И не таких ломали! Коминтерновцы у меня сортиры чистили, а здесь эти пацаны мне бунт устраивают — они, видите ли, испанцы — тоже мне гордая нация! С быками привыкли драться...

Признаться, не ожидал от капитана Намятова такой эрудиции: даже слышал про бой быков в Испании.

— Так вы бы им все объяснили, гражданин начальник. Сказали, что-де прощаете их, все зачеты восстанавливаете и этого надзирателя, что обозвал их, убереете с командировки...

— То есть как это я им объясню? Когда они самому начальнику лагеря, самому полковнику сказали что-то матерное по-ихнему. Ходэр — это что такое? Буквы те же.

И вот тут-то мне следует объяснить, с чего это у капитана Намятова пострадали не то что розоватые брабантские манжеты, а все его капитанское величие и насмерть усвоенное убеждение, что его власти никто противостоять не может, ибо в его представлении это и была советская власть.

Смерть тирана — любого тирана — всегда не только приятна, но и интересна. Ибо вслед за ней неизбежно начинаются реформы, изменения, перемещения. Часто они бывают идиотическими, бессмысленными, ухудшающими то, что и раньше было плохо. «Хоть гирише, да иныше» — это доподлинная, выстрадавшая народная мудрость. Значит, с марта 1953 года, с того блаженно счастливого дня, когда мы готовы были пуститься в пляс под траурный марш Бетховена, началась для всех нас непрерывная полоса реформ. Выгоняли по «бериевской» амнистии уголовников, ломали лагпункты и переделывали их в поселки, куда якобы приедут завербованные лесорубы; разделили лагерь на два: тот, что вроде продавал зеков для работы, и тот, который как бы нанимал этих зеков, с их помощью валил лес и вообще что-то производил. Все эти великие реформы, затейные светлыми умами с Лубянки и Кузнецкого моста, лопались с таким громким и вонючим треском, что старые, опытные зеки, не имеющие никаких шансов стать объектом либеральных реформ, помирали со смеху.

Амнистированные быстро вернулись назад с новыми сроками и вполне довольные. Побыли на воле, попили, пограбили, побабилась, отвели душеньку и возвратились в родной дом, получив по новому либеральному уголовному кодексу вполне сносный, сравнительно с прошлыми, небольшой срок. В бывших лагпунктах вместо нар поставили кровати, застелили их простынями и прекрасными шерстяными одеялами. Потом привезли туда «завербованных»: чахлах молодых мужиков и баб, сохранившихся еще чудом в лесах Мордовии, Чувашии, Удмуртии. «Чудь начудила и меря намерила...» Все, черт, стихи вспоминаются в самое неподходящее время! Но чудь и меря вовсе не собирались допиливать прикамскую тайгу. Через месяц-другой они удрали, забрав с собой

одеяла, простыни, тиковые чехлы с матрацев и даже подушки, набитые какими-то особыми жесткими перьями неведомых птиц. Все удрали. До одного. Кровати, пока их не разворовали и не продали на сторону, увезли, снова поставили привычные, родные нары и опять начали возводить совсем недавно уничтоженную зону.

Из великой реформы с разделением лагеря на тюрьму и производство ничего не вышло, кроме разных смешных ситуаций. Тюремщики, что брали в зоне зеков и возили их лес пилить, конечно, без туфты не обходились, ибо от них требовали план. Тюремщики, которые зеками торговали, получали за них деньги (воображаемые, конечно), исходя из того, сколько те напилили. Все они были кровно заинтересованы в туфте, и она стала принимать совершенно феерические размеры. Когда я был в предыдущем лагере — в Устьвымлаге, — какой-то не утративший любопытства и юмора заключенный плановик подбил крайне занятные итоги выполнения производственного плана всего лагеря за год. Он подсчитал, что леса вырубали больше, чем числилось по таксаторным картам. Стреловано леса больше, нежели вырублено. Вывезено больше, чем стреловано. Укатано в катища больше, нежели вывезено. Сброшено во время сплава в реку больше, чем укатано. Вытащено больше, чем сброшено. И отправлено потребителям больше, чем вытащено... И все сошлось. И все остались довольны. Конечно, начальники. Что же касается тех, кто по пояс в снегу валил лес, тащил его к трелевочным волокам, возил, укатывал, сбрасывал, вытаскивал, — тем было совершенно безразлично, они были не людьми, а «контингентом». Вот только умирали они значительно быстрее, нежели на это рассчитывали начальники. Но ГУЛАГ зорко следил, чтобы лагерная машина крутилась, и вместо тех, кто заполнял безымянные могилы на лагерных кладбищах, привозили новый «контингент».

Я прошел через все великие, средние и малые послесталинские лагерные реформы, меня перегоняли из Усть-Сурмога в Кушмангорт, из Кушмангорта на Мазунь, я поистаскался в самом отвратительном и опасном, что есть в лагере — в этапах и был почти счастлив, когда осел в Чепецком отделении под светлыми, почти херувимскими крыльями капитана Намятова. Привезли меня туда по спецнаряду как старшего нормировщика, и, значит, пределы барского гнева по отношению ко мне были ограничены. Ну а на барскую любовь я не рассчитывал и у более человекоподобных, чем капитан Намятов.

Чепецкое отделение было новым. В нем строилась узкоколейка для вывозки леса, а на дорогу нанизывались лагпункты. Вообще оно считалось «перспективным», там можно было рассчитывать на получение званий, должностей и множества мелких и крупных привилегий, составляющих главную прелесть пребывания в начальниках.

Однажды меня вызвали в начальственный кабинет, где находились люди, появление которых ничего хорошего не предвещало. Кроме нашего домашнего, лагпунктского, «кума» — оперуполномоченного 3-го отдела, — в кабинете находилось почти все высокое руководство, включая самого подполковника — начальника «НКВД в НКВД»: 3-го отдела Управления лагеря. Вскоре я понял, что они хотели. Проектировали строительство «спецкомандировки». Я должен был рассчитать потребную рабочую силу. Почему-то подкомандировка строилась не на линии железной дороги, а в глуховатом куске тайги, куда нелегко и материал доставлять, и рабочих посылать. Зачем?

— Командировка специальная, — важно сказал подполковник. — Для особого контингента, который должен быть изолирован от общего контингента и не

смешиваться с ним на делянках и прочих объектах.

— Значит, штрафная?

— Не штрафная, а специальная! Там будет находиться особый контингент. Конечно, такие же зеки, как все, да не совсем такие.

— Какие же, гражданин начальник?

— Хуаны.

— Кто-кто? Это что, особый вид законников?

— Э, да ни черта вы не смыслите, а еще с образованием! Хуаны — это испанцы. Привезли их к нам мальцами, когда в Испании война была, а потом они выросли и осели тут на нашу голову. Конечно, они все советские. И сроки советские получили. За кражу, за хищение. Забыли, мерзавцы, кто их спас, выросли и позволяют себе — не нравятся им, видите ли, наши порядки.

— А почему же особая командировка? Тут же у нас есть всякие зеки. И китайцы, и персы, и поляки...

— Хуаны — не всякие. Они особые. Очень дерзкие. Не могли им слова сказать, на все способны. Ему надзиратель замечание сделает, а он ему — ты у меня попробуешь наваху! А что такое наваху?

— Кажется, такой особый нож с двумя лезвиями.

— Вот-вот. И у всех у них навахы или еще что, и с ними ухо надо держать востро. Помните, вам с ними работать, они должны норму выполнять; кормить и начислять зачеты им будут на общих основаниях.

Вот так возникла «спецкомандировка». В общем-то совсем обычная: с зоной — забором из высоких ствол; «запреткой» из колючей проволоки, с вышками по углам; баней в зоне, вахтой, инструменталкой и бараклом для охраны за зоной — словом, как у всех. И карцер в углу зоны, и «хитрый домик» для того, чтобы «кум» мог принимать стукачей, — отличная, четко функционирующая, на века сработанная архитектура.

И однажды весенним днем все свободное от работы население зоны — врачи, санитары, повара, дневальные, конторские — сбегалось к реке. По Каме катер тащил небольшую баржу, на которой обычно перевозят заключенных. На берегу стояли охрана, начальство, лаiali и облизывали кровавые рты овчарки на поводках.

По наведенному трапу на берег начали сходить «хуаны». Молодые ребята, среди которых были почему-то рыжие, а не только черные. Синие небритые щеки, огненные и абсолютно непокорные глаза. Вот эта непокорность и была наиболее отличительным свойством молодых испанцев. Я глядел на них и вспоминал фотографии и кинохронику тех лет, когда я еще был на воле. Палубы пароходов, наполненные испуганными мальчиками и девочками, цветы и объятия, лавина очерков, статей, рассказов, репортажей о любви и заботе, которыми окружены жертвы гражданской войны, дети, вырванные из рук фашистов. Где они были, эти мальчики и девочки, после того, как завяли букеты цветов, кончились объятия, журналисты нашли новую тему — врагов народа? Жили, наверное, в детских домах. И хотя эти дома тоже имели прибавку «спец», но они были такими же, как все: с атмосферой духовной несвободы, казарменным режимом, школой, в которой запрограммировано все — от урока на завтра до классного собрания, до обязательных песен, выкрикивания коллективных лозунгов, скучной физкультуры. Потом ФЗУ и первые годы на заводе... А если не хочется на завод? А если хочется совсем другой работы, другой жизни?

Они были не похожи на других, а значит, чужие. Чужие для своих сверстников, для товарищей по заводу, по общежитию, улице, городу. Поэтому они сплывались, у них вырабатывались свои законы,

свои нормы поведения. Кто постарше — успел побывать на фронте, они дрались с фашистами, но не все были сыновьями Долорес Ибаррури, и не все их подвиги были отмечены, и не все смерти оплаканы. У них был общий язык, на котором они могли разговаривать между собой и который не понимали другие; у них сохранились пусть детские, но все же воспоминания о родине — ее холмах, городах и белых домиках в селах; они помнили еще свои песни. Инстинкт крови и засевшее в генах то неопределенное, что зовется «испанским», заставляли их сопротивляться всему для них унижительному и немедленно бросаться не раздумывая на выручку к своим.

Вот такими они сходили по трапу на берег, и мы увидели, что они — не как все... Их не посадили на корточки, не поставили на колени, не заставили сесть на землю. Процедура обычная, обязательная при любом этапе: выходящих из вагона или «воронка», слезающих с грузовиков, сходящих с палубы баржи обязательно сразу же — невзирая на любую погоду, на снег, грязь, дождь — заставляют опуститься на колени или же сесть, чтобы потом, когда выйдут все, когда вокруг встанет конвой с овчарками, заставить подняться, построиться по четыре, провести перекличку, выслушать конвойную «молитву»: «...шаг вправо, шаг влево, конвой стреляет без предупреждения» — и лишь после этого двинуться этапной колонной.

Так вот «хуанов» никто на колени не ставил, на корточки не сажал. Их быстро пересчитали, провели к подвешенной к берегу узкоколейке, так же быстро погрузили на несколько подготовленных платформ и увезли в тайгу. Испанцы проходили эту процедуру с веселым любопытством, они всматривались в новый пейзаж, новые лица и, обращаясь к людям в омерзительно знакомой им форме, кричали какие-то слова. Слова были вполне русскими и классическими.

Вскоре началось генеральное совещание у капитана Намятова, посвященное решению испанского вопроса. Я увидел, что обсуждается он почти со всеми трудностями, свойственными решению испанских вопросов за многие века. В начальники «спецкомандировки» назначили старшего лейтенанта Шкабарду. От обычного конвойного вертухая его отличали какая-то воинствующая тупость и железное убеждение, что три звездочки на погонах должны автоматически приводить зеков в полную покорность. Фельдшером решили послать недоучившегося студента Ленинградского университета. Недоучился он, собственно, русского филологии, ибо его схватили, когда он был на третьем курсе филфака. Но в лагере проявил несвойственную филологам цепкость, устроился в санчасти, стал «лепилкой» и сразу же вошел в очень привилегированный слой лагерных медиков. В самом большом затруднении были производственники. Что будут делать «хуаны»?

— Как что? — возмутился Намятов. — Дорогу строить. Конечно, рельсы им свинчивать не дадим, пусть насыпь отсыплют, на земляных работах можно даже и таких...

— Нет-нет, — уныло сказал начальник строительства дороги. — С нас управление лагеря каждый день спрашивает погонные метры дороги, а с ними какие же метры! Сегодня метры, завтра сантиметры, потом и вовсе не выйдут на работу, разбирайся с ними, а вечером на селекторной перекличке докладай, на сколько протянули дорогу.

Да, с этим и Намятов не мог спорить. За дорогу спрашивали строго.

— Ну, что нормировщик скажет? — Намятов посмотрел в мою сторону.

— Давайте, гражданин капитан, поставим их прокапывать канавки вдоль насыпи. На них не только пла-

на, но и технических условий нет. Сколько прокопают, столько и прокопают, глубоко или же так, землю поцарапают — все равно они ни к чему: и в план не входят, и отчитываться за них не надо.

— То есть как так не надо? А выполнение нормы, а деньги, а зачеты?

Вот это уже было серьезней. Дело происходило летом 1955 года. Из старых кондовых гулаговских законов осталось лишь то, что кормили «по выработке». Даже в самые грозные лета в моей нормировочной практике не было ни одного зека, не выполнившего нормы и не получившего своей кровной горбушки. Но среди великих послесталинских реформ было нечто новое и существенное. Во-первых — деньги. За выполнение и перевыполнение норм зекам платили. Прямо почти как вольным. Конечно, у них вычитали за кров и пищу, да так, будто этим кровом был уютный пансионат, а пищей — икра с креветками и консоме с гренками. А потом надо было зекам содержать всю охрану, всех своих начальников, начиная от надзирателя и кончая генерал-майором Тимофеевым. Но и после этого что-то оставалось. И, учитывая астрономическую туфту, в которой больше всего было заинтересовано само начальство, оставалось немало. Достаточно, чтобы покупать в ларьке редкие припасы, спирт у деревенских спиртоносов, а очень многим — разными путями даже переводить деньги семье.

Но самым главным нововведением стали зачеты. До сих пор не пойму, как на это пошли большие гулаговские начальники. Разве только из уверенности, что резерв у лагерного «контингента» большой. Значит, были зачеты. Этим славным студенческим словом обозначалось то, что срок наказания снижался соответственно выполненным нормам. Выполнена норма — день наказания считался за два, перевыполнена — день за три. Всем заключенным выдали на руки отпечатанные на коричневой оберточной бумаге «зачетные книжки», где страницы были поделены на квадратики, в которых регулярно проставлялась новая дата окончания срока. Каждые три месяца зек сдавал свою «зачетку», через день ее получал и вписывался взглядом в новый «звонок» — конец срока. Разглядывать книжечку было острейшим удовольствием. Вот видишь, как на глазах худеет твой срок, как быстро (день за три!) приближается свобода! Я это сам испытал...

Но в зачетах были свои прелести для начальства и свои ужасы для заключенных. Капитан лагерного отделения, например, лично капитан Намятов, мог эти зачеты не то что не давать, но и снижать старые. «За нарушение лагережима». А в это нарушение входило все возможное и невозможное: отказ выйти на работу, невыполнение приказа любого начальства — вплоть до бригадира и десятника; за то, что «прекословил» — так странно назывался недостаточно почтительный ответ начальству; за то, что помочился в непопленном месте... Список нарушений, за которые можно было лишать зачетов, был бесконечным. Намятов и его многочисленные подручные пользовались этим не только щедро, но и с каким-то садистским наслаждением. Старший лейтенант Шкабарда вызывал к себе по очереди зеков и каждому вручал полученные с головного лагпункта «зачетки». Вручал медленно, давая возможность зеку тут же раскрыть книжку и увидеть, что срок у него вдруг побежал назад, что он удлинился. И не на день, и не на неделю, и даже не на месяц. Иногда он удлинялся на год, а то и больше. Вынести это могут не все. Я не раз видел, как выходили от Шкабарды пожилые рыдающие люди. Или же бледные, с застывшими на губах матерными словами, старые и опытные «закон-

ники». Меня самого лишали зачетов. И хотя больше, чем день за два — да и то редко-редко, в порядке поощрения, — я не получал, а мой десятилетний срок был отбыт только наполовину, все равно очень трудно было стряхнуть с себя чувство унижения, беспомощности, ощущение полной своей зависимости от всей этой шайки недочеловеков.

Да, в коричневых тетрадочках была взрывная сила, и я тогда уже почувствовал, что с «хуанами» началству будет плохо. Нормировщиком я решил послать молодого еще арестанта, недавнего студента Тимирязевской академии, бытовика, получившего немалый срок за «попытку изнасилования». Витя хотел мне объяснить, что понималось под «попыткой», но в этом не было надобности. Год назад вышел специальный Указ «Об усилении ответственности за изнасилование», и лагерь заполнили виновные или же совершенно невинные жертвы своих страстей. Был этот неудавшийся насильник сообразительным, способным парнем, и, направляя на «спецкомандировку», я ему объяснил его задачи.

Что всем без исключения надобно «выводить горбушку», Витя уже знал. У нас никогда «невыполненных» не было. А вот с «перевыполнением»? Это деньги и зачеты...

— А кто у них пахан, Лев Эммануилович?

— Вот это тебе следует узнать. И помни, что это не воры, не законники. У «хуанов» паханом — главным и авторитетным человеком — становятся совсем по другим правилам и обычаям.

— А по каким?

— Вот придем, узнаем, как и что.

Командировка, куда мы пришли, уже существовала два дня. Назавтра кончался льготный срок устройства, и людей должны были вывести на работу. Для нормировщика и счетовода престола выделили маленькую комнату, сам Шкабарда занял «кабинет»: самодельный письменный стол, самодельное кресло с подлокотниками, табуретка, прикованная к полу. На окне частая решетка. Все как надо. Но хозяин начальственного кабинета был встревожен.

— Что, не слушаются, гражданин старший лейтенант?

— Да нет, слушаться-то они слушаются, да не того, кого нужно.

— Кого же?

— А есть у них такой — Антонио. Антон, по-нашему. Сам из себя маленький, а без его слова — ничего и никуда. Начал я их разбивать на бригады, а они — как Антонио скажет. Бригадиром он же назначал. Я против него пока сказать ничего не могу — тихий из себя вроде, не грубит, но много про себя думает... Ох, как много!

— Ну и пусть, гражданин начальник, правит своими. Вам же легче.

— Да нет, тут не детский дом, не санаторий, тут лагерь, тут тюряга, все они должны понимать, что они зеки и отбывают заслуженное наказание. И не Антона своего должны они слушать, а поставленное над ними начальство.

С Антонио я через несколько минут познакомился. Пошли мы с ним в конторку, и там часа два-три я разговаривал с паханом «хуанов». Мои познания об Испании были весьма ограничены. Историю я знал по университетскому курсу, политику — по довоенным газетам, быт — по дореволюционным очеркам Василия Ивановича Немировича-Данченко и романам Бласко Ибаньеса. Но и этого оказалось достаточно, чтобы расположить к себе Антонио. Антонио хорошо говорил по-русски, но о себе рассказывал очень скупое, вернее — ничего не рассказывал. Родом был из небольшого городка неподалеку от Барселоны. Родители занимались сельским хозяйством. Упомянув их, он вздрогнул,

и лицо у него застыло. Наверное, они были жертвами гражданской войны. Вывезли его из Испании девятилетним ребенком, сейчас ему уже было лет двадцать шесть, хотя выглядел моложе; небольшого роста, но очень сбитый, с плотно сжатыми не улыбающимися губами и черными, жесткими, даже скорее жестокими, глазами.

На командировке находилось сто семьдесят два испанца. Разного возраста, но больше молодые; самому старшему было тридцать два года. Сроки у них были почти у всех «бытовые» и, по нашим меркам, «детские» — пять-семь лет. Одни получили за то, что, работая грузчиками в магазине, прихватывали чего-нибудь выпить и закусить. Делали это, конечно, все, но они были чужие, на них легко сваливали и другие, не такие мелкие хищения. Много ребят попало за «злостное и особо дерзкое хулиганство». Ибо, если в драке били кого-то из своих, «хуаны» бросались на выручку и в таких драках были беспощадны. Когда являлась милиция, то к испанским ругательствам прибавлялись и русские, которые были первыми словами, выученными в России. Некоторым «дерзким», сумевшим особо уязвить представителей власти, пришивали и 58-10: «антисоветскую агитацию». А по ней меньше десятки не давали. Но таких было немного, и они находились как бы под негласной опекой всей командировки.

До того, как их собрали в Соликамской пересылке Усольлага, они побывали в разных местах: на лагпунктах Усольлага и Нарыблага, в тюрьмах «на материке», в детских колониях, где власти терпеливо ожидали, когда их в 16 лет можно будет сплавить в общий лагерь. Объединились они на пересылке, где, очевидно, Антонио и стал их лидером. Властный, не опускавший глаза перед начальством, готовый из-за «своего» дойти до самого высокого чина. Справедливый, ничего ни у кого не отнимающий. Он знал русский лучше других, хорошо говорил, читал и грамотно писал. Но со своими разговаривал только по-испански и их заставлял общаться между собою на родном языке. Это обстоятельство впоследствии стало одной из болевых точек отношений между «хуанами» и начальством, каковое требовало, чтобы все изъяснялось на языке, ему понятном. А на незнакомом — мало ли что могут говорить и о чем договориться. Будущее показало, что начальство, как всегда, право...

Я объяснил Антонио, что копанье канавок, да еще летом, да еще в песчаном грунте — детские забавы, что важно не столько копать, сколько делать вид и, когда появляется начальство, не валяться на траве, а держать в руках лопатку. Тогда пойдут зачеты. Для них это была реальная возможность скинуть половину срока. Сам Антонио получил семь лет. За что — я не спрашивал, по нашей лагерной этике спрашивать об этом не полагалось. С зачетами испанцы встретились впервые, их ввели только недавно, и Антонио сразу же оценил значение маленьких книжечек из оберточной бумаги, которые им уже успели выдать. Распрощались мы совсем по-хорошему, и я впервые увидел улыбку Антонио, когда на прощание лихо сказал ему: «Аста пронто».

Своему Виктору я дал инструкции, которые он понял с полуслова. Канавы прокапываются в некоем грунте, могущем существовать только в рабочих нарыдах лагеря, грунте, который одновременно представляет собой почти гранитный монолит, но при этом почему-то оплетен сосновыми корнями и к тому же прилипает к лопате. И такой странный, ни в каких учебниках геологии не значившийся грунт не выбрасывается на бровку, а относится в сторону метров этак на десять... С контрольным десятником у меня были хорошие отношения, он освобождался через полгода, и в его расчеты не входило качать права.

Правда, на работу «хуанов» водили молодые солдаты срочной службы, отличники боевой и политической подготовки, но при том им было совершенно наплевать, как работают их подконвойные зеки. А те — и это стало сразу же очевидным — бежать не собирались. Что от них конвою и требовалось.

В первый же свой приход на Головной лагпункт мой нормировщик (Виктор был расконвоирован) доложил, что дела на спецкомандировке идут хорошо. Приходят с работы весело, порядок соблюдают, наряды заполняют не бригады, а сам Антонио под диктовку нормировщика, и выработка у каждого никогда не бывает меньше ста сорока процентов — как раз столько, чтобы получить «день за три».

Собственно, я рассказываю здесь о своих служебных преступлениях. Ибо все, что я делал как нормировщик, что санкционировал, было безусловно преступно с точки зрения Уголовного кодекса. Приписывались несуществующие работы, у государства путем обмана изымались товарно-материальные ценности — крупа, мука, треска, еще что-то съестное, уплачивались лишние деньги и так далее. Это был полный набор уголовно наказуемых деяний. Их совершал не только я, а все, начиная с рядового заготовщика веточного корма и кончая самыми высокими зековскими чинами — вплоть до начальника работ. И никаких угрызений совести мы не испытывали тогда, как я не испытываю их сейчас. Мы не имели обязательств перед государством. Перед этим государством, которое нас схватило, разрушило или убило наши семьи, держит и мучает здесь... Несправедливость уничтожает всякое чувство ответственности и любые обязательства. Я могу сопротивляться всем этим намятовым и шкабардам только одним путем — стараясь выжить им назло. И для этого годится все: обман, неограниченная туфта, все! Впрочем, даже те зеки, у которых еще на крылешках сохранились бледные следы пылцы наивности, не могли не понимать, что начальство в туфте заинтересовано не меньше, чем мы, только туфтить они хотели за наш счет.

Уверен, что всеобщее разложение, обман, приписки, коррупция, взяточничество, которые стали характерными для периода со странным названием «застой», вышло из «Архипелага ГУЛАГ». И те, что там сидели, и те, что их держали, вернулись из лагеря, утратив всякое представление о таких реликтовых понятиях, как «служебный долг», «служебная честность». Приписки миллионов тонн хлопка в Узбекистане, феерические взятки и поборы, рабско-тюремные порядки на «социалистических полях», сговор прямых уголовников и убийц с разными начальниками — от милицкого до партийного руководства — все это, по моему убеждению, порождено лагерями, через которые прошли миллионы людей.

В конце июня прибежал мой встревоженный нормировщик и рассказал, что там у них «началось». Начало было для нашей обычной лагерной жизни событием совершенно нормальным. Во время развода колонна заключенных из-за чего-то по-своему, по-испански, чрезмерно развеселилась, и дежурный надзиратель грубо накричал на Антонио, накричал не по-испански, разумеется, а по-русски. Тот ответил на ставшем уже полуродным языке, что он думает о надзирателе, старшем лейтенанте Шкабарде, капитане Намятове и всех других начальниках. Не ругаюсь, что туда не попал самый высокий и августейший начальник, могло быть и такое. Шкабарда укрощал арестантскую бузу в привычной манере. Приостановил развод, схватил Антонио и еще парочку «хуанов» и поволок их в карцер. Тогда вся командировка отказалась выйти на работу и вернулась в бараки. Только что кончился месяц, заветные «зачетки» были забраны у зеков

и отвезены Намятову. Они вернулись чистыми. Предушедшие зачеты были сняты, у всех конец срока был точно такой, каким числился в первичном арестантском формуляре.

И командировка забастовала. Вся. Мало того — пошли к карцеру, который охранялся лишь одним дневальным, набили дневальному морду, сорвали замок и выпустили Антонио и его верных оруженосцев. Вероятно, если бы это случилось с обычной командировкой, то ее укротили бы обычным путем, не очень туская в ход уговоры. Но дело происходило в разгар постсталинской либерализации, да и командировка была особой, и не только начальство — сам черт не знал, что будет дальше и какие новые реформы впоследствии. Поэтому уговаривать «хуанов» явилось высочайшее начальство из Соликамска. Лично полковник вышел перед толпой — увы, не строем, а толпой — заключенных и пытался им втолковать основы пенитенциарной системы в Советском Союзе. На что услышал всякие, в том числе и испанские, но тем не менее понятные русскому человеку слова... Что требовали забастовщики? Чтобы к ним немедленно прибыл самый главный прокурор из Москвы, которому они объяснят, что законов не нарушали, вели себя примерно и что в конце концов им надоело вести такую жизнь. И пусть их отправят домой — в Мадрид, Басконию, Кастилию — словом, к своим собственным полицейским.

И тогда Намятов, естественно, с благословения начальства, приказал не кормить бунтовщиков. Ворвавшиеся надзиратели потребовали опрокинуть котлы, уже наполненные баландой, хотели забрать весь хлеб из хлебoreзки, продукты из ларька и с продовольственного склада. Но бунт «хуанов» был не бессмысленный и жестокий, как охарактеризовал Пушкин русский бунт. Восставшие испанцы вошли на вахту и вежливо предложили оробевшим вертухаям немедленно удалиться из зоны. Мало того — убрать с вышек вооруженных надзирателей. И все это спокойно, без особого шума, поигрывая экзотическими ножами, которые вдруг оказались у каждого заключенного. После чего они заперли ворота зоны, вздвинули баррикады, разобрали на кирпичи печи в бараках и на кухне, из всего металлического наточили холодного оружия и заявили, что из зоны не выйдут и будут защищать ее до смерти, пока не прибудет самый главный прокурор из Москвы.

Вот в такой ситуации я и давал никчемные и оппортунистические советы капитану Намятову, впервые столкнувшемуся с подобным событием.

На Головном царило невероятное возбуждение, зона была полна неизвестных нам начальников разных рангов, по лагерю шли слухи, что на бронекатерах, чуть ли не на линкорах, привезли усиленное подкрепление с артиллерией дальнего калибра, что вся мятежная командировка окружена и вот-вот начнется ее штурм. Ожидают лишь московского прокурора. Действительно, скоро «броуновское движение» в зоне стало еще оживленнее, и по направлению к командировке потянулась целая колонна людей. И не только начальства всех сортов, но и бесконвойных, имевших хоть какой-нибудь ничтожный повод пойти к командировке. Естественно, что я оказался не последним из них...

Был конец июня, вдоль лесной дороги огненно цвел иван-чай, и никакая тревога не ощущалась в нашей довольно большой толпе. Вскоре мы подошли к бунтующей командировке. Орудий крупного, равно как и малого, калибра и даже пулеметов вокруг мы не обнаружили. Стояла в отдалении цепь солдатиков, не без интереса смотревших на происходящее. На вышках вместо солдат оживленно переговаривались зеки, ворота прочно заперты, но перед ними мы увидели

группы людей — очевидно, руководителей мятежа. Среди них я узнал Антонио.

Главный прокурор в мундире с малопонятными нашивками смело шагнул вперед, сопровождаемый начальством.

— Пойдем! — вдруг шепнул мне Намятов.

И я двинулся в этой начальственной толпе. Сначала все было гладко, и речь шла о предъявлении полномочий. Антонио спокойно сказал, что они ждут Главного прокурора из Москвы или же его заместителя и разговаривать будут только с ним, потому что дело касается вовсе не внутрилагерных проблем.

— Я помощник Генерального прокурора Советского Союза, — важно произнес прокурорский чин. Он был в меру толстый, в меру важный, но абсолютно новенький мундир еще не успел помяться. В таком в далекую провинцию не едут. И вообще печать провинциализма лежала на этом «помощнике».

— Где вы работаете? — спросил Антонио.

— То есть как где? В Генеральной прокуратуре.

— А где она находится в Москве?

— Смешно спрашивать! На Пушкинской улице, на улице имени поэта Александра Сергеевича Пушкина. А прямо напротив — подвальчик с холодным пивом.

Почти все присутствующие мечтательно облизнулись.

— А живете вы где, гражданин помощник Генерального прокурора?

Помощник немного замаялся от неожиданного вопроса.

— И живу совсем неподалеку — на улице Максима Горького. Это главная московская улица, там все главные магазины. А что вы меня об этом спрашиваете?! Я коренной москвич, родился в Москве, всю жизнь прожил, знаю там каждый переулок, не только улицу Горького!

Мы стояли вокруг прокурора и Антонио. Я присутствовал при очередной наглой попытке обмануть заключенных. Мне было совершенно ясно, что этот тип знает только улицы Соликамска, а в Москве лишь здание прокуратуры и подвальчик с холодным пивом.

Как бы почувствовав мое состояние, Антонио ко мне слегка повернулся, и я ему тихо подсказал:

— Спроси, где в Москве Хоромный тупик...

— А где, гражданин помощник Генерального прокурора, в Москве находится Хоромный тупик?

— Тупик Хоромный? Да нет в Москве такого. И вообще нет в Москве никаких тупиков — ни хоромных, ни бесхоромных, ты мне брось тут экзамены устраивать!

И вдруг всем вокруг стало ясно, что прокурор тот не из Москвы, что приезд его — липа...

Антонио, до этого оживленный, напрягся, как струна, побелел и, подойдя вплотную к прокурору, спокойно сказал:

— Ихо де пута... Врешь, не из Москвы ты, и разговаривать с вами не будем!

Он резко повернулся и через мгновение вместе с товарищами был в зоне. Мы услышали скрип запираемых ворот, с вышек испанцы кричали по-русски и по-испански почти одинаково звучащие слова, растерянный прокурор пошел к казарме — главному штабу осады мятежной командировки.

И в это время ко мне подбежал нарядчик:

— Разгон, быстро, немедленно мотай в зону, прямо в УРЧ!

Когда вызывают в УРЧ, то не задают вопросов и не задерживаются. Я, запыхавшись, вбежал в контору и открыл дверь.

Начальника не было, он находился в зоне военных действий у мятежной командировки, но лицо старшего нарядчика совершенно расплылось от радости.

— Разгон, тебе что сегодня снилось?

— Да ладно, некогда мне с тобой шутками заниматься!

— Ничего себе шуточки! Свобода тебе! Понимаешь — сво-бо-да!

Из писем я знал, что мои близкие подали во все инстанции заявления, даже наняли адвоката, чтобы он поехал в Ставрополь, где меня в последний раз судили. Но чтобы так, сразу! И неужто можно этим шутить!

— Ну, давай быстро в КВЧ к одноному!

Значит, серьезно! Одноногий инспектор КВЧ делал фотографии для тех, кто шел на освобождение.

Признаюсь, эта новость выбила у меня из головы все на свете, включая даже взбунтовавшуюся командировку. И спать не мог, и даже не расспрашивал о том, как идут дела там, у бунтовщиков.

Утром второго июля меня вызвал Намятов. Он сидел за столом, набрякший от бессонной ночи, помятый, без своей обычной уверенности. На столе у него лежали мои документы, и среди них я узнал заветную «Справку об освобождении», к углу которой была приклеена маленькая фотография с моей недоумевающей и абсолютно уголовной физиономией.

— Освобождаетесь за прекращением дела. Можете ехать куда хотите. А зачем вам ехать? И тут люди живут!

Не буду говорить, что я ему ответил. Потом спросил:

— А как там, на командировке, гражданин капитан? — Сказать ему «товарищ капитан» я бы не смог даже под дулом пистолета!

— Ничего, обротаем! Они думают, что из Москвы им свободу привезут! Вот придет из Москвы прокурор, он им всем дополнительные сроки навешает. Срока им, хуанам проклятым, а не зачеты! Через час моторка в Бондюг уходит. Собирайтесь, поедете с ней.

Через час несколько человек бесконвойных и вольных усаживали меня в лодку.

— Ну, как там у испанцев? — очнулся я.

— По-прежнему, — ответил начальник плановой части. — Сидят в осаде, потребовали, чтобы им сухой паек дали. И дали. Ждут из Москвы настоящего прокурора.

— А тот был липовый?

— Ну, конечно. Это ж наш, из Соликамска. Как они его так быстро раскололи?! Ну, теперь с ними будет москвич мучиться. Оказывается, тут целый международный вопрос!

Лодка была загружена до самого уреза воды. Кроме меня, там сидели два окончивших срока блатника, почтальонша, завхоз, еще кто-то. Как бы мотор не заел!

Мотор не заел, и мы пустились вниз по Каме. Был солнечный, прекрасный июльский день. Я сидел и все не мог себе представить, что окажусь в Москве. Буду проходить мимо милиционера и не бояться его.

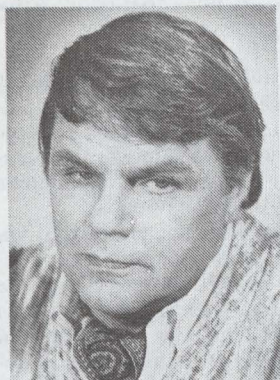
Недалеко от Бондюга нам навстречу взревел, разрезая воду, полуглиссер начальника лагеря.

— Прокурор из Москвы едет, — сказал всезнающий завхоз. — Ночью на самолете прилетел. Его-то испанцы и добивались. Да чего другого добьются?

Теперь-то я знаю, что они — во всяком случае, большинство из них — добились своего. Добились родины. И живут в городах и в деревнях Испании, по вечерам в прохладной таверне — или как еще называется там забегаловка — рассказывают про бунт в далекой тайге в верховьях русской реки Камы.

Да, я иногда об этом вспоминаю. Никого бы из них, конечно, не узнал. Кроме Антонио. Даже постаревшего, почти незнаваемого, но узнал бы.

Так ведь не встретимся...



Николай
НОВИКОВ

Спор

Ты прав, как этот шкаф, набитый — весом в тонну,
Параграф и устав хранящий неуклонно.
Твой довод — как уют, что по затылку — тюк!
И оппонент — с катушек добит и отутюжен.
Твой аргумент в чело разит, подобно дышлу.
И что? А ничего хорошего не вышло.
Но с пеною у рта все спорит с хрипотою
Моя неправота с твоею правотою.

☆☆☆

Мало ли платили по счетам,
Мало растранижили, угрожали?!
Будем снисходительны к плутам
И шутам гороховым?!

Вот они на снимках прежних лет,
Встав по рангам в линию,
Недовольно щурятся на свет,
От похмелья синие.

Годы, словно мебелью — впритык,
Сгрудив юбилеями,
Так, что жить уж стало невпродых,
По бумажкам блеяли.

Кто они, спившие народ
Чуть не до убожества,
Так одобившие анекдот?
Да никто. Никтожества.

Перемерли — снимки их со стен
Побросали в ящики...
Словно бы и не жили совсем,
Куклы говорящие.

☆☆☆

Кто на внешние знаки внимания,
На бесплатную жалость горазд,
Он, сочувствием вас донимая,
Словно муха, — он первым предаст.

Но вторым вас предаст — без задатку,
И подумать грешно — остолоп,
Тот, кто резал всегда правду-матку
Беспощадно, бессовестно — в лоб.

☆☆☆

В пыли и гари ближние предместья,
Бетон и скука, долгая, немая,
И трубы, что уперлись в поднебесье,
Дух не возвысят,
взгляд не поднимая.

А рвов забытых рубленые раны,
Где глина красная живой подобна плоти,
Зияющая пропасть котлована
И втоптаные доски на болоте...
И уцелели в этой панораме
От гусениц и от колес давящих
Трава, кой-где торчащая вихрами,
Качающий головкой одуванчик.
Вот наша жизнь... Она не мягко стелет
И не позволит вырасти высоко,
Горька на вкус, как этот млечный стебель,
Жестка на ощупь, как трава осока.

Музей часов в Клайпеде

Часы огневые — сгорает отмеренный прут.
Часы водяные — по трубочкам капли бегут.
Песочные — сыплется, сыплется мелкий песок.
Запаяны в колбе пустыня и древний Восток.

А вот электроника. Точек чуть видимый пульс.
И бешенство ритмов... Но, полно... Я не тороплюсь.
Пойду-ка я в зал, где неспешно берут свой разбег
Семнадцатый век,

восемнадцатый век,
девятнадцатый век,

Где медный кузнечик все тикает в медных кустах
Фарфоровой даме с приличной улыбкой на полных устах.
Минут быстротечность как будто замедлилась тут —
Так мягко куранты, так успокоительно быют...

Так что же есть время? И кем оно миру дано?
Незримо оно?

Как — незримо? Ведь вот же оно...

И я за туманом стеклянным, за толщею призм
В открытое сердце его заглянул —

в часовой механизм.

Ах, нет, хитроумный швейцарский механик — увя...
Лишь видимость времени — то, что представили вы,
Все ваши куранты, все ваши брегеты вам льстят —
Его вся земля и все звездное небо и то не вместят!

А впрочем, готов я воздать вам и славу, и честь
За то, что так точно сумели его вы и счесть, и учесть,
Что так аккуратно вы им одарили друзей,
За то, что так благостно тикает этот музей.

☆☆☆

Это лето — лоскутная ткань,
Вперемежку из ситца и шелка.
Словно бабушки мудрой иголка
Подшивала и штопала —

глянь:

Сколько синего с белым вверху,
То дракон проплывет, то кораблик.
Сколько песен у нас на слуху:
Что ни чиж, что ни стриж, что ни зяблик...
А внизу-то! Внизу-то земля
То отдаст предпочтение кашке
И на ней покачает шмеля,
То в ромашке, как в белой рубашке.
Майский цвет — это время надежд,
Быстрый дождь — это к ясной погоде,
Летний гром — просвещение невежд.
Поучись у погоды свободе.
Поучись бескорыстием у ней,
Прокалясь и промокнув до нитки.
У дождливых, у солнечных дней
Не одно, так другое в избытке.
Солнца нынче у нас — будь здоров.
И жары, и загара хватает.
Впрочем, оводов и комаров
Тоже вдоволь и вволю летает.
Столько ягод, что жадничать грех,
Или брызг на реке тебе мало?
Не тяни на себя одеяло —
Нынче лета хватает на всех.

☆☆☆

О, как много упущено времени,
Что называется, зря.
Но становится видной причина
И ясною цель.
Почему Маяковский Пушкина сбрасывал
с корабля?
Потому, что корабль современности
С Пушкиным сел бы на мель.

☆☆☆

Что за страсть происходить
От былых аристократов,
На графиню походить,
Чей цвет кожи бледно-матов.

В Третьяковке изучать
На портретах выраженья
И надменность изучать,
Не пугаясь вырожденья.

Этот граф, а этот князь...
Только кто ж им нынче пара?
Тот играет подбочась
Под заезжего гусара.

Он и внешие — ничего,
На сберкишках — состояние,
Но талантливо его
Промотать не в состоянии.

Речь ли скажет — выдаст речь.
Подведет в гостях манера...
Так бездарно пренебречь
Поучением Мольера!

☆☆☆

Из варяг в греки
Текут мутные реки
С севера хладнокровного
На темпераментный юг.
Что мы наделали, братцы!
Лучше б нам было не братья!
Что вы на это скажете,
Доктор речных наук?

В реках не стало рыбы,
В кронах умолкли птицы.
Где вы, скворцы и зяблики,
Иволга и канюк?
Мы же к вам так привыкли,
Пеночки и синицы...
Что вы на это скажете,
Доктор птичьих наук?

Вороны.
Вороны.
Вороны —
Словно над полем битвы,
Вершат над нашими крышами,
Над нами за кругом круг
Густо, словно микробы,
А вот интересно: что бы
Это обозначало,
Доктор вороньих наук?

Правозащита

В СОВЕТАХ С ЛУБЯНКИ — НЕ НУЖДАЮСЬ



В ответ на статью о политзаключенном Михаиле Казачкове, отбывающем срок в Чистопольской тюрьме (№ 6, 1990 г.), «20-я комната» получила большое количество писем. Спасибо за поддержку!

Пришло письмо и от самого Михаила. Вот оно:

«Дорогие друзья!

Как многолетнему читателю «Юности», мне особенно приятно отметить, что систематически печатать в России правду о политзаключенных первым стал именно ваш журнал.

... Мой друг Леонид Лубман написал прошение о пересмотре дела в Верховный Совет СССР не по своей инициативе, но по настойчивой рекомендации специально выезжавшего к нему в лагерь эмиссара с Лубянки. После этого его... помиловали, с чем он не согласен...

Итак, Лубмана просто обманули. Но повторить этот трюк со мной уже не удалось: когда в середине июня этого года мне передали телефонограмму В. А. Крючкова с рекомендацией требовать «реабилитации и полного восстановления честного имени» от Верховного Совета СССР, я ее отклонил на месте. Приятно, конечно, когда сам председатель КГБ СССР признает наконец твою невиновность, но...

Мыслимо ли было допустить, что В. А. Крючков может не знать элементарного: отмена приговоров не входит в юрисдикцию законодательной власти — это дело суда. Впрочем, в спешке неумудрено и промашку дать, а спешка была немалая.

Едва ли случайно, что советы с Лубянки дошли до меня меньше недели спустя после публичного обязательства председателя Верховного Суда СССР Е. А. Смоленцева проверить мое уголовное дело лично. Он дал такое обещание 9 июня в прямом эфире Всесоюзного радио.

...Почему же меня так упорно стараются помиловать, а не реабилитировать? Дело мое в отличие от уголовных дел других политзаключенных сфабриковано не только из соображений политико-идеологических, ведомственных и лично-карьерных, но и по низменно-корыстным мотивам.

В своем июньском номере вы уже упоминали о нашей семейной коллекции картин. Она находилась на учете и под охраной государства. При изъятии картин УКГБ по Ленинградской области прямо нарушило положения охранной грамоты, а затем и отменило этот акт советской власти фактически, приобщив ее к материалам никому не доступного секретного уголовного дела. Между тем в этой грамоте моя мать ясно указана как единственный владелец коллекции, так что доблестные ленинградские чекисты сначала ограбили вдову, изъяв 3/4 собрания, а затем многие из этих картин расхитили.

Ленсовет сейчас официально добивается расследования этого, судя по всему, преступления.

Вторая причина — ведомственные приписки: с самого начала и по сей день ленинградское УКГБ навязчиво подает мое дело как особое свое контрразведывательное достижение. Еще и в «Рабочей трибуне» от 23 марта сего года его шеф генерал Курков продолжает объявлять меня «шпионом».

Это циничная ложь и возмутительная клевета. Причем судьям и прокурорам, которые не один месяц уже откровенно волоките мой уголовный иск к генералу, для опровержения ее вовсе не требуется ждать отмены моего приговора — достаточно в него заглянуть: в шпионаже я никогда не обвинялся.

В КГБ ясно понимают: если свернуть демократизацию шеею не удастся, держать ответ за фабрикацию уголовных дел на советских чиновников придется скоро — может быть, даже прежде, чем виновные дотянут до своих щедрых пенсий. Не сомневаются в КГБ и в том, что правозащитную деятельность я не оставляю и впредь. Поэтому, думаю, сопротивляться моему освобождению КГБ будет отчаянно и упорно даже и после истечения в конце ноября сего года моего 15-летнего срока.

Срок можно сидеть по-разному. В июньском номере о том, как я сижу, написано ясно. Год назад меня снова, уже в четвертый раз, перевели на тюремный режим — по-моему, это своего рода рекорд. Но смены режима заключения гражданам начальникам еще в 1980 году показалось мало: за доставляемое «беспокойство» мне добавили три с половиной года — всего стало восемнадцать с половиной.

Правда, оформили эту расправу с таким немудряще откровенным беззаконием, что даже в глухом 1982 году моему адвокату удалось добиться от Верховного Суда РСФСР отмены чистопольского приговора. Но КГБ поражений не принимает: не прошло и шести месяцев, как три с половиной года мне «вернули». И уже с тех пор ни одна надзорная инстанция не рискует посягнуть на пересмотр этого акта судебно оформленной расправы.

Смысл этой игры очевиден: конец 15-летнего срока приближается, и, сохраняя «довесок», меня просто шантажируют, надеясь, что нервы не выдержат и я все же «подставляю» себя под президентское помилование...

Чистопольская тюрьма

МОСКВА — ТОЧКА ПРОРЫВА

«Уроки очень дороги, и важно подолгу не засиживаться в одном классе». Это Сергей Станкевич говорил год назад («Юность», № 9, 1989), размышляя о первых шагах советской демократии эпохи перестройки. Следующие ее шаги сделали депутата-оппозиционера представителем власти. Труды и дни народного депутата СССР, первого заместителя председателя Моссовета Сергея Станкевича были недавно прерваны визитом корреспондентов «Юности» Константина Михайлова и Юрия Садовникова.

— Сергей Борисович, в одном из интервью депутат Моссовета Виктор Кузин заявил, что все усилия нового городского руководства нейтрализует «откровенный тотальный саботаж во всех сферах управления городом, начиная с исполкома». Как же работает демократический Моссовет?

— Мы пришли сюда с огромным желанием работать; были в меньшинстве, многие наши планы наталкивались на неприятие и равнодушие. И вот — желанная возможность воплотить все, что было десятки раз продумано. Но трагедия в том, что работать практически невозможно. Вот картина: я говорю по телефону, одновременно звонит телефон правительственной связи, в кабинете человека три, и человека три заглядывают из коридора, и человек двадцать ждут за дверью. Ежедневно приходит огромное количество бумаг — там есть прекрасные идеи, я краем глаза пробегаю. Но они месяцами лежат, я не могу прочесть. За три месяца я еще и десяти минут не просидел за письменным столом для того, чтобы просто подумать. Идет тотальная, изнурительная, безнравственная атака на кабинет. Бросай все и дай, дай, дай. Да, я понимаю — вот человек стоит в очереди на жилье с 1984 года, а получают сейчас очередники 1980 года. «Разве я не заслужила? Разве я не заработала? А вот жулики живут! А вот бюрократы устроились!» Либо ты дай, либо ты такой же бюрократ. Когда сюда вломилась дама, прорвав все кордоны, и с горящими глазами потребовала подписать бумагу на телевизоры «Шилияси» — я не знал, что сказать. Приходят и просят: в порядке исключения вместе с ними нарушить закон. Взрослые, заслуженные люди, ветераны... Я думал, что главной проблемой будет преодоление сопротивления старых структур — то, о чем говорит Кузин, — нет. Они могут что-то там в конкретном случае спустить на тормозах, какую-то бумагу от нас спрятать... Говорить о том, что исполком парализует нашу деятельность, нельзя. Но на ключевые проблемы Москвы просто не остается времени. Ведь необходимо думать о стратегии, нужно создавать рыночную инфраструктуру. Нужно срочно форсировать биржу: мы ее создали, но она ютится пока что по случайным углам, а нужно помещение, нужно биржевое оборудование. Необходимо подумать о транспортных коммуникациях — Москва задыхается. Город сейчас забирает два речных порта, может быть, и все три; четыре аэропорта — это гигантская собственность, нужно немедленно налаживать ее коммерческую эксплуатацию. Необходимо менять структуру экономики Москвы, делать Москву конкурентоспособной, чтобы она могла держаться на плаву, чтобы не пошла ко дну при первом же серьезном толчке в сторону рынка. Но стратегией совершенно невозможно заниматься. Я вынужден разбирать споры, жалобы, судебные дела, утирать слезы, утешать. Всем этим нужно заниматься, но — если только этим — на всем, ради чего мы сюда пришли, нужно ставить крест.

Главное, чего нам хотелось бы добиться: Моссовет должен быть полноценным органом власти. Решения действи-

тельно должны приниматься здесь, и в этой связи нужно резко повысить уровень компетентности.

— Как же этого достичь?

— Разговор о власти часто сбивается на общие декларации. Дело не в том, насколько громко мы заявим, что мы теперь власть. Власть не передается декретами и заявлениями. Власть — это вполне конкретные вещи. Право распоряжаться собственностью — прежде всего. Бюджет. Средства массовой информации. И, конечно, соответствующий набор законодательных актов, которые определяют нашу сферу полномочий. Мы настаиваем на том, чтобы был принят специальный закон о Москве как столице СССР и РСФСР. Это совершенно необходимо, в противном случае Москва не выживет. Союзное правительство подписывает десятки межправительственных соглашений, почти каждый визит завершается межправительственным соглашением, а там такие пункты: открыть информационно-культурный центр данной страны в Москве. Естественно, с Москвой никто эти вопросы не согласовывал. Все посольские здания должны быть только в центре, на лучших участках — в противном случае это рассматривается как национальное оскорбление. Причем зданиями на территории других стран пользуется союзное правительство и рассчитывается за это лучшими участками на территории Москвы. Естественно, Москва только теряет на всем этом. Мы могли бы использовать эти участки с гигантской выгодой для города, но отдаем, отдаем и отдаем, причем у нас даже никто не спрашивает, готовы ли мы до бесконечности отдавать. Если правительству (а сейчас и российское правительство будет налаживать свою внешнюю политику) необходимо заключать подобного рода соглашения, то необходима и компенсация городу Москве. Это его крест и тяжелое бремя.

— Платят ли могущественные ведомства городу за те здания, что занимают сейчас?

— Сейчас практически никто ни за что не платит.

— ЦК КПСС, КГБ, МВД?

— Никто. Есть два понятия, которые не переводимы ни на один иностранный язык. Отвод земли и передача на баланс. Это классика. Что такое «отвод земли»? Что такое «передача на баланс»? Прекрасное здание, в центре города, исторический особняк, усадьба! Росчерком пера — передать на баланс такой-то организации — все, этого достаточно! Рыночная стоимость этого здания — сотни миллионов, — все, передать на баланс!

— Фактически люди распоряжались тем, что им не принадлежит...

— Отвод участка земли. Лучший участок, в центре города — собрались, посовещались — росчерк!

— Будет ли возможность у Моссовета все это упорядочить и подчинить себе?

— Сейчас мы попытались это сделать, но сколько до нас за многие годы наотводили и напередавали! Фактически достаточно было найти ход в эти кабинеты, договориться тем или иным способом с нашими вельможными панами и получить заветную подпись. Собственность Советской власти — а это сотни миллионов — утекала неизвестно куда. Особенно перед нашим приходом сюда — десятками, пачками, поспешно, напоследок передавалось все. Теперь некая контора «Рога и копыта», правдами и неправдами заполучившая особняк, может без страха смотреть в будущее. Весь народ с опасением смотрит на надвигающийся рынок, а она — нет. Почему? Потому что половину особняка она сдает за валюту зарубежной фирме — и можно проводить время на пляже на французской Ривьере, ни о чем не беспокоясь, — она обеспечена по гроб жизни. Если, конечно, мы закрепим за ней право собственности. Идет подлинная вакханалия — очищаются этажи под офисы, под гостиницы, сейчас только ленивый не стремится построить гостиницу. Город с этого, естественно, ничего не имеет. По действующему законодательству 5 процентов всей валютной выручки должны отчисляться городу, но практически невозможно проконтролировать, нет возможности выяснить, кто действительно получает валюту. Вместе с тем три года назад мы получали порядка 200 миллионов долларов из госбюджета, два года назад — порядка 130 миллионов, год назад — 15 миллионов, с этого года — ноль. Мы на голодном пайке. Нас просто отключили от системы реанимации. В городе гигантский объем импортного оборудования, требующего запасных частей. Нам необходима постоянная закупка лекарств — москвичи нередко болеют, каждый четвертый москвич — пенсионер. И на многие другие вещи кровно необходима валюта — ее нет.

— В чем же выход?

— Фактически все, о чем мы сейчас говорили, это преамбула к тому, что **нужен закон о статусе Москвы как двойной столицы**. На Москву все смотрят со смешанным чувством зависти и ненависти, считают, что москвичи, дескать, зажрались, что они благоденствуют, когда страна бедствует. На Москву переносится все негативное, все раздражение, копившееся годами, связанное с деятельностью правительства. Фактически Москва и москвичи становятся козлами отпущения для всей страны. А многие и сознательно культивируют эту москвофобию, эти антимосковские настроения. Это лучший способ нажить политический капитал сейчас в любой области: «Наш-то вон как москвичей, понимаешь, приучил! вон как он за наши интересы воюет, как он Москве грозит: «Ничего не дадим!» И человек сразу на коне... Закон о Москве совершенно необходим. В противном случае я не думаю, что москвичи будут настаивать на сохранении двойного столичного статуса. Если мы берем на себя тяжкое бремя двойной столицы, если город готов нести всю уйму обязанностей, с этим связанных, — мы должны быть каким-то образом защищены, должны иметь соответствующий объем прав. Кроме того, Москва со своим 9,5-миллионным населением плюс три миллиона приезжих ежедневно — это страна. Это мир, у которого должен быть свой собственный объем полномочий. Своя собственная власть. Причем полномочия, непоставимые с обычными полномочиями городских властей. Иначе мы не справимся с этим конгломератом. Город будет деградировать и дальше.

— Ожидают ли Москву повышение цен и безработица?

— И то, и другое совершенно неизбежно. Будут ли в этих креслах Станкевич и Попов, или Иванов и Сидоров, совершенно независимо от того, какие люди будут находиться у власти, нам придется пройти через период роста цен, сильной инфляции, безработицы. Если оставаться на почве реализма, если не лгать самим себе и своим гражданам — отрицать это бессмысленно. Конечно, **нужно подстраховать наиболее социально уязвимые слои населения: пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи**. Это обязанность государства всегда и во все времена. Но тот, кто вольно или невольно, по недомыслию или лукаво сеет иллюзии, что возможен безболезненный выход из того глубокого кризиса, в котором мы оказались, того нельзя на пушечный выстрел подпустить сейчас к политическому руководству. Более того, я считаю очень серьезной ошибкой то, что с самого начала не поставили вопрос именно так. За все необходимые преобразования всякое общество должно уплатить определенную цену. Какова подлинная социальная цена радикальной перестройки — нужно было с самого начала объяснить народу. К сожалению, мы долго от этого уходили, прятали голову в песок, откладывали этот политически чувствительный и неприятный разговор. И тем самым усугубляли положение. С каждым месяцем, а сейчас с каждой неделей оттяжки цена, которую мы должны будем заплатить за выход из кризиса, будет выше; риск, связанный с переходом к рынку, будет серьезнее, а шансы на успех — меньше.

— Возможны ли в Москве свободные экономические зоны?

— В Москве это совершенно нереально, она не может стать свободной экономической зоной хотя бы из-за статуса двойной столицы. Москва — город чиновников, какая это свободная экономическая зона!

— Может быть, Зеленоград?

— Вот это вполне экономически реально. Зеленоград — это технополис, это в прошлом оазис военно-промышленного и оборонно-космического комплекса, город с относительно компактным населением, которое и живет, и работает там. Прекрасно обученные и хорошо подготовленные профессионалы, самая передовая для нашей страны технология, которая при минимальных дополнительных валютных вложениях может уже в ближайшем будущем выдавать продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. И кроме того, город расположен в непосредственной близости от международного аэропорта. В принципе, **все предпосылки для того, чтобы Зеленоград стал свободной экономической зоной**, есть. Вопрос только в том, пойдет ли наш оборонный комплекс на это. И кроме того — насколько способны мы будем выработать реалистическую концепцию этой свободной экономической зоны. Мне кажется, что этот проект реален. Он помог бы очень Москве. **Если Зеленоград становится свободной экономической зоной, это ворота для Москвы в окружающий мир**. Это шанс для Москвы гораздо более эффективно использовать ту гигантскую собствен-

ность, которая здесь накоплена. Но не только для Москвы — и для всего региона, для всех примыкающих областей это возможность беспрепятственного экономического и финансового общения с окружающим миром.

— Возможна ли карточная система в Москве в ближайшие год-два?

— У нас, в Моссовете, такая своеобразная борьба наблюдается: «визитчиков» с «карточниками». Очень мощная фракция «карточников», которая считает, что карточки — единственная разумная и справедливая система распределения, которую можно себе представить, а «визитчики» утверждают: нет, карточки совсем далеко от рынка, а визитки — это только временная уступка, а завтра можно и от нее уйти. С моей точки зрения, и то, и другое плохо. Москва сможет без этого обойтись, если не заставит себя ждать российское правительство. Если мы сумеем как можно скорее перейти на **прямой взаимовыгодный экономический обмен между регионами**. Это вполне реальный вариант, просто мы пока вынуждены проводить этот обмен в уродливых формах. Грубо говоря, менять, как мы это сделали с Оренбургом, две тысячи грузовиков на уборку на несколько десятков тонн зерна. Это не рынок, естественно, это каменный век. Мешает отсутствие денежного эквивалента. Рубль перестает быть деньгами. Если Россия реализует планы **укрепления российского рубля и перехода на российскую валюту, то есть если появится средство межрегиональных расчетов**, — я думаю, что очень быстро мы оживем. И сможем уйти от рационализации. Но какие-то формы его останутся. **Вполне вероятно, что для Москвы необходимы будут на период переходных трудностей продуктовые талоны, которые мы давали бы инвалидам, пенсионерам и многодетным**. Еще одна проблема, которую мы пытаемся сейчас решить, — это **перевод жилья в собственность граждан**. Если человек стоял более десяти лет в очереди, получил бесплатное жилье в качестве подарка от государства, он становится рабом своей квартиры. Он прекрасно понимает, что второй раз в очереди он уже не отстоит за свою жизнь. Даже если не будет спроса в городе на его профессиональные знания, он будет держаться за эту квартиру. Когда будут уходить в прошлое целые профессии, может быть, целые отрасли народного хозяйства, люди должны иметь возможность гибко приспосабливаться к ситуации. И для этого нужно дать им право продать жилье в Москве и переехать туда, где есть спрос на их профессиональные навыки.

— Из лабиринта сегодняшних проблем каким вы видите будущее Москвы?

— Мы убеждены, что **Москва должна стать ведущим финансовым, коммерческим центром России и Союза**, в том виде, в каком он, Союз, может быть, будет существовать. Центр банковского дела, страхового бизнеса, крупнейший биржевой центр. Безусловно, **Москва будет крупнейшим информационным центром** — самые мощные теле- и радиокomпании, средства массовой коммуникации, издательства. **Научный и университетский центр**. Нам хотелось бы открыть в Москве в ближайшее время хотя бы один международный открытый университет, где могли бы учиться граждане разных стран, куда приезжали бы иностранные преподаватели.

— Сергей Борисович, на вашем столе Библия. С 1917 года ее в этом здании, наверное, не было...

— Может быть, может быть... Я историк по образованию и по складу характера, надо мной постоянно довлеет весь этот глобальный опыт, я ощущаю себя частью вселенского цивилизационного потока, а не просто отдельным человеком. Любая проблема порождает у меня десятки исторических ассоциаций. Так устроена уж голова, это стиль мышления. Без этой книги, без многих других книг просто невозможно существовать. Это не дань моде.

— В чем видите вы миссию Моссовета? Построить нормальную жизнь в одном отдельно взятом городе?

— Невозможно, конечно, сделать Москву изолированным островом благополучия в океане кризиса. Страну нельзя изменить одновременно во всех ее частях. Реформы развивались и будут развиваться неравномерно. **Всегда нужны точки прорыва и ключевые его направления**. Нам кажется, что такими точками прорыва должны быть несколько крупнейших городов, где сейчас у власти находятся демократические силы: Москва, Ленинград, Свердловск, Горький... Они как бы лыжню будут прокладывать. Будут набивать себе шишки, может быть, показывать, как не надо действовать, во всяком случае, они будут атакующим звеном. Это очень важно, чтобы такие прорывы состоялись.

Виктор ЛИПАТОВ

АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ КРАЩИНА

Н. Крацин в своей мастерской.



Когда-то Матисса и Руо спросили: рисовали бы они на необитаемом острове? Матисс не представлял себе художника без публики, а Руо не оставил бы своих занятий, потому что на необитаемом острове «нас двое: я и Бог».

Кращину ближе Руо. Крацин также рисовал бы на необитаемом острове. Он лирик наива перевернутого мира. Люди как не мешающие предметы и неуклюжие предметы, живущие коллективно, как люди, насыщают его отвлеченно-философские и шутейно-житийные картины. Реалии органично соединяются, не скажешь — с нереалиями, но с самой ситуацией жизни естественных странностей.

— Живу в своих заморочках, — говорит Крацин. Таково его существо, оно отвращено от мелкореальности. Рисовал Язу, а его укоряют: похоже на набережную Сены. «Я расстройный, сомневающийся». Не один-единственный человек сидит перед вами, на самом деле их, Крациных, много, и каждый в своей заморочке. Сидят, беседуют.

Один говорит: «Везде в учреждениях деревянные люди сидят».

Второй высказывает отношение: «Шум на улицах, люди на демонстрациях плакаты вздымают, а мне претит».

Третий — человек действия: «Вынырну на поверхность (из заморочки. — В. Л.), чего ухвачу, на то и поглядам».

Вынырнул и тащит. В Таллине встретил дерево с замурованным дуплом — и в картинах стали такие деревья появляться.

Снова вынырнул, попал в дом престарелых, заметил: стоят они во дворе столбиками, ждут неведомо чего. И в картинах люди застыли столбиками. Никто из зрителей не знает, что они из дома престарелых, но чуткое ожидание улавливают.

Еще вынырнул и угодил на выставку «Ярославский портрет XVIII века». В «Трех портретах» на дереве прикреплена афиша этой выставки.

А четвертый Крацин накладывает цветные вырезки одну на другую — цветовые соотношения ищет.

Так и живут.

В студентах Крацин как-то спросил у профессора: «Как надо рисовать — то, что знаешь, или то, что видишь?» Профессор с ответом не задержался: «То, что знаешь». Кращину всегда нравилось знать нечто отличное от того, что он видел. К примеру: археологический раскоп, гора, стена из кирпича. Вторгаясь в этот рабочий пейзаж, художник «вдвигает» реально существующую колонну, переставляет к ней скульптуру и «пристегивает» первый план с амфорами. Сюрреалистическая сумятица заставляет нас напряженно задумываться, отыскивая то, что Крацин знает. Странно-призрачная ситуация заявляет о своей символичности, обычное дает крен и вызывает брожение.

Но сначала бурный процесс созидания города. Начинал художник с московских гравюр, изучил старый город досконально — и воочию, и по давним фотографиям. А затем конструировал, стремясь создать индивидуально-типическое: «Улица Замоскворечья может быть продолжена через всю Россию». Этот обобщающий посыл определил и дальнейшую судьбу Кращина. Он стал Конструктором. Не архитектором, но птицей, пчелой или муравьем. Принялся лепить таинственные города, где не протиснуться. Города приближались к набережной сплошным массивом изящно-вычурных разнообразных строений, составляющих в совокупности некий единый сверхстиль. Ни души, ни дуновения. Города спящие или оставленные жителями, а скорее всего незаселенные. Город городов, миф о мегаполисе. На полотне возникает иллюзорное пространство — белый город под темным небом над зеленой водой, как огромная гора, просверленная множеством пещерных пятен-окон; город клонящийся, разрушающийся... По примеру Свифта создает художник и летающий город («Автономное плавание», «Ковчег»). А разве земля наша не летает? И плавающий город. В темно-коричневой гамме загадочный корабль-город, плывущий то ли по морю, то ли посуху. Он соткан-слеплен из множества дощечек и оброс башенками. Корабль-замок, дикий растительный. И всерьез, и пародия на корабль, и невеста кем замысленная архитектурно-судоплавательная форма. Вещь в себе. Город — подвижное, преобразующееся явление, вот он перерастает в некие окаменелые стволы, иные формы материи, погружается в воду. Даже «Натюрморт» у Кращина — собрание перпендикулярно выточенных и скрепленно-спросанных многоцветных, разнофигурных, разноставных частей, соединяющихся в целое: город или замок. Крацин показывает органичность собрания индивидуальностей.

Художник созидает города и ищет жителей этих городов.



«Ловушка». Холст, масло. 1987 г.

Николай КРАЩИН
г. Москва.

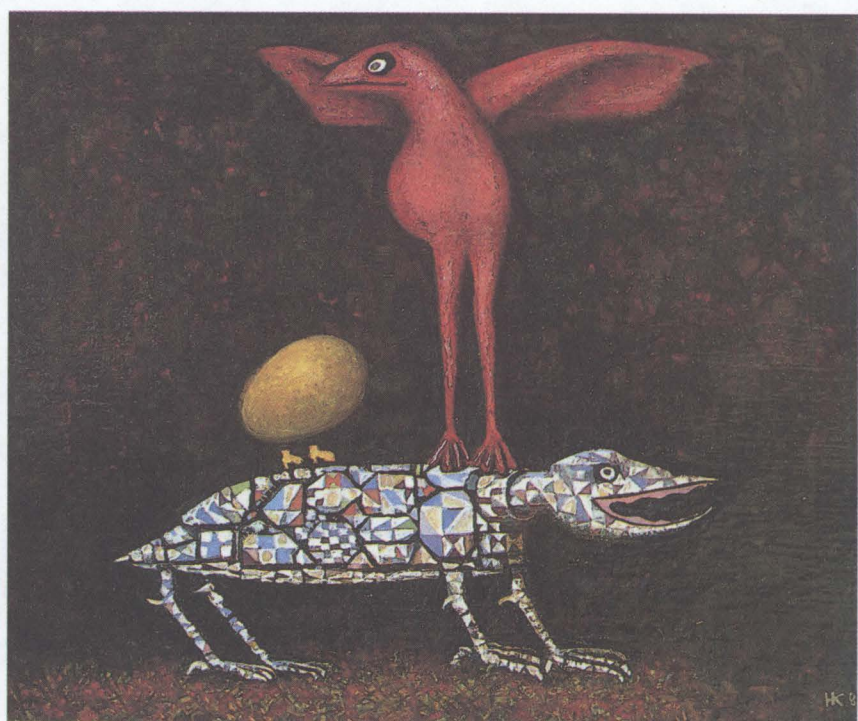
«Нашествие». Холст, масло. 1989 г.



«Белый натюрморт». Холст, масло. 1989 г.



«Звери в яме».
Холст, масло. 1987 г.





«Битва с инфузорией».
Холст, масло. 1988 г.



«Корабль». Холст, масло. 1989 г.

Процессы идут параллельно и пока не пересекаются. Краштин ищет первопричину. Все, как известно, начинается с яйца, зерна Вселенной, вечно заключающего в себе жизнь. Выстраиваются вариации. Некая форма с яйцедержалкой, в ней яйцо; форма с узкой чашей, из которой поднимается миниатюрная обнаженная женщина; птица, стоящая на яйце, как некая форма; крышка, сплавленная из голов, приоткрывает белую вазу, а в ней чаша с тремя яйцами, которые, как подушки, лежат друг на друге.

Женщина и яйцо. Птица и яйцо. Птицелюди. Зерно жизни и его хранители. Красная быстрая птица стоит на мозаичном яйцеподобном; рядом — желтое яйцо на ножках... В апофеозе рождения — образе «Весны», «праматери всего живого» — красноногие деревья увенчаны большими яйцами, мимо важно проходит красноклювая, красноголовая птица, сотканная из множества босховских существ, уродцев, птиц, ящеров и т. д. И современная технократическая модификация: «Механическая птица», грустно ожидающая, составленная из колесиков, трубочек, пружиночек. Земля вокруг усеяна этими мельчайшими железками. Механическая птица, важно находясь, сидит на яйце...

Краштин стремится отобразить в своих картинах мир множеств, как оно и есть в жизни. Слагающие форму единства часто неожиданны, но мы не можем отрицать возможную справедливость их появления. В вырезанном куске вечной мерзлоты («Вечная мерзлота») спрессовались растения и животные, создавая новые формы и структуры. Художник определяет границу бытия частиц. В «Битве с инфузорией» в круге-шаре красная инфузория сражается с сине-зеленым множеством «войск». «В капле воды» микроформы похожи на все что угодно — будто бы они прародители и животных, и людей, и строений, и машин. Из огромного количества предметов создан «Пожарный». Краштин показывает на микроэлементы бытия не только в сюжетно ограниченной замкнутости, но в виде достаточно вольных собраний, в форме организованного хаоса — они как звери на лежанках. «Экспонаты»: кисти, краски, поролоновые игрушки, куклы, существа в чехольчиках. «Террариум»: густо-густо ползающие пресмыкающиеся. «Биомассы»: красочные, лохматые, составляющие разнообразные структуры, называемые критиками живо-морфизмами или витальностью органики. Именуют их и неопределенными объектами. По аналогии с днем сегодняшним их можно было бы назвать неопознанными объектами, появляющимися в глубинах сознания художника.

Один из «неопознанных объектов» — насекомое. Малая форма, разнообразие видов и подвидов, сверхподвижность... Но главное — три решающих ипостаси: личинка — куколка — собственно насекомое. Жизненный закон — процесс. Изображая «Кладоискателей», кладом Краштин показывает личинку — первооснову. Огромная, суковатая, вооруженная кинжалом, лежит она глубоко под землей в ожидании, подобная бронированному рыцарю. А по пестрой земле, руководствуясь ореховым прутиком-путеводителем, шагает отряд амебообразных существ — красноватых, зеленоватых, синеватых, крылатых, ушастых многоножек. В «Похоронах» большое голубое насекомое возлежит на красных санях в центре трехэтажного разреза — вокруг суетятся разноцветные кругло-длинные существа.

Итак, ребус, обозначение таинственной несурзацы, чьи знаки рождаются легко и таинственно. «Лабиринт в парке» — боскеты в виде лабиринта. Ходы из кустов кажутся загадочно уводящими, но вспомним: в прошлом такие парковые лабиринты были не в диковинку.

Художник балансирует на грани времен, понятий и представлений. Он вспоминает, предвидит, фотографирует смуту своего подсознания. Стал изображать перевязанные деревья интуитивно, а выяснилось: это имеет древнесимволическое обозначение. Знаки соединяются в символические ряды. Иногда это перпендикулярные гнезда-башни — фигуры, слепленные птицами, муравьями, животными («Заповедник»). Но живут в них человечки. Они выглядывают в окошки и призывно дудят в дуду. А иная башенка, если присмотришься внимательно, и сама оказывается запеленутым человечком. Когда изображение усложняется, человечек становится синим коконом с живым личиком. На узловатом стволе вырастает цветной терем, в окошках — дударь, девица, человек со светящимися глазами, рядом башня возрастает, дерево-фонарь, каменный колодец с голубой водой жизни и забвения. «Развлечения» представлены нагромождением человечков, читающих газеты на голубоватом фоне небесной бесконечности. Они, застывшие в нелепости

и одетые в коробочки, прошитые нитями, смешными гномами утонули в газетах. Знаменами поднимаются над ними забинтованные деревяшки. А один из человечков взобрался на камень и гордо держит забинтованную палку, как гаишник свой жезл.

Время от времени Краштин декларирует связь своих символических рядов с реальной или исторической действительностью. «Атлантида»: островысокие башенки еще высывающиеся из воды, на них, взявшись за руки, обреченно стоят последние жители. Палитра, как ей и надлежит быть в столь невеселом случае, темноватая.

Когда выдается свободная минута, Краштин спрашивает себя: «Зачем я пишу?» Он ощущает себя поденщиком. Написал картину, продал — есть на что жить, есть, пить. Снова написал картину, продал и т. д. Процесс этот может быть бесконечным. А если прервать? Чем заниматься? «Производством мысли. Вдруг начал бы сочинять стихи». Ему бы хотелось делать то, что не надо продавать. Мягко-нерешительный облик Краштина скрывает деятельную натуру. Ему нравится вырезать из дерева, строгать и паять или, к примеру, такое занятие, как чинить карандаши. Он любит выпестовывать какой-либо предмет и чувствовать себя создателем произвольно рождающегося совершенства.

Природа и творчество — два главных канона. В «Путешествии» Краштин восседает в бумажном кораблике и плывет по реке. Вся программа налицо: путешествие, необычность вида с водного пространства, вечная весенняя самодельная игрушка, которой так необходимы талые воды надежды, весело струящиеся меж обреченного, но еще скованного пласта, уходящего в небытие. Ясность иносказания и в «Человеке и природе»: человек удаляется по тропе, а навстречу нам покойно идет обнаженная девушка... Художник понимает себя как существо во многих ипостасях; как чудодея, умеющего жить в «подпольном» мире рядом с лесовиками и феями. Своих собратьев-соплеменников он показывает и нам. В длинном прямоугольнике картины «В парке, у реки» на белом парапете рядом с другими, коричневатыми морскими монстрами восседает объемистые обнаженные наяды. Из трубы высывается свой брат вольный домовый. А в «Любви к человеку» философская сказка находит свое выражение в образе диковинных зверей. Отдывая пелену обыденности, Краштин воссоздает портреты существ в переходной стадии: после отождествления человека с животным миром или как результат очеловечения природы. Однажды на старинной фотографии увидел он старинное пляжное кресло, имеющее форму перпендикулярно поставленного ковчега. Он поместил в этот ковчег человека и понял, что перед ним ручейник. Хитрованы ручейники собирают все встреченные частички ракушек, приклеивают к себе, создавая таким образом панцирь-домик. Два умника («Ручейники») предстают перед нами в своих саркофагах; беседуют, оживленно жестикулируют.

Чтобы не слишком озадачивать зрителя, Краштин прикидывается скоморохом, обозначает в картине шапку с бубенцами, чтобы зрители с облегчением думали: а ведь не все-речь, паясничает художник. Дураку, мол, все простительно. Ну как по-иному смотреть, как «Дом переезжает»: розовый, разнофигурный, он устроился в гнезде, а гнездо на машиноракете...

Краштин простодушен и незрел. Не вечный ребенок, но отрицающий ту безумную серьезность, которая заставляет людей забывать о роке и космосе, о непостоянстве мира и мимолетности жизни. Прелесть игры воображения и мысли недоступна людям, всерьез играющим в политиков, ораторов и начальников. У своего полотна художник, держащий кисть и кисточку вперекрест, как знак священнодействия, — задумчивый отстраненный проповедник, отдающий веле-ниям души своей...

Борис
КОСТЮКОВСКИЙ

СТАРАЯ ПОДКОВА

Повесть в рассказах

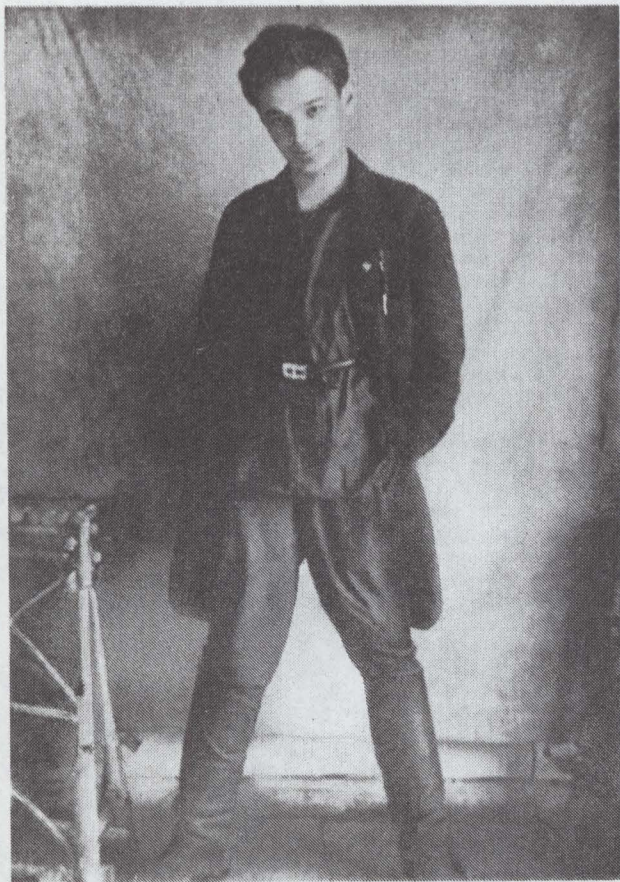


Рисунок
Ирины Шиповской

Мне было лет семь, когда я узнал, что мой дед женится. Четверо моих теток пришли в ужас: деду вот-вот стукнет восемьдесят шесть, а невесте от силы — сорок.

Моя мама почему-то не осуждала деда. Она была младшей среди сестер и любимой дочерью, может быть, поэтому вскоре после смерти бабки дед переселился в нашу семью.

Мой отец любил с ним поговорить в те редкие дни, когда бывал дома. Бродяжья душа, он то ездил «шишковать» — добывать кедровые орехи, то, заключив с «потребилкой» договор, получив под него порох, дробь, продовольствие, уезжал охотиться на пушного зверя в тасеевскую тайгу, то с фатовыми своими дружками, братьями Лопатыными, не прочь был махнуть куда-то в бодайбинские края, «стараться на золоте».

Дома он чувствовал себя словно в гостях. Чаще всего прямо в дохе садился в кресло-качалку — единственную достопримечательность нашей скудной обстановки, вымеченную мамой на бабкину цветастую цыганскую шаль, — и, покачиваясь, рассказывал деду о своих приключениях. Я, мои братишки и сестренки пристраивались где-то рядом и старались не пропустить ни одного слова. Мама, вечно занятая по дому, не особенно вслушивалась в отцовские слова. И, кажется, не очень-то верила ему. А дед, человек могучий, честняга из честняг, добрый и доверчивый, как дитя, был самым очарованным слушателем, если, конечно, не считать нас. Он не разрешал маме подвергать сомнениям хитросплетения необыкновенных отцовских таежных встреч с разбойниками, грабителями, конокрадами. Погони, выстрелы, счастливые находки самородков золота, сражения с «шатунами»-медведями, даже кража одним таким матерым зверем деревенской девочки, которую, конечно же, вызволил из медвежьих лап наш отец, пойдя на него с ножом...

Мы тогда не знали о существовании приключенческой литературы, и рассказы отца вполне восполняли этот пробел.

История женитьбы деда случилась во время длительной, полугодовой отлучки отца.

Тетки заранее объявили деду бойкот, почему-то стали называть его «Гришка Распутин» (деда звали Григорий), и мы усматривали именно в этом «Гришке» самый оскорбительный смысл, не зная только, почему дед превратился в Распутина.

Дедом мы гордились. О нем ходили легенды. Больше всех распространял их наш отец, но и без того мы знали, что дед Гриша когда-то по спору на всем скаку останавливал тройку рысаков, что он один запросто поднимал бочку (отец говорил, сорокаведерную) с солеными груздями. Мы не сомневались в этом: ведь бочки дед делал сам. И бочки. И бочонки. И ушаты. И ведра с ручками из толстой проволоки для колодцев. Дед наш был знаменитый бондарь. Но у него «не падали из рук» и другие ремесла: плотницкое, столярное и даже печное.

Во дворе из каких-то отходов он собрал бондарную, сам сложил печку, о которой отец складно говорил: «Стоит печка, как свечка». На задах нашего дома дед срубил баньку, тоже поставил там печь, натаскал от реки в «горбовике» для ягод камни-окатыши, поставил две бочки для горячей и холодной воды, сделал несколько ушатов разных размеров, деревянные ковши-долбенки с длинными ручками. На чердаке бани каждое лето дед развешивал на жердях больше сотни березовых веников, и их едва хватало до следующего года. Отец наш в предбаннике пристроил свои охотничьи трофеи — рога горного козла и лося. На них вешались полотенца и одежда.

Около баньки стояла засохшая сосна. Отец с дедом спилили ее, и она пошла на дрова. Чтобы было не срамно выбегать голяшом из парной, баньку обнесли высоким забором.

Пень от сосны так и остался стоять, и дед после бани, отдыхая, любил садиться на него.

Возвращаясь после своих поездок, отец первым делом дорывался до баньки. Наверное, это было самое счастливое время в жизни деда и отца. Парились они всласть, не ограничивая себя временем, хлестали друг друга вениками, а зимой, в вечернее время, разгоряченные, красные, выбегали на мороз и ныряли в сугроб. И снова парились, выпивали самовар, а то и два, настоящего на травах чая. Тут же,

Журнальный вариант.

в предбаннике, велись обстоятельные разговоры (говорил, конечно, больше отец, дед только слушал). Любили они почему-то в самоваре варить яйца вкрутую и ели их без хлеба, посыпая крупной солью и закусывая луком.

Дед и отец пытались и нас, ребятишек, пристрастить к парной, но только младший мой братишка, Алеша, не отставал от них, позволяя лупить себя на верхнем полку венником и даже просил прибавить пару. Дед души не чаял в маленьком Алеше, прозвал его Чубариком, купал после парной в снегу, подбрасывал вверх на руках и приговаривал непонятные слова: «Жорж Борман — самые вкусные конфеты»... Мы почти не знали вкуса конфет, да и сам дед едва ли их пробовал, он напрочь не любил ничего сладкого, а вот поди же, знал какого-то Жоржа Бормана, который делал конфеты.

Вкусы отца и деда совпадали. После бани, чаепития (у каждого при этом на шее — по полотенцу), после крутых яиц с луком, они любили съесть по тарелке борща. Отец, громко прихлебывая горячий борщ солдатской ложкой, отлитой из какого-то серого металла, с которой не расставался, говорил:

— Живем мы неплохо, хлеб всегда есть...

Он всегда довольствовался самым малым: часто голодал и холодал, все, что зарабатывал, приносил в дом, воевал с матерью, если она позволяла себе, по его мнению, лишнее. Вот взяла и выменяла какое-то кресло-качалку. Неужели нельзя было обойтись дедовой табуреткой? Тут же, правда, он сам первый уселся в это кресло-качалку, и с тех пор оно стало излюбленным — папиным.

Мы пропадали у деда в его бондарной. Нравилось нам здесь все: запах распаренных ободьев для кадушек, и то, как дед натягивал на бочки железные обручи, подбивая их клиньями и деревянным молотком, и как строгал шершавой заранее заготовленные, одинакового размера дощечки, и как скреплял для бочек днища и крышки.

Раз в два месяца из «потребилки» приходила подвода, и глухонемой кучер Кузьма, закадычный дедов друг, грузил на нее готовые бочки и кадушки.

Дед сидел на табуретке у бондарной, положив на колени руки в шрамах и ссадинах, и смотрел синими молодыми глазами на то, как Кузьма не спеша делает свое дело. Что он думал в эти минуты, сказать трудно. Может, жалел, что все это добро увозят?

Мы вертелись около Каурки, спокойной лошади Кузьмы, позволявшей нам подлезать ей под брюхо, забираться по оглоблям верхом, любили кормить ее хлебом прямо из рук, и ни Кузьма, ни мама, ни дед не мешали нам.

Когда отец в такие дни бывал дома, он тоже не отходил от Каурки, начинал ее почему-то перепрыгивать, делал все это ловко, сноровисто, и получалось так, что понурая, немолодая Каурка вдруг поднимала голову, и дуга, и хомут, и шлея, и вся ее лошадиная справа выглядела на ней по-новому. Она приободрялась, словно молодела.

Довольный Кузьма хлопал себя по бокам, цокал языком и показывал большой палец.

Отец был задымленным лошадиным. И мы не уступали ему в этом. Но единственным объектом нашей любви была Каурка, в то время как отец нет-нет, а исчезал из дома на базар, и мне кажется, его знали все цыганы. Дед, наблюдавший, как он управляет с Кауркой, одобрительно говорил:

— Вот так, Кузьма, братец, лошадей запрягать надо!

Но зная, что Кузьма его не слышит, начинал объясняться с ним на пальцах.

Кузьма увозил бочки, а дня через два-три, а другой раз и на завтра, появлялся снова, что-то мычал, широко улыбался беззубым ртом, и тут уж дед, понимавший его, помогал сгружать материал.

Конечно, дед выполнял и частные заказы. По договоренности с председателем «потребилки» Русаковым, которого мы никогда в глаза не видели, дед имел право сделать из казенных материалов кое-что и для себя. Чаще всего вместо бочек — они особого спроса не имели — дед делал кадушки и ушаты для бани. Денег за них он никогда не получал: все расчеты с покупателями вела мама. Она приводила с базара, который с раннего утра шумел через дорогу от нас, деревенских мужиков и баб и выменивала на дедовы кадушки дрова, яйца, мясо, а иногда и мед. Деньги из «потребилки» тоже целиком поступали в распоряжение мамы.

Дед не пил и табака не курил.

— Вот потому он такой здоровый, — говорила мама, — потому и годы его не берут. Пускай живет до ста двадцати лет.

А дед и в самом деле был здоровый. Бочки с грузями, правда, он теперь не поднимал, лошадей на скаку не останавливал — эти забавы остались где-то далеко в молодости, — а вот на наших глазах колол по целой сажени дров, легко, как игрушечным, помахивая колуном, так что нам казалось, будто толстые березовые чурбаки разлетаются от одного к ним прикосновения.

О деде отец говорил: «Косая сажень в плечах» и «Немереная верста».

Ребята на улице боялись нас обидеть. Не говоря уже об отце, горячем, готовом вступить в любую драку, «заводном», как говорила мама, но всегда далеком, редком госте в доме, главным нашим заступником был дед.

Едва ли за всю жизнь он с кем-нибудь подрался. Но одного вида «Немереной версты» и «Косой сажени» было достаточно, чтобы утихомирить кого угодно.

Так мы жили, пока однажды у нас не появилась незнакомая женщина.

Собственно, впервые она появилась не в доме, а в бондарной у деда. Пришла к нему заказать ушат, а потом повидалась бывать почти каждый день.

В городке нашем каждый знал все о каждом, а иной раз даже больше, чем следовало.

Евдокию (так звали нашу новую знакомую) пригнал в Сибирь откуда-то с берегов Волги голод. Прямо на перроне нашей маленькой станции сначала умер ее отец, а потом и муж. Было это в двадцатом или в двадцать первом году. Каким-то чудом молодая женщина выжила. А скорее всего, этим чудом оказался доктор Чернышов. Он лечил и взрослых, и детей, лечил от всех болезней. Вылечил когда-то он и нашего отца. Этот человек не расставался с деревянной трубочкой: ее он, выслушивая, прикладывал и к моей худой груди, где, по словам мамы, были только ребра, обтянутые «гусиной кожей».

Так вот, по городским преданиям, доктор Чернышов, перешагивая на деревянном перроне через мертвых и еще живых беженцев, увидел молодую женщину, принял ее сначала за мертвую, потом поднял закрытые веки, убедился, что она еще жива, и на больничной лошади перевез к себе домой.

Так и осталась беженка жить у одиноких Чернышовых, став для них самым родным и близким человеком.

Сначала мы не обратили внимания на эту женщину. К нашему делу заходили многие, кто по делу, а кто просто «на огонек». Иногда его приглашали на базар, разрубить овечью, телячью или коровью туши. Для этой цели у деда был особый топор.

Отец, покачиваясь в кресле, говорил нам, что этим топором отрубили голову Емельяну Пугачеву. Распутная царица Катя упрята в палача в Сибирь, а он прихватил с собой топор... И следовал длинный рассказ о палаче, о его зверствах уже на больших дорогах Сибири...

Отец увлеклся, глаза его начинали косить, у рта подергивалась жилка — верный признак того, что он волнуется. Конечно же, дело не обошлось без нашего отца: сбежался как-то стежки-дорожки пугачевского палача и отца. Чуть жизни он не решился, но прикончил палача из берданки, а топор привез в подарок деду.

Мы верили, а мама — нет. Она все-таки окончила три класса гимназии, и, по ее подсчетам, палач Емельяна Пугачева мог быть убит отцом по крайней мере двести лет тому назад...

Итак, сначала Евдокия-беженка приходила к деду смотреть, как он делает для нее ушат, потом каждый раз просила его сходить с ней на базар отрубить кусочек мяса получше. В общем, у нее находились все новые и новые поводы для того, чтобы забежать к деду «на минутку». А «минутки» эти длились часами, да так, что мы, еще ничего не понимая, сердились на беженку: нам почему-то неловко стало бывать у деда в бондарной.

И вот случилось самое удивительное: дед объявил своим дочерям, что женится. Женится на Евдокии-беженке.

Дочери взбунтовались.

Старшая, тетя Женя, самая образованная, — дед «тянул-ся из последнего», по словам нашего отца, чтобы дать ей образование, она единственная в семье окончила гимназию и теперь стала учительницей, — это она назвала деда «Гришкой Распутиным». Помня, что царица Катя была распутной, мы постепенно догадались, какой смысл вкладывался в слово «Распутин». И она же, тетя Женя, видя в окно, как дед и Евдокия-беженка шли по двору на базар, держась за руки, сказала:

— Боже мой! Только посмотрите на эту Джульетту! Кто такая Джульетта, мы и подавно не знали. Может быть, об этом не знала даже мама. Но то, что Джульетта — дурная женщина, уж наверняка распутная, почище Катьки, мы теперь не сомневались.

Бедная мама, она не догадывалась, что мы все понимаем или почти все, иначе бы она при нас не сказала тете Жене: — Ну что тебе надо? За что ты так обижаешь отца? Вспомни лучше своего австрийца...

Ах, не надо было маме вспоминать об австрийце. Это было «болезненное место» тети Жени. Муж тети Жени, как и наш отец, надолго уезжал из дому по каким-то делам, он бывал даже в Монголии, и вот в это время (опять по словам нашего отца) она «спуталась с пленным австрийцем».

— Ты сравниваешь, ты сравниваешь, — задыхаясь от гнева, выкрикивала тетя Женя, — меня, молодую женщину, измученную одиночеством, и выжившего из ума старика! У меня с Эгоном была любовь! Он отказался возвращаться в Австрию, он чуть не лишил себя жизни!

— Евгения! — непривычно строго сказала мама, которая уважала и даже побаивалась свою старшую сестру. — Не смей так говорить о папе. У них тоже любовь. Они не могут друг без друга.

— Нет, ты определенно спятила вместе с ним.

— Думай, что хочешь. Я сама не знала любви. Пусть хоть они будут счастливы.

Вот оно, оказывается, что: мама не знала любви! А как же наш отец? Значит, она не любит его? Почему же она так радуется, когда он приезжает?

Ну и денек выпал: мы, забившись на печке, притаились, как будто нас здесь и не было.

— Хорошо, хорошо. У тебя не было любви, у этого нового Гришки Распутина — любовь. Но скажи тогда, где молодые-счастливые будут жить?

— Молодые будут жить у нас, — просто сказала мама. — Вот в этой спальне.

В «спальне», маленькой комнатенке без окна, когда не было отца, спала мама с двумя моими сестренками. Когда же приезжал отец, то сестренки перебирались к нам, братьям, на русскую печь, которая занимала чуть не половину «залы». Это была и кухня, и столовая, и тоже спальня. Вот и весь дом, который наконец обрела наша семья после многолетних мытарств. Никто не хотел сдавать внаем квартиру такой многодетной семье.

Каким-то чудом матери удалось выпросить в коммуназе этот полуразвалившийся дом. Дед с помощью Кузьмы подвел под него новые венцы вместо сгнивших, покрыл тесом давно прохудившуюся крышу. Дед же сложил эту русскую печь, на которой было так тепло спать и в которой мать выпекала хлеб, варила любимые дедом и отцом щи-борщи, а в хорошие времена — и пельмени в бульоне.

Опять же дед отгородил от «залы» эту «спальню», устроил просторные сени — так что в морозы можно было не открывать дверь прямо на улицу, — и в новых сенях зимой хранились мороженое молоко, пельмени (мы их лепили всей семьей), а в дедовых бочонках — брусника, облепиха и кедровые орехи. Орехи-то у нас были, особенно в годы, когда отец уходил «шишковать».

— Что же, я на улицу их выставляю? — говорила мама. — Он (это дед) — моя палочка-выручалочка. Без него мы бы пропали.

— Как знаешь, — сказала тетя Женя, — а у меня отца больше нет.

И, поправляя на носу свое пенсне на шнурке, величественно пошла к двери.

Та-ак, значит, вот она какая, тетя Женя! Да и все другие тетки. Все они заодно. Недаром наш отец так не любит их. Значит, Гришка. Значит, Распутин. Значит, Джульетта. Ну нет! Пусть лучше в спальне живут молодые. Пусть они будут счастливы. Они же любят друг друга...

Кто-то из нас крикнул:

— Мама! Не слушай ее! Она вредная.

Мама испуганно посмотрела на нас и отвернулась: глаза ее были полны слез.

Кажется, впервые мы видели, что мама плачет. А ведь она у нас была очень веселая. Стирала — пела, мыла полы — пела, готовила обед — пела. Летом, когда окна открыты настежь, ее голос был слышен с улицы, и люди останавливались.

Отец любил рассказывать, как однажды заезжие актеры услышали ее голос и «сошли с ума». Они умоляли ее бросить все и уехать с ними в Москву, в самый большой театр.

— Муся! — обращался он к матери. — Так это было?

— Было, было, — сердито отмахивалась мама.

— И что бы вы думали? — продолжал отец. — Она этим залетным птичкам так прямо и отрезала: «Что значит бросить?! Чтобы я бросила мужа, бросила детей?» Муся! Так ты им ответила?

— Именно так, — серьезно, без улыбки подтверждала мама. — Чтобы я бросила такого мужа?..

— Тут, понимаете, какое было дело... — И следовал расказ.

И опять глаза его косили, а около губ подрагивала предательская жилка.

Маму очень беспокоило, как отец отнесется к женитьбе деда. Этого заранее нельзя было предугадать. Скорее всего ему такая новость не понравится. Одно дело — дед, очень удобный, покладистый, доверчивый, другое — женатый, да еще на молодой женщине. Новая семья в таком тесном доме.

Ровно шесть месяцев от отца не было ни слуха ни духа. Сняли его дружки-приятели на верное дело — мыть золото. Но захватили они с собой и берданку, и капканы, и другое охотничье снаряжение.

— Летом помоем золото, а в зиму махнем в Баргузинскую тайгу, на соболя, — говорил отец, уезжая. — Баргузинскому выходному соболю цены нет.

И вот, когда мы уже устали ждать отца, он появился. Обросший бородой, из-за чего его маленькое лицо стало неузнаваемым, словно отца нашего подменили: перед нами стоял незнакомый оборванный мужик, в стоптанных сапогах, в зипунишке, с тощей котомкой за плечами. Небольшие его глаза стали и того меньше, смотрели куда-то в сторону и часто-часто моргали, будто в них попали соринки.

— Что с тобой? — испуганно спросила мама.

Не отвечая, как был, он упал в кресло-качалку и вдруг разразился такой скороговоркой, что привыкшая к бешеным вспышкам его гнева мама только развела руками.

— Пьянчужки! Ворюги! Р-разбойники! Подлецы! — сыпал отец без остановки. — Бродяги! Проходимцы! Кр-рово-пийцы!..

— Кто? — пыталась остановить этот поток мама.

— Как будто ты не знаешь! Эти обормоты, гады, заразы, душители...

— Кто?!

— Я же сказал...

— Ну, ну, — спокойно проговорила мама, — я предупреждала тебя, не связывайся больше с Лопатиными, ты снова все забыл, все простил, и вот даже имени их выговорить не можешь.

— Чтобы я еще называл их поганые имена! Они меня обворовали, я вернулся пустой как бубен!

— Ладно, нечего теперь размахивать руками. Переживем, — сказала мама. — Не первый раз. И остались живы, с голоду не умерли. Раздевайся и поздоровайся с детьми. Они так тебя и забыть могут.

Мы не стали дожидаться, когда он разденется, облепили его со всех сторон, и он, стараясь нас обнять, вдруг, как ни в чем не бывало, в своей манере стал рассказывать:

— Тут, дорогие мои детки, понимаете, какое дело произошло...

Мама ушла к деду в бондарную и велела топить баню...

Только после бани, когда отец, распаренный и благодушный, побрился (а бриться он не умел, весь порезался «как баран», по его же определению), мама осторожно сказала ему о предстоящей женитьбе деда.

Отец вдруг и совсем повеселел.

— Вот это тесть! Вот это орел! — воскликнул он. — Надо сделать свадьбу.

— На какие деньги? — спросила мама.

— Ну что ты, Мусенька! — Это уже было высшим расположением духа. — Как-нибудь выкрутимся.

— Крутиться-то придется мне, да и каких гостей ты собираешься приглашать? Сестры мои ни за что не пойдут.

— Нам и даром их не надо! Была бы свадьба, а гости всегда найдутся.

И он был прав.

Пришел доктор Чернышов с женой, дед пригласил из «потребилки» глухонемого кучера Кузьму, а отец — председателя Бразнинской коммуны, с длинными, как у попа, волосами, в пенсне, точь-в-точь похожем на тетки Женины. Отец случайно встретил его на улице и притащил в гости.

Знакомством с председателем знаменитой коммуны, посланным из самого Новосибирска, отец очень гордился.

Дед, с аккуратно подстриженной бородой, со светлыми волосами, в которых не было видно седины, облаченный в желтоватый чесучовый пиджак, был похож на настоящего жениха. Какой жених бывает настоящий, мы и сами не знали, но так сказал отец. Он-то уж в этом понимал. А невеста! Ах, какая была невеста!

Жена Чернышова достала из сундука свое подвенечное платье, все в тонких кружевах, и оно пришлось впору Евдокии-беженке.

И без того большие синие глаза ее, такие же синие, как у деда (отец утверждал, что беженка похожа на деда «как две капли воды»), были распахнуты. Она то улыбалась, то вдруг грустнела, не переставая, теребила кружевной платочек — тоже подарок жены Чернышова.

Сам Чернышов недоуменно поглядывал на всех: ему как-то не верилось, что все сейчас происходит всерьез. И особенно пристально он смотрел на деда. Знал он его давным-давно — они были почти ровесниками, — но доктор не лечил деда, по той простой причине, что он никогда не болел.

Председатель Бражнинской коммуны то и дело закидывал голову назад, поправляя падающие на глаза длинные волосы, и говорил, обращаясь к деду:

— А что я хочу вам сказать, поедете к нам в Бражную. Мы тут же примем вас в коммуну. И жену вашу примем. Нам такие люди, как вы, нужны.

— У нас тут своя коммуна неплохая, — говорила мама, — а папа у нас вместо председателя. На него, — она махнула в сторону отца, — надежда плохая. Его можете забирать.

— Но-но! Машутка! — притворно-грозно говорил отец, поглаживая свои щеки с пучками несбритых волос. — Не бросайся! Можешь пробросаться. А кто-нибудь враз — и подберет. Правильно я говорю? — игриво обратился он к беженке.

Та смущаясь взглянула на деда и не нашлась, что ответить. Но за нее ответил бражнинский председатель:

— А что? И подберем. Нам такие люди в коммуне тоже нужны.

— Уж как вам — не знаю, а у нас он не лишний. Когда, конечно, дома бывает. Пусть остается, — сказала мама.

— Оставайся, папа! — закричали мы хором.

Довольный, отец заулыбался, не разжимая губ. В драке со своими друзьями братьями Лопатыными ему выбили два передних зуба, и он приспособивался сейчас не показывать это.

— Пожалуй, ты и права, Машуха, — заключил отец. Чаще всего он соглашался с мамой. Особенно когда она не мешала его вдохновенным рассказам.

Один Кузьма не мог понять, что здесь происходит. Он сидел за столом рядом с беженкой, она подливала ему в стакан церковное вино (рюмок у нас не водилось), которое мама извлекла из своих неприкосновенных запасов, на случай болезни кого-либо в семье. Кузьма с наслаждением пил, причмокивал, покачивая головой, закрывая от удовольствия глаза.

Объясняться на пальцах с Кузьмой мог только дед, и ему едва ли удалось растолковать своему другу, что он нынче женится.

Только когда бражнинский председатель закричал: «Горько!» и когда с места поднялся во весь свой рост жених, а сияющая невеста, едва доставшая ему до плеча, закинула ему за шею руки и поцеловала его, Кузьма радостно крикнул, вскочил со стула, замахав руками, захотел и так выразительно зачмокал беззубым ртом, так сморщился, что всем стало ясно: ему горько это сладкое вино.

Наш жених осторожно прижал к себе тоненькую беженку и поцеловал ее не один, а три раза.

Теперь Кузьма все понял. Он взял маленькую руку беженки, подержал, погладил, потом соединил с рукой нашего деда. Беспомощно что-то поискав глазами, стянул со своей шеи шарф, с которым не расставался ни зимой, ни летом, перевязал крепко руки жениха и невесты и опять сморщился, мученически зачмокал: снова ему было горько. Но дед вдруг что-то шепнул невесте, и та взяла и поцеловала Кузьму.

— Вот теперь ему будет сладко! — ликовав наш отец. — Ах Кузьма, ах хитрец, даром что не слышит, даром не говорит, а его на мякине не проведешь. — И сам полез целоваться сначала с дедом, а потом с беженкой.

Мама лукаво поглядывала на него.

— Уж не знаю, кто здесь хитрец, — сказала она посмеиваясь. — Только не Кузьма.

— Машуха! Обожди! — скомандовал пьяным голосом

отец, хотя не выпил ни капли и всегда гордился, что не знает вкуса ни водки, ни вина. Однако, бывая в компаниях, где пили, он тут же начинал хмелеть сам, рассказывал смешные истории, страшные свои приключения, и обязательно про войну. — Обожди. Я расскажу, как меня ранило...

В шестнадцатом году он был призван в армию и через три месяца в составе стрелкового сибирского полка отправлен на фронт. Там он получил осколочное ранение в ягодицу, полтора года провалялся в госпиталях, а рана никак не заживала, гноилась.

Мама съездила за ним через всю Россию и привезла домой. Тут уж вступил в дело лучший на всем свете городской доктор Чернышов. Именно он и наша бабушка Ася, мать нашего папы, «поставили его на ноги».

Но это случилось уже, когда война отшумела.

На месте ранения у него остались шрамы. Рассказывая о войне, отец очень распалялся, на щеках его выступали красные пятна, и однажды я видел сам, как он спускал штаны и показывал людям раны, полученные от проклятой немчуры.

— Муха, в каком месяце это было? — призывал он в свистели маму.

— Откуда я знаю? — отмахивалась мама. — Разве я там была?

— Но я написал тебе письмо.

— Не помню.

Если мама как-то мирилась с рассказами отца о его невероятных приключениях в тайге, о том, как он один справился с тремя налетчиками или как спас от верной смерти командира партизанского отряда Сухорукова, то история с захватом пулемета и ранением, которая иной раз кончалась демонстрацией ран, выводила ее из себя.

Собственно, при маме уже до этого не доходило. Одно из сурового взгляда было достаточно для того, чтобы привести отца в чувство.

При маме он мог даже рассказывать, как уколошил палача Емельяна Пугачева, это была такая славная история, а топор, настоящий палаческий топор, целая секира — вот он, налицо, и его можно было тут же показать. Мама при этом милостиво опускала глаза и не пыталась больше заниматься выкладками и подсчетами возраста палача Емельяна Пугачева.

Только большим «опьянением» отца и желанием поправиться беженке можно было объяснить, что он вдруг, в присутствии мамы вспомнил о войне.

— Об этом ты расскажешь в другой раз, — решительно остановила его мама. — А сейчас мы споем.

— Пожалуй, ты права, Муся, — тут же согласился отец. Петь он любил ничуть не меньше, чем рассказывать. У него не было ни слуха, ни голоса, но наша правдивая мама никогда ни одним словом не дала ему этого понять.

— Спой, Машуха. Спой сначала ты, — скомандовал он. — Знаете, как она поет? — обратился он к бражнинскому председателю. — У нас в зале дрожат стекла от ее голоса.

— Хорошо, хорошо, — остановила его мама. — Я же сказала, что мы будем петь все вместе.

Отца это тоже устраивало.

Мама запела, мы все подхватили за ней: хор у нас был довольно слаженный. Отец в этом хоре выделялся. Если стекла и дрожали, то от его голоса. Слов песен он почти не знал, старался только петь громче всех. И особенно любил песню «Сижу за решеткой в темнице сырой».

Конечно, отец тут же вспомнил, как сидел в сырой темнице, как наша мама задобрив чем-то часового-чеха и вызволила отца, а вместе с ним командира партизанского отряда Сухорукова. И поэтому чудом они остались жить. Назавтра белочехи расстреляли всех арестованных и стали грузиться в эшелон. Они навсегда покидали наш город, оставив трупы десятков расстрелянных людей.

Молодые не остались в «спальне», они ушли жить в бондарную.

Мама велела звать Евдокию-беженку тетей Дусей, мой братишка Чубарик не выговаривал букву «с» и стал называть ее «тетей Душей». Так оно и повелось: Душа и Душа.

Почему-то не только мы, ребята, но и мама, и отец называли ее этим именем. А дед даже говорил: «Моя Душечка, Душа».

— Душа ты моя ненаглядная, — ласково обращался он к ней, думая, что никто не слышит. Но мы, ребята, все

слышали, а иногда и видели. Однажды в окно бондарной мы выглядели, что тетя Душа сидела у нашего деда на коленях, и они целовались. Мы об этом тут же рассказали маме, и она наградила нас тумачами, что позволяла себе крайне редко.

— Не смейте подсматривать! — наставляла она нас. Но соблазн был так велик, что мы не могли сдержаться.

Наш отец всем рассказывал: «Живут они у нас, поживают душа в душу». Мы почему-то «душа в душу» связывали с новым именем, придуманным Чубариком.

Дедова бондарная преобразилась. На окне появилась занавеска, на одной стене — ковер, сотканный самой тетей Душей из крашенных ниток. Дед смастерил широкую деревянную кровать. Она была застлана дотканым покрывалом. На полу лежал коврик из лоскутков. Тетя Душа привезла с собой от Чернышовых зингеровскую швейную машинку и первым делом стала обшивать деда, отца, маму, и нас, ребятишек. «На все у нее хватает время», — хвалила ее мама.

Да, все она умела. Не только «щи-борщи», но и пельмени, и пироги с рыбой, и сибирские шаньги, и жаркое, и начиненные орехами и еще чем-то кролики, и многое другое стало появляться у нас на столе.

Почти каждый день тетя Душа убегала к Чернышовым и помогала им по дому.

Весной она вместе с дедом вскопала во дворе землю под огород, а к середине лета у нас появилась своя зелень и овощи.

К бондарной, опять же с помощью Кузмы, дед пристроил комнату, и отец, посмеиваясь, говорил: «Вот те терем-теремок, Душа в тереме живет».

К тете Душе стали приходиться заказчицы шить платья. Заявился однажды и фининспектор. Он объявил, что тетя Душа должна платить налог.

Больше всех возмущался отец: «За что налог? Какой она убыток приносит государству? Я дойду до Калинина, а это безобразие поломаю!» Но до Калинина он так и не дошел, а вскоре подался в одну из своих бесконечных поездок.

Пятнадцати лет меня по комсомольской линии отправили работать в северный район — на реку Речицу. От своего города по зимнему пути я добирался туда с обозом «Востсибушнини» двенадцать дней. Морозы стояли сорокаградусные, и чтобы не замерзнуть, надо было все время греться — бежать за санями.

На одной из ночевок меня угораздило съесть несколько ломтей мороженого свиного сала и запить его молоком. Что потом творилось с моим желудком, рассказывать не стоит. Плохо начиналась моя работа в райкоме комсомола: прямо с дороги я угодил в больницу.

О том, как жил, каких людей встретил на новом месте, какие испытания выпали на мою долю, тогда, по сути, еще мальчишка, — особый разговор.

Только через три года я снова попал в свой город. Было это в летнюю пору. До Стрелки, где Речица впадает в Кедровую, мы шли на катерке «Комсомолец», от Стрелки по Кедровой до краевого центра — на большом пароходе. Слово торопя время, я почти не уходил с палубы в каюту и все смотрел, смотрел на проплывающие скалистые, обрывистые, поросшие соснами и елями берега.

Мне не терпелось скорее домой.

От краевого центра — несколько часов поездом, и вот наша станция.

Больше полугода я не получал писем и не знал, как он живет, мой дом. Я вез маме все деньги, которые получил за три года, большие по тому времени деньги, — семьсот рублей. Вез подарки и маме, и отцу, и деду, и любимой бабушке — матери нашего отца, и, конечно, своим братишкам и сестрейкам. На себя я истратил ничтожно мало — этому, наверное, научился у отца. Единственная роскошь, которую он себе позволял, — два раза в месяц ходить в парикмахерскую, бриться с одеколоном, горячим и холодным компрессами и с пудрой.

Бриться я к этому времени только-только начал. Парикмахера в нашем райцентре не было, и этим искусством мне пришлось овладеть самому. Брился я каждый день. Опасной бритвой, чтобы борода росла скорее.

Собираясь домой, я отпустил усики, и казался себе молодец молодцом.

С самого раннего детства я мечтал о том, что вот вырасту большим, уеду куда-нибудь далеко-далеко, как отец, и буду

неожиданно возвращаться домой. Все обрадуются, а я сяду в любимое отцово кресло и начну рассказывать...

Вот оно и случилось так: я открываю дверь в сени, потом в «залу», сестренки и братишки сначала меня не узнают, потом поднимают радостный крик. Тетя Душа бросается ко мне, обнимает и долго не выпускает из объятий. Ах, эти женщины, зачем по всякому случаю плакать, даже тогда, когда надо радоваться?

Отца дома нет, он завербовался на целый год перегонять скот из Монголии в Читу. Мама ушла платить деньги за аренду дома, а дед, наверное, как всегда, в своей бондарной. Надо скорее к нему. Но тетя Душа не пускает меня.

— Нет его, нет его! — обливаясь слезами, приговаривает она.

— Как нет? — закричал я.

— Его нет совсем.

Оглушенный, я опускаюсь в кресло.

Не суждено мне забыть этот горестный день. Годы и годы пролетели, но наяву и во сне ко мне приходит все, что я услышал от моих родных. Приходит, будто я сам все это видел и пережил.

Дед наш под Новый год всегда мылся и парился в бане. Так было и на этот раз. Скучновато было ему париться без нашего отца, но его постоянный компаньон, мой братишка Чубарик, как всегда, вертелся около него. Дед набросал деревянной лопатой около бани большой сугроб снега и парился, как он любил, вдосталь. Разгоряченный, облепленный листьями от веника, он бросился в сугроб с высокого крыльца и так и остался лежать, покрытый снегом. Только ноги его торчали из сугроба. Чубарик позвал его раз и два, подергал за ногу, но дед не отвечал. Тогда Чубарик громко закричал, на его голос прибежали мама и тетя Душа. Дед был мертв. Он ударился головой о пень, скрытый под снегом, тот самый пень, на котором он любил сидеть, отдыхая.

...Когда гроб опустили на полотенцах в могилу, тетя Душа, с горстью земли в руке, ступила на ее край и вдруг бросилась вниз. Гроб вместе с тетей Душей пришлось снова поднимать наверх. Она лежала, обхватив его руками, истощенно повторяя одно и то же:

— Не дам!.. Не дам!.. Не дам!..

Так закончилась история любви моего деда и Евдокии-беженки.

Даже непримиримая тетя Женя и все мамыны сестры, хотя и поздно, но поверили в эту любовь.

Тетя Душа тяжело заболела, и если бы не доктор Чернышов и бабушка Ася, едва ли бы она поправилась.

По-прежнему, как и при деду, она осталась жить в нашей семье. Но иногда ее зазывали к себе тетя Женя и мамыны сестры. Зазывали, но ненадолго. Она вновь возвращалась к нам. Может быть, потому, что от нашего дома до кладбища было гораздо ближе.

Пуховка

Почти весь наш маленький городок спал на подушках и перинах, перо для которых теребила моя бабушка Ася.

В полуподвальное помещение, где у моей тетки Нюры жила бабушка, привозили мешки с гусиным, куриным, утиным и даже глухариним пером. Мешки эти стояли в сенях, ими был забит шкаф, отделявший кровать бабки от общей большой комнаты, они громоздились и на шкафу, и в подполье, и, тесно прижатые друг к другу, стояли в сарайчике.

Каким образом бабушка напоминала, кому принадлежали мешки, оставалось тайной.

Маленькая, сухонькая, сморщенная (теперь я бы сказал — как печеное яблоко, но в ту далекую пору не только печеных, но и простых яблок в нашем сибирском городке не было), с круглой головкой, покрытой белыми волосами, с воспаленными от пуха глазами и с такими руками, которых мне уже нигде и никогда не привелось видеть. Они были у нее не по росту крупные, с вздувшимися венами, с углублениями на пальцах от укулов гусиных перьев, с толстыми мозолями. Несколько раз в году бабушка отпаривала эти мозоли и под ними показывалась нежная розовая кожа. Ладони тоже светлели. Несмотря на свой преклонный возраст (мне кажется, никто как следует не знал, сколько ей лет), она была быстрая, живая (наш отец звал ее «огневкой»).

К нам — мы жили в другом конце города, на улице

Буденного — бабка прибегала за полчаса и тут же принималась за дело: что-нибудь штопала, готовила жаркое из мяса, принесенного с собой, чистила золой ложки, вилки, медный таз, топила баню, мыла моих сестренку и братишек, а потом вместе с мамой уже шла париться сама.

Мой отец был единственным сыном бабушки Аси. Единственным и любимым. Пять сестёр — все старшие нашего отца — тоже любили его. В общем-то он был счастливчик, хотя детство выпало ему нелегкое. Он остался сиротой в одиннадцать лет. Когда умер дед, бабка вынуждена была отдать его в батрачки в село Рыбное... Ну, об отце я еще расскажу особо, а сейчас речь о бабушке Асе.

С раннего детства я знал, что моего деда пригнали в Сибирь в кандалах из далекого города Лодзь. Он отбывал здесь Горнозверентуйскую каторгу, потом его определили на вечное поселение в село Рыбное. Там жил ссыльный, со своей дочерью. Наш дед женился на ней, и она стала нашей бабушкой Асей.

Из всех внуков я был у нее самым любимым. Однажды, когда тетя Нюра ревниво выговаривала ей за это, бабушка, как ни в чем не бывало, ответила:

— А что же ты хочешь: все мои внуки сопливые, а у него (это у меня) нос всегда сухой! Посмотри, какой он чистый, как пароход.

Так уж почему-то получилось, что у меня действительно нос был сухим, и за это или за что-то другое я с легкой руки бабушки получил от моих двоюродных братьев прозвище «Пароход». Ни я, ни мои братья в глаза не видели парохода — по нашей быстрой реке со сплошными водоворотами, в которой тонULO много людей и чуть однажды не утонул я сам, пароходы не ходили, плавали только гребные лодки, плоты с лесом и от берега до берега — паром.

Прозвище «Пароход» почему-то было до слез обидным, особенно когда, посмеиваясь, так называл меня отец.

Он любил давать прозвища и нам, детям, и маминим сестрам, и своим друзьям, братьям Лопатиным, с которыми то насмерть ругался, то снова мирился. Прозвищ не было только у деда Гриши, у мамы и у папиных сестер. Даже бабушку Асю он, а за ним и все, звали Пуховкой. Но это было не обидно: она всегда была в пуху, и трудно было отличить ее тонкие, короткие, как у девочки, волосы на голове от пуха. Пух лез ей в рот, в нос, в уши, приставал к платью, к фартуку, к ичигам — из обуви бабушка признавала только мягкие сибирские ичиги, которые ей привозили знакомые из Рыбного.

Лучшие дни моего детства связаны с бабушкой Асей. Мне постоянно хотелось быть около нее, и потому, будучи еще совсем маленьким, я однажды убежал к ней, но заблудился. Какая-то добрая женщина стала расспрашивать, где я живу. Я этого не знал. Где живет бабушка, я тоже не знал. Тогда она спросила, как зовут бабушку, и я ответил: «Пуховка».

— Да это же та бабуля, которая перо бережит! — воскликнула женщина и, взяв меня на руки, унесла к бабушке.

Что ни говори, а Пуховка была знаменита на весь наш город, потому что он спал на ее подушках, а некоторые даже — на перинах, укрываясь при этом пуховыми одеялами.

Мне кажется, что в нашем доме пуховых одеял не было, а были ватные, из разноцветных веселых лоскутков, сделанные тетей Душей из остатков материи от платьев, блузок, фартуков и мужских рубашек, которые она шила своим заказчикам.

Зато подушки у нас были настоящие, мягкие, «как сметана» (так уж говорил папа, будто на сметане можно спать).

Наш город считал, что можно обойтись без многого, но подушку от бабушки Пуховки должен на счастье иметь каждый. А в том, что подушки моей бабушки Аси приносят счастье, сомнений быть не могло. Я убедился в этом на личном опыте. Но не буду забегать вперед.

Мы помогали бабушке бережить перо. Каждому из нас она давала три сита: в одно отбирался только пух, в другое — мелкое перо сродни пуху и в третье — крупное, гусиное.

Когда сита заполнялись доверху, бабушка все это перебирала и прощупывала своими жилистыми руками, заново сортировала и складывала в мешки. Мне очень хотелось, чтобы у меня на руках появились такие же ямки от уколов толстых гусиных перьев, как у нее, но этого не получалось. Руки у меня были даже без цыпок, всегда чистые, и мои двоюродные братья, драчуны и хулиганы с руками, напоминающими рашпили, презрительно заключали:

— Пар-р-аход!

Что ни говори, а иметь чистый нос и руки без цыпок, не рваные, чистые штаны и рубашку — не такое уж благо.

И все же меня тянуло к «братьям-разбойникам».

Однажды я подсмотрел, как они вешали кошку — на задах бабушкиного двора. На нее накинута петля и подтянута на перекладине. С необыкновенной силой она вскидывалась вверх и в стороны, визжала, и я видел, что из ее глаз катились слезы.

Я не выдержал и побежал к бабушке.

Никогда еще бабушка не была такой разъяренной. Она набросилась на своих великовозрастных внуков (старшему, Гошке, было уже лет пятнадцать, года через три после этого в городском саду он зарезал парня и был приговорен к десяти годам тюрьмы). Бабка разогнала их и освободила из петли кошку. Кошка исцарапала ее лицо и руки, но бабушка на нее несколько не рассердилась.

— Чтобы я не видела вас в доме! — кричала она. — Ах, бедный ваш отец, хорошо, что ему не суждено увидеть такого позора.

Я знал, что бедный их отец был расстрелян белочехами, а бабушка Ася, по словам папы, кормила теперь всю эту ораву.

— Будь подальше от них, — наставляла она меня. — Ничему хорошему от них не научишься. У тебя другая дорога. Когда ты подрастешь, скоро уж, я подарю тебе подушку. Ты с ней никогда не расставайся.

Так я впервые услышал от бабушки о подушке, которая стала потом в моей жизни самым драгоценным таинством.

На верхнем этаже, над бабушкой, жил с женой, тихой забитой женщиной, знаменитый Сухоруков — гроза нашего городка. Тот самый Сухоруков, которого прятала и спасла от белочехов наша мама. Потом, в голодный год, у нас умерли двойняшки — мальчики и трехлетняя сестренка Верочка. Кормить их было нечем. Отец сам носил на кладбище гробики, сделанные дедушкой Гришей.

Считалось, что Сухоруков спас нашу семью от верной смерти, так как дал нам целый мешок муки. Тем не менее мама не очень жаловала Сухорукова, а отец «души в нем не чаял», как насмешливо говорила мама.

Почему-то все в городе боялись этого тщедушного, сутулого человека с длинными руками. Он не расставался с наганом, вытаскивал его из кобуры по всякому случаю, а бывало, и стрелял. На бумаженной косоворотке он носил орден Боевого Красного Знамени, и людей, всех без разбора, называл сусликами. Был он бешеного нрава. Рассказывали, что однажды он ворвался в райфинотдел, заставил всех сотрудников залезть на столы и чуть ли не плясать на них.

Дело в том, что райфинотдел посмел не отпустить вовремя деньги на содержание детского дома, директором которого как раз и был Сухоруков. Детский дом не испытывал ни в чем нужды. У него были и свои коровы, и свои свиньи, и лошади, и теплицы, и посевы. Сухоруков разрезжал на пролетке, при кучере, а иногда появлялся верхом на белом рысаке в яблоках. Однажды, будучи под большим градусом, он взлетел на этом жеребце к себе в квартиру на второй этаж, ударился о косяк двери, упал, но не зашибся, а набросился с руганью на жену.

Мой отец как раз в это время пришел навестить бабушку, которая жила в полуподвальном помещении этого же дома и, видя своего кумира Сухорукова в жалком состоянии, с шишкой на лбу и заплаканным взглядом, пытался поднять его с лестницы.

— Суслик! — кричал Сухоруков отцу. — Посмотри, что с Орликом.

— Какой он тебе суслик? — набросилась бабушка на Сухорукова. — Ты что это, пьяная твоя рожа, вытворяешь? Я тебе покажу суслика! Я тебе покажу, как хулиганить среди бела дня.

Это было неслыханно. Такого еще с Сухоруковым не случилось. Он дико вращал глазами, пытался встать, открывал и закрывал рот, но ничего выговорить не мог.

— Ну что ты, мать, — пробовал урезонить бабушку мой отец. — Ну, выпил товарищ Сухоруков. Ну, прокатился...

— Прокатился, говоришь? Пускай для катаний выбирает себе другие дорожки. И сусликов ищет не в квартирах, а в норах. И над лошадей нечего измываться. Как теперь ее выручать отсюда?

Бабушка прошла мимо Сухорукова, даже не взглянув на него, и потрепала Орлика по загривку.

— Умница ты, — сказала она. — Не то, что твой непутевый

хозяин.— И, обернувшись к плачущей жене Сухорукова, стала укорять: — А ты что ревешь, распустили его, вот он и выкобенивается. Давно ему укорот надо сделать. Убирай его с дороги!

— У-у, старая! — стонал Сухоруков и, держась за стенку, с помощью жены спустился вниз по лестнице.

— Что это ты, сынок, позволяешь так себя называть? Какой ты суслик? Я тебя человеком родила. Ты человеком и оставаться должен.

— Ладно, мать. Хватит, будет, мать... — смущенно повторял отец. — Что вот с жеребцом делать?

— А что делать? Вот разверну его сейчас, да и своим ходом спускай его. Покороче узду только держи, как бы ноги он не повредил. Ну да лестница не крутая, а ты не торопи его.

Все знала и умела наша бабушка Ася.

Сухоруков стоял внизу, жевал в ярости конец своего рыжего длинного уса, играл желваками и, когда отец спустил по лестнице Орлика, бросился к жеребцу, обхватил его голову руками и заплакал.

Баба долго смотрела на вздрагивающие плечи Сухорукова, потом задумчиво сказала:

— Что ты за человек? Загадка. Только детей-сирот я бы на месте власти тебе ни в жизнь не доверила.

Все знала и все умела бабушка Ася, это правда. Умела она и людей лечить травами. Каждое лето из Рыбного приезжали на лошади давние друзья и увозили Пуховку в деревню. Она сама собирала там пахучие травы и целый воз, тоже в мешках, привозила домой. Потом она с помощью моих двоюродных братьев подвешивала пучки травы на стены и к потолку. Одна она знала, как эти травы надо заваривать, как пить отвары, как прикладывать к спине распаренные листья. Даже сам доктор Чернышов, когда случалось ему заболеть или одолевала подагра и ревматизм, а то и болезнь с красивым названием люмбаго, — даже он звал к себе нашу бабу, и она «ставила его на ноги».

О жене доктора Чернышова, известной своими капризами, и говорить нечего. Та доверяла себя только ей — нашей бабушке.

Головные боли и даже падучую бабушка лечила заговорами.

Всех своих внуков, в том числе и меня, у дочерей и у единственной невестки — моей мамы, бабушка принимала сама. Мы знали точно, что никого из нас не нашли в капусте, не купили на базаре (об аистах мы и не слышали, они просто у нас не водились), не выменяли на лошадь у цыган, а уж тем более не получили в подарок в больнице, что все мы появлялись на свет у себя дома.

Каждый раз это происходило одинаково: приходя к нам, бабушка жила с нами несколько дней, а то и недели две, без дела она никогда не сидела, и здесь теребила перо, а мы ей помогали. Потом наступал день, а чаще это случалось ночью, когда из спальни вдруг раздавался плач: «у-а», «у-а». Бабушка звонко шлепала очередного нашего братишку или сестренку и радостно приговаривала:

— Кричи, кричи, унучек! Пусть все слышат!

И уж нечего говорить о том, что бабушка всех нас лечила, а меня спасла от верной смерти.

Мне было лет пять, не больше, когда я заболел брюшным тифом. Говорят, что дети в таком возрасте мало что помнят. Неправда. Я помню все. Или почти все, что связано с этой болезнью. Меня увезли в железнодорожную больницу.

Случилось это зимой. И вез меня на своей лошади Каурке, которую я очень любил, друг моего деда Гриши — немой кучер Кузьма. Меня с головой завернули в доху, оставив только небольшую щель, чтобы я мог дышать. В эту щель я видел кусочек неба, а дышать было нельзя, потому что это был не воздух, а пар из бани. Как же так? В мороз — и вдруг горячий воздух, прямо из бани...

И палату помню. Маленькая такая палата, почему-то ее называли боковушкой. И в этой боковушке — я один. И опять нечем дышать. В грудь мне вливается огонь, и голова лежит не на подушке, а на горячем полене.

Ах, если бы сюда подушку бабушки Аси! Резиновый клетчатый пузырь, который набивают льдом и кладут мне на лоб, тут же тает.

Мамы нет рядом со мной, мама вчера родила мне сестренку и осталась в спальне.

Отца тоже нет. Он давно куда-то уехал. Около меня

чужие люди. А бабушку в боковушку не пускают.

Мне прикладывали лед к голове и, кажется, к груди. Я был один в этой боковушке и дышал огнем. Передо мной не было даже неба, — только грязный потолок с дыркой. Это отвалилась штукатурка.

Мне было пять лет. Но я понимал, что умираю и скоро-скоро вылечу в эту дырку на потолок.

Если бы ко мне пустили бабушку... Если бы ее пустили! Бабушка! Пуховочка моя. Приди ко мне. Я сейчас улечу. У меня уже сгорает лоб. Бабушка, ко мне никто не приходит. И в резиновом пузыре давно булькает горячая вода.

Но что это, что это? Я слышу голос бабушки Аси, она шепчет; я слышу только: «Тихо, тихо, унучек мой, тихо, тихо». И еще я вижу немого Кузьму. Бабушка закутывает меня в доху, а Кузьма осторожно выносит на улицу.

И вот я снова вижу в щелку одну ма-аленькую звездочку, маленькую холодную звездочку. И слышу, как под половицами саней поет снег, а в рот мне падают снежинки.

Бабушка моя, Пуховочка, храбрая моя, отважная бабуся. Как хорошо, как прекрасно, что этой ночью, вместе с немой Кузьмой, ты украла меня из больницы. Украла, когда вся больница спала, и меня забыли лечить даже льдом. И это замечательно, что забыли.

Бабушка спрятала меня в бондарной и стала лечить сама, без всяких докторов, своими травами и отварами.

И день и ночь, стоило мне открыть глаза, как я видел лицо моей бабушки.

Тогда я еще не дышал, а только стонал. Но однажды я вздохнул и раз, и два и понял, что уже не умру. В потолке бондарной не было дырки и пахло свежими ушатами, смолы, травами бабушки.

Меня искали в больнице, приходили домой к маме, но нас с бабушкой тью-тью — и след простыл. Дед Гриша замкнул нас в бондарной на висячий замок.

Рассказывали, что, когда пришли из больницы, дедушка очень рассердился. «Как это так? — сказал он. — У вас по ночам воруют детей, а где же вы были?» «Это ребенка, наверное, украла ваша бабушка, она все время приходила в больницу и сидела в приемном покое». «Что же, — сказал дедушка, — я бы тоже украл своего внука, но просто не догадался, а она вот, выходит, догадалась. Тем более что вы все по ночам спите, а в это время ваши больные умирают». «Так ведь тиф... Вы лучше скажите, где ваш внук?» «А это вы спросите у бабушки Аси». «А где бабушка Ася?» «А вот этого я не знаю, наверное, уехала в деревню».

«Так неужели в деревне лучше? Кто там будет лечить внука?»

«Э-э, — сказал дедушка и опять рассердился. — Так, как лечите вы, даже я могу. А бабушка Ася... Да что там говорить — она лечит самого доктора Чернышова». И тут уж больничным возразить было нечего. Если сам доктор Чернышов лечился у бабушки, то лучше было замолчать, податься в свою больницу и спать там по ночам.

А бабушка в это время сидела со мной в бондарной. Мы сидели тихо-тихо, потому что Пуховка просила меня не стонать. Мне было трудно не стонать, но по моей голове, по груди, по лицу ходила ласковая рука, а другая — помахивала фанеркой, и мне казалось, что это дует ветер.

Я лежал и боялся даже пошевелить рукой. А вдруг там эти больничные услышат и увезут меня опять? Уж лучше я буду терпеть. И я изо всех сил терпел. Было так тихо, что я услышал, как скрипел снег под ногами, когда больничные уходили с нашего двора.

— Почему мама не идет ко мне? — спрашивал я у бабушки.

— Она может заразиться, а потом заболеет твоя маленькая сестренка.

— А почему ты не боишься заразиться?

— Я старая, я ничего не боюсь.

— А дедушка?

— Твой дедушка здоровый, сильный, он и совсем не умеет болеть.

— Хорошо, что папы нет, он умеет болеть.

— Видишь, унучек, как рассудил — даром, что малой.

— Я уже не малой, я вырос.

— Вырос, вырос, унучек, скоро и совсем вырастешь, с деда своего будешь. Дед большой, сильный.

— Самый сильный на свете?

— Сам знаешь, сильнее его никого нет.

— И выше нет?

— И выше нет.

Быть с деда — вот моя мечта. Да и все братишки хотели быть похожими на деда. Но только Алеша-Чубарик — в него. Так говорили все. А сам Чубарик об этом не знал.

Он узнал об этом позже, годам к восемнадцати, когда на него стали заглядываться девушки.

Я не мог видеть Алешу, когда он в сорок втором году проезжал нашу станцию в воинском эшелоне. Эшелон с курсантами авиационного училища спешил. Ребят сняли с учебы всего за два месяца до окончания училища. Эшелон направлялся на фронт, проскакивая станции, но, к счастью, на нашей остановился.

Алеша вместе с товарищами бежал от станции к дому. Когда его увидела тетя Душа, она закричала, запричитала — так он был похож на деда...

Многие близкие мне люди ушли из жизни и в военные и в послевоенные годы, но гибель Алеша-Чубарика отозвалась в сердце самой тяжелой болью утраты, которой не суждено уж ни пройти, ни притупиться.

Очень хорошо, если есть бондарная, в которой можно спрятаться, когда у тебя тиф. Хорошо иметь братишек и сестренку. И дедушку Гришу. И бабушку. Бабушку Пуховку, умеющую лечить, знающую заговорное слово.

Так первый раз меня спасла бабушка Ася. А потом спасала еще много, много раз.

Она всех лечила, а сама была больна.

Давным-давно она застудилась и стала кашлять. Кашляла и кашляла. И у нее заболела грудь. Как уж она себя лечила — никто не знал. Только лечила. Меня она очень любила, но почему-то никогда не целовала. Она только нюхала мою голову. Понюхает и скажет:

— Ты, унучек, чистый, как пароход.

— Баушка, не надо пароход, — просил я.

— А ты их не слушай, унучек. Они дурные, что понимают.

— Дразнятся, баушка.

— Вот я им, окаанным!

Но это так — ничего им, окаанным, она не сделает. И они это знают.

Мама моя заметила, что я тоже стал покашливать, и у меня болела грудь. Доктор Чернышов прикладывал к ней деревянную трубочку, прислонялся ухом, слушал долго, долго, прикладывал к груди пальцы и стучал по ним пальцами другой руки. Он сказал маме:

— Задеты верхушки. Серьезно задеты.

Мне стало хорошо жить с этими верхушками. Все меня жалели, а братья-разбойники перестали даже дразнить пароходом. В медном тазу для меня стали варить шоколадку. Так называли эту вкуснятину. Я мог ее есть на зависть своим братишкам и сестренкам. Ее прямо в тазу можно было резать ножом. Или брать большой ложкой и отправлять в рот. У меня теперь были своя ложка, своя тарелка, свой стакан, и спал я отдельно, на черном венском диванчике, который мама выменяла на соболя и двадцать белок, добытых отцом. К диванчику дали еще три стула. Тоже венских. И тоже черных и гнутых.

С тех пор все венское, даже вальсы Штрауса, было связано в моем представлении с этим диванчиком и стульями.

Хорошая, прямо отличная жизнь началась у меня. Даже лучше, чем когда я лежал в бондарной и у меня появился «волчий аппетит». Тогда ведь не было ни венского диванчика, ни шоколадки.

Если бы я знал, из чего бабушка готовила мне эту шоколадку, наверное, я не притронулся бы к ней. А там ведь было и волчье, и медвежье, и свиное, и еще какое-то сало. Но зато и мед, и кедровое масло, и какао, и брусника, и ядрышки кедровых орехов, и облепиха, и бабушкины травы.

Плохо было одно: меня не пускали к бабушке.

Я съел пять шоколадок — пять тазов. Если честно говорить, я съел их не совсем один. Не мог же я в самом деле не поделиться лакомством со своими братишками и сестренками.

...В десять лет я пошел на лесозавод и верхом на лошади все лето таскал из реки бревно. Бревно цепляли с двух сторон цепями и с двух сторон мы с напарником, таким же парнишкой, как я, вытягивали его по скользким салазкам на берег. Вовсю шпарило солнце, и мои волосы за лето выгорели и стали светлыми, как у Алеша-Чубарика.

И в колхоз от школы мы ездили. И боронили тоже верхом



на лошадях. И в комсомол я вступил в четырнадцать лет, а в пятнадцать считал себя уже взрослым.

И настало время, что мне выдали настоящий браунинг и отправили уполномоченным на хлебозаготовки в Северную Александровку. Такое было время. Кулаки стреляли в уполномоченных, коммунистов и комсомольцев. Не терпится что-то мне, вот и забегая вперед. Оказывается, многое я помню, и эта память нынче растревожилась.

Так вот, я уезжал в первую свою самостоятельную командировку с браунингом в кобуре под гимнастеркой. На мне был новый, защитного цвета костюм за семь рублей, новые валенки и новый полушубок. Я ехал в кошевке, с кучером, но это был не Кузьма, а райисполкомовский кучер, совсем еще не старик, но пожилой толстомордый дядька лет тридцати.

Прежде, чем выехать за город, я решил показаться бабушке Асе. Теперь я уже был занятой человек и давным-давно не помогал ей теребить перо, да и вообще редко, очень редко видел ее.

А бабушка, оказывается, заболела. Я застал у нее доктора Чернышова. Первый раз за всю жизнь он выслушивал ее своей трубочкой, и то по настоянию тети Нюры.

Бабушка лежала на своей кровати за шкафом. В полуподвальной комнате не было светло, а за шкафом тем более. Я впервые увидел бабушку лежащей на кровати. Знал всегда, что здесь ее «спальня», ее кровать, а вот чтобы она лежала на ней когда-нибудь — не видел. И это показалось мне настолько странным и тревожным, что я забыл и о своем новом костюме, и о браунинге, и о Северной Александровке. Но все же я успел снять полушубок, и доктор Чернышов заметил, как я одет, заметил и выпирающую под гимнастеркой кобурку с пистолетом. Он оглядел меня внимательно, покачал в удивлении головой и сказал:

— Вот оно какие дела. Бежит время, бежит... Пойдем-ка на минутку со мной.

Я снова накинул на себя полушубок, мы вышли на улицу, и он сказал мне:

— Это хорошо, что ты пришел к бабушке. Она, брат, вот-вот уйдет от нас.

— Куда уйдет? — опешил я.

— У нее нет одного легкого, а второе... Что уж там говорить, жила она за счет сердца. Сердце у нее молодое. Понимаешь, молодое сердце. Вот так. Всю жизнь прожила с чахоткой... На сердце да на травах своих и держалась. Ладно, чего уж там. Иди к ней.

Оглушенный, я вернулся к бабушке.

В полутьме на меня смотрели ее лихорадочно блестящие глаза и светились ее пуховые волосы на голове. Она улыба-

лась, тяжело, с хрипами дышала и стала говорить очень прерывисто:

— Унучек мой... Пришел... А я... Ждала тебя... Подушку приготовила... Память от меня... Береги ее... Большой грех... беру... на душу... Всю жизнь в Бога верую... Большой грех... Сказать хочу... Если Он есть... все на коленях для тебя выпрошу... Когда плохо в жизни придется... Беда ли... Близким твоим... Кто будет у тебя... Зло ли чинить будут злые... Вспомни... Вспомни тогда меня... Помощь тебе придет... Подмога от меня...

Я в это время не знал страха, я не боялся даже кулаков, пусть они в меня стреляют — я хотел этого. Может быть, они убьют меня — и это не страшно. Но сейчас, здесь, за шкафом, у бабушки, я по-настоящему испугался. Я понял, я все понял. Наконец до меня дошел смысл слов доктора Чернышова.

— Бабушка, Пуховка, — проговорил я. — Не надо... Я не хочу.

Схватив подушку, прижав ее к себе, я выбежал во двор, упал в пролетку и поехал в Северную Александровку, выбивать хлеб у твердозаданцев.

Почему так поздно, когда ничего уже исправить нельзя, к нам приходит понимание (если оно приходит), раскаяние, муки совести?

Неужели так оно и будет, как повелось издревле: бросаем и бросаем камни, а собирать их уже не остается ни сил, ни времени. Слишком много успеваем разбросать их не только за длинную, но и за короткую жизнь...

Но есть ведь, есть люди, тем и занятые, что собирают даже не свои, а чужие камни. Бережно собирают, кропотливо, неутомимо, бескорыстно, строят из них жилища, целые крепости, и для того, чтобы защищать не себя, а нас, защищать от всех напастей.

Бабушка Ася когда-то в давние-давние времена пришла в Сибирь пешком за своим отцом, моим прадедушкой, имени которого я не знаю. Это меня почему-то теперь мучает.

Все мои дальние корни стягивались в Сибирь не по доброй воле. И как бы мне хотелось теперь узнать о них побольше, взглянуть на фотографию — хоть какое-то отражение. Иметь бы хоть крошечный портрет, нет, даже не моего прадеда, а бабушки Аси. Да и фотографировалась ли она когда-нибудь? Только в моей памяти, только там она живет, светится... Вот же было сказано: да святится имя Твое! Сказано и впечатано навсегда в сознание. Это — о моей бабушке Асе. О ней. О них. О таких...

(Окончание следует)

Уважаемая редакция журнала «Юность»! Хочу поблагодарить вас за такой великолепный журнал. Он один из немногих журналов, обладающих высоким художественным вкусом. Я читаю его от корки до корки и с нетерпением жду каждого нового номера. «Юность» поднимает очень острые социальные проблемы.

Я ваш подписчик с 1973 года и очень рад, что с каждым годом и с каждым номером журнал набирает все большую силу. Но последнее время меня очень волнует слух о повышении цен на подписку. Очень жаль, но, наверное, мне не удастся наскрести денег. В прошлом году со мной случилось несчастье, и я стал инвалидом II группы (без права работы). Пенсия 70 рублей. (Как сказал министр финансов СССР Павлов, это 7 долларов.) Ну да ладно жаловаться.

Желаю вам всем еще более плодотворной работы.

С искренним приветом

ВАСИЛЬЕВ А. В.,
Ленинградская обл.

Р. С. Коротко о себе. Мне 34 года. Образование среднее.

ОТ РЕДАКЦИИ

Много подобных писем за последние месяцы получила редакция. Наш многолетний читатель из Ленинградской области А. Васильев ни на что не жалуется, ни о чем не

просит. Он просто прощается. С журналом, к которому привык, мнение и публикации которого ценит. Прощается потому, что новая цена ему будет не под силу.

Редакция, к сожалению, может помочь одному-двум читателям; на большее нет ни средств, ни возможностей у нашего многотиражного, но нищего журнала. А как быть тем, кто действительно никак не может в новых жестких условиях рынка и инфляции выкроить из своего бюджета деньги на подписку — инвалидам, многодетным семьям?

Поэтому редакция и решила обратиться к благотворительным организациям, различным фондам, фирмам, к тем, кто может и хочет взять на себя благородную миссию «интеллектуальной» помощи этим людям.

КТО
ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ПОДПИСКУ
НА «ЮНОСТЬ» ИНВАЛИДАМ
И МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ,
КТО
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ
МЕЖДУ «ЮНОСТЬЮ» И НАШИМ ЧИТАТЕЛЕМ
— мы ждем ваших сообщений и предложений!

Реклама ваших фирм и организаций на страницах «Юности» гарантирована.

Жизнь под угрозой!

Иван КУНИЦЫН
Алексей НИКОЛАЕВ

СПИРАЛЬ ПОДВИГА

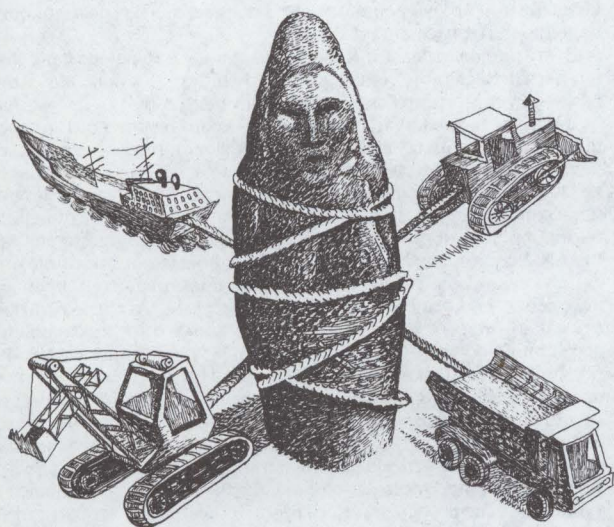


Рисунок Ирины Шиповской

Продолжаем публиковать материалы независимой комплексной экологической экспедиции «Юности» по Хабаровскому краю. На этом этапе ее участниками были:

Светлана БАКЛУШИНА — и. о. главврача Комсомольской городской СЭС;

Владимир ДЕСЯТОВ — народный депутат СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов;

Любовь ДИГОР — директор школы поселка Кондон;

Владимир КОСТИН — зам. начальника полетной службы Дальневосточной авиабазы по охране лесов от пожаров;

Сергей КУЗЬМИНЫХ — председатель Комсомольского городского Комитета по охране природы;

Всеволод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Александр ПЕТРОВ — депутат районного Совета, лидер группы экологического контроля поселка Эворон;

Владимир ПОПОВ — член координационного совета Хабаровского народного фронта, кандидат исторических наук;

Владимир ТЕПЛЯКОВ — лидер группы экологического контроля поселка Эворон;

Евгений ХОРОШИЛОВ — первый секретарь Комсомольского-на-Амуре горкома КПСС;

Любовь ЧУРИЛОВА — заведующая отделом Комсомольского городского онкодиспансера;

ЖИТЕЛИ поселков Бельго, Кондон, Эворон, активисты экологического движения Комсомольска-на-Амуре, члены Комитета содействия перестройке.

В № 7 «Юности» мы познакомили читателей с тяжелой экологической обстановкой в городе Комсомольске-на-Амуре и прилегающих к нему районах. В тот раз мы обозначили такую проблему — «Город и человек». Продолжая материал «Спираль подвига», обратимся сегодня к теме

2. Человек и энергия

— Да вы походите по поселку, поговорите с людьми, сами увидите: ничего нанайского у нас не осталось, одно обличье. — Надежда Максимовна Кия, секретарь исполкома поселка Бельго, говорит это грустно и безысходно, глядя за окно на Амур, налившийся в этот пасмурный день мутной вязкой серостью, поглощающей слабый дневной свет. — Уже старики забывают родной язык, молодежь и разговорный-то плохо понимает. Нанайский раньше преподавали во всех классах, теперь только в начальных. Жить стали недолго, болеем постоянно. Нанайцу что для жизни нужно прежде всего? Свежее мясо и рыба. Так в прошлом году на весь поселок дали только одну лицензию на зверя. И по той ничего не добыли.

— Что же, таежный народ разучился охотиться?

— И это тоже правда, однако. Но главная беда — ему не дают охотиться. Леспромхозы вокруг поубивали тайгу: что не вырубил, сожгли пожарами по нескольку раз. Прокладывая лесовозные дороги, позасыпали мелкие реки, ключи, высушили наше озеро, отравили отходами реку Бельговку. Они — хозяева. А нанайцу в лес за зверем — нельзя, на реку за рыбой — не смей. Мы на своей земле чужие и нежелательные... Начали вот в последние годы продавать лицензии на ловлю кеты, да только горожанам, в поселках не продают. А ведь кета — это наш хлеб.

Когда в Комсомольске-на-Амуре мы поднялись на представленный экспедиции «Юности» речной катер, один из сопровождавших нас активистов городского экологического движения спросил, какой из амурских поселков мы хотели бы посмотреть. На наш ответ — конечно же, нанайский, — он отреагировал привычной, видимо, в этих местах шуткой: «Тогда поедем к бельгийцам». Мы не поняли. «Ну, в поселок Бельго, значит». Посмеялись. И только когда катер ткнулся носом в береговую гальку, по крутому трапу сошли мы в густо замешенную колеистую грязь прибрежной улицы, запрыгали, высоко поднимая, как цапли, ноги в городских ботинках, в сторону линялого и бахромистого, обмякшего розового флага на сельсовете, начал нам проясняться хоть и незлобивый, но мрачный смысл остроты.

Малая северная народность, потерявшаяся и растерянная

но озирающаяся среди гигантских колес вездеходной и вселомающей, истошно рычащей и изрыгающей неперевавленную солярку техники истребления природы, — вот какова современная судьба нанайцев. А также ульчей, орочей, нивхов, негидальцев и других коренных народностей Приамурья.

В своем нынешнем самосознании мы настолько отторгли себя от природы, настолько противопоставили себя ей, что малые народности Севера и Дальнего Востока, до сих пор ощущающие себя ее частью, тонко чувствующие ее процессы, настроения, болезни, в буквальном смысле живущие ею и умирающие вместе с ней, кажутся многим у нас если и не совсем бесполезными, то уж, конечно же, смешными, нелепыми и жалкими.

Разве что-нибудь, кроме ухмылки, мог вызвать у ответственных лиц такой факт: некоторые из новобранцев-эвенков, привезенных в воинскую часть и загнанных вместе со всеми в баню, вдруг потеряли сознание от... кислородного отравления. Ну не мылись они никогда в банях, и под воздействием пара очистились от жировых пробочек поры их кожи, а мы ведь и кожей усваиваем кислород. Что же это — их природная нечистоплотность? Да ни в коем случае. Это национальной культурой и древними традициями заложенный уже в генофонд способ сбережения тепла и противостояния экстремальному климату. Однако генетика для нас — дело темное, а Устав, он черным по белому писан, четок и ясен.

Еще первые русские переселенцы-купцы не стеснялись за грошовое зелье брать у лесных людей бесценные меха, редкую рыбу, дичь, а когда и золотишко. Но все-таки было тем выжигом хоть какое-то оправдание. Знали они: проспится «самоед», сгребет маленькими ладошками ноющую, стреляющую раскосую голову и уберет назад, в стойбище, в дом свой родной — тайгу. А она его опять и обогреет, и накормит, и соболишек преподнесет, и олени стада сбережет. Вот и выходило, что при всей разнузданности грабежа-обираловки не отнимали у аборигенов последнего: тайгу ведь с ее реками, зверьем и лесными богатствами в мощину не затолкаешь. Жидковат был размах у тогдашних грабителей, фантазия явно не государственная. И только «Великий Преобразователь природы» решил-таки проблемы малых народностей: взял и одним махом отобрал все. Пять тысячелетий (вдумайтесь!) поколения нанайцев вырастали на этой территории вместе с деревьями, травой и мхом. Пятьдесят веков маленькие таежные люди боролись — нет, не за порабощение природы, а всего лишь за достижение ее совершенства. Тысячу пятилеток пульсировала в них не разбавленная ничем кровь, созвучная в своем теплом движении всплескам воды на бесчисленных перекатах бесчисленных рек и ключей, ударам снежных волн в меховые стены родовых гнезд. Но вдруг все это оказалось неправильно. А правильно — тайга отдельно, таежные люди отдельно.

Лишенные привычного уклада, естественной пищи, родной среды — смысла жизни, — коренные народности Сибири и Дальнего Востока вынуждены теперь выкладывать на прилавок «цивилизации» именно самое что ни на есть последнее. Отобрав реки с желанной рыбой, тайгу со свежей дичью, «самая гуманная Система» дала приамурским народностям «утешительный приз»: после хода кеты, ловить которую «негосударству» запрещено, выдают бесплатно по 50 килограммов этой необходимой им для жизни рыбы (а если привезут соленую, которая от засола потяжелела, то выходит на брата всего-то килограммов по 35 от веса свежей).

Осенний ход лосося — это период «тихого сумасшествия» для всего края. Начинается он с томительных вопросов: «Ну, пошла наконец?» «Говорят, собралась уже перед входом в Амур, разведчики (первые, самые крупные самцы, идущие далеко впереди косяков к местам нереста) уже попадают». И вдруг, как тысячекilометровый электрический разряд от низовья к истокам: «Пошла!!! Стеной!! Кипит все!» Томление разрешается неугомонной суетливостью: где урвать, купить, выменять? В магазинах жители края кеты не увидят, будто Амур со всеми своими притоками тянется прямым в столичные буфеты и распределители, куда и проваливаются огромные косяки вместе с икрой. Знай поворачивайся, хабаровчанин, комсомольчанин, амурчанин с благословением. Страгивается амуронаселение с места, «Ракеты» и «Метеоры» с запредельной нагрузкой, натужно поднимая брюхо от воды на крылья, мчат их в поиск. На этот недолгий период всем им имя одно — «спиртовозы». За бутылку водки прямо на дебаркадере поселковой пристани в нижнем течении Амура можно выменять у пьяного

ухаря-браконьера крупную кету, а то и две, если у продавца очень уж «трубы горят». Но это еще не самый лихой бизнес. Иди к нанайцу, к ульче, к сиротам таежным, уже жадно ощущающим тебя глазами: где же «спиртовоз» водку прячет? «Ульча, продай кетину». «Вот голова большой, десять килограмм, двадцать пять рублей давай». Это дорого, очень дорого даже при общем сумасшествии, хочется ульче хоть раз выгодно торговать. Но виден он насквозь опытному купцу. «По рукам. Беру». Но денег сразу не давать. «Ну что, ульча, обмоем покупу?» И первый неполный стакан водки взрывается в маленьком человечке, разнося на куски его незащищенное естество. «А еще рыбка есть?» — «Есть-есть, однако. Вот. Тоже больсо-о-ой. Ты добрый человек, отдаю за десять рублей». Денег опять не давать. «Обмоем?» И новый взрыв контузит таежную голову, рождая предобморочную жажду. «Ну, показывай, ведь еще есть? Продавай». — «Много есть, пятьдесят килограмм, однако. Рыбка свежий, с икрой рыбка, еще не потрошил. Зачем продавать? Ты добрый человек, не жадный, давай еще стакан водка и забирай все даром». Вот удачная коммерция: за бутылку-две весь запас кеты этого «узкоглазого олуха». И ведь забирают и уносят, посмеиваясь, отпущенное «гуманистами» на целый год мизерное количество жизненно важных для аборигена витаминов, жиров, белков. Только через пару дней проспавшемуся ульче или нанайцу некуда уже будет пойти пополнить запасы природной пищи: на реку не пускают, тайга пуста и недоступна. Значит, куда? К магазину. Из него турнут: нечего глазеть на крупнокалиберные макароны и черно-соленый папоротник, грязь по полу развезить, жди пяти часов на улице, как все.

Руки коренного таежного жителя приспособлены лишь к тому, что веками только и умели делать его предки: зверя ловить-стрелять, рыбу добывать, оленей гнать, одежду из шкур да рыбьей кожи шить. Теперь это никому не нужно. И ведь как придумал бывший первый секретарь Хабаровского крайкома партии товарищ Черный занять это ничемно шатающееся коренное население. В духе повышения «социалистической культуры», задолго до первой нашумевшей перестроечной кампании 1985 года, повелел он продавать алкоголь только с 17 до 19 часов. И завозить меньше потребности, ящика два на поселок, и хватит. Вот и собираются алчущие к утреннему открытию магазина и до вечера караулят и блюдут очередь. Если мужик и пристроился где на работенку или лежит полуживой от алкогольного отравления, то пригонит в очередь бабу. И она уж ногами в землю у магазина врастет, но будет дожидаться битвы за зелье, иначе и домой не возвращаясь. А ведь весь день водка эта чертова стоит у продавщицы в подсобке, ждет установленного часа. Если заглянет неместный, да еще на вид городской, отчего же не потрафить: я тебе бутылочку горлышком вниз в кулечек заверну, будто ты соли купил, и ступай, только этим, с синяками на рожах, из очереди не говори.

Проблема коренного приамурского этноса сложна и трагична, требует отдельного обстоятельного разговора. Заняли же мы, пока ненадолго, внимание читателей, чтобы четче прозвучал окончательный смертный приговор нанайскому народу, предпрешенный людьми, самих нанайцев никогда не видевшими, но уверенными, что лучше знают потребности народа, чем он сам.

В ста километрах от Комсомольска-на-Амуре, возле сердца десяти тысячной нанайской народности — поселка Кондон, — будет строиться Дальневосточная АЭС!

Да-да, и в таежную глушь, и на край земли протянулось щупальце атомных ведомств. Это и понятно — другие-то начали одну за другим прищемлять да отрубать: в Прибалтике, Крыму, Краснодарском крае, Татарии... Растет антиатомное сознание общества, все труднее лавировать между народными фронтами и оформившимися экологическими движениями, все больше нежелательной информации просачивается из закрывов «Для служебного пользования», крепнет недоверие к «компетентным специалистам». А жить-то Минатомэнергпрому хочется, да так же выгодно, как раньше, до Чернобыля, да на хорошем счету у правительства, чтобы больше денег и фондов давало и от народа оберегало, заявляло с высоких трибун: «Альтернативы атомной энергетике нет» (это в эпоху-то гласности, когда оказалось, что чему и кому угодно есть альтернативы). А для этого нужно одно — наращивать экспансию, тыкаться в любую дыру (в десяти дадут по рукам, в одиннадцатой ушами прохлопают), тайком и быстро осваивать огромные средства, чтобы, когда общественность прозреет, поздно было выкапывать из земли народные миллионы.

Вот и оказался «перспективным» таежный край, жители которого за последние десятилетия безропотно снесли столько экологических экспериментов над собой, что и еще один «подарок» ведомств авось проскочит. Потыкалось чуждому по Приамурью и из 24 точек выбрало для себя, как показалось, идеальную — район озера Эворон. Рядом — хоть и разваливающийся, но все-таки БАМ, значит, голова болеть не будет, как подвозить все необходимое. Рядом же подходящее озеро, неглубокое, зато большое, 25 на 14 километров — чем не готовый резервный пруд-охладитель для реакторов? И населения в двух поселках — Эворон и Кондон, — что попадают в зону строительства, всего-то жалкая тысяча, половина которой бессловесные нанайцы. Разве смогут они противостать союзным министерствам? А чтобы не хныкали о порушенной строительством родине, о поломанном укладе жизни, о своем бестоковом озере, посулить им кое-какие социальные блага: как везде и всегда раньше делали — купить людей. Дорогу какую-нибудь пообещать, детсад, клуб... И хватит — неизбалованные, много не затребуют.

Потянулись к нанайцам ходоки, даже сам директор строительства будущей ДВ АЭС товарищ Лебеденко не побрезговал лично посетить председателя рыболовецкого колхоза поселка Кондон В. И. Непомнящего. Видно, и впрямь плохи дела у Минатомэнерго, если крупный атомщик приходит к рыбаку, пользующемуся авторитетом среди нанайцев, и подсовывает ему на подпись «обращение» кондонцев к строителям АЭС, написанное... самими атомщиками. Смысл бумаги незатейлив: жители поселка Кондон дружно за АЭС, но просят отщипнуть от миллиардного проекта кое-какие крохи себе на социальбыт. Каковые крохи товарищ Лебеденко тут же и пообещал, аж 10 миллионов рублей. Намекнул и на альтернативу: «Откажетесь подписывать — ничего не получите, но станцию построим». А еще утверждают, что атомная энергетика у нас безальтернативна.

Но не клюнули нанайские рыбаки на «атомную» наживку. Провали сходы и единогласно заявили: «Мы против АЭС».

Заходили и с другой стороны. Маневр, проверенный в последние десятилетия, рассчитанный на воспитанные в нашем обществе бесчувственность и самоотверженность, страсть к уничтожению всего национального, на то, что упорно продолжают именовать «интернационализмом». От этого «засадного полка» выступил на страницах «Дальневосточного Комсомольска» инженер В. Дубинский:

«И мне непонятна суть угрозы «судьбе малых народов». Если бы они вели пещерный образ жизни, а пещеры эти попали бы под площадку строительства АЭС, тогда было бы основание так заявлять (что вряд ли бы остановило ведомство. — Ред.). А если дети «малых народов» будут ходить в современную школу, жить в добротном, со всеми удобствами жилье, иметь возможность посетить хорошую библиотеку, стадион, современный театр, музыкальную школу, какая им от этого грозит опасность? Да и вообще, чем «малые народы» отличаются от «больших»? Я считаю, что это просто для того, чтобы поминать».

Да тем отличаются советские малые народы от больших, что никогда не зададут подобного вопроса. Потому что давно знают на него ответ и ежечасно чувствуют свою ущербленность. Не озадачатся подобными раздумьями и представители любой цивилизованной нации, чье сознание не отягчено помпезными лозунгами нашего извращенного интернационализма. Для них очевидно: каждый большой народ среди больших и малых среди малых остается отличным от других, неповторимым, иначе какой же это «народ»? И главная задача любого многонационального сообщества состоит не в грубом механическом подтягивании культуры и уровня жизни одних национальностей до какого-то условного среднего уровня других, а в предоставлении всем им права самостоятельного национального выбора направления развития, при равных материально-технических условиях для достижения намеченных каждой национальностью целей. Например, эскимос Аляски и компьютер может купить, и любую вездеходную технику, и в театр съездить, и у телевизора на самом отдаленном стойбище под вой пурги полежать. И покупает, и едет, если хочет, но при этом он живет традиционным, никому не подвластным, желанным для него эскимосским образом жизни. У нас же мифические «хорошая библиотека, стадион, современный (по сравнению с несуществующим? или авангардистский?) театр, музыкальная школа» предлагаются в обмен на единственно возможный для национального меньшинства образ жизни. Причем в том, что в случае победы атомщики разворуют

остатки многовекового нанайского быта, сомнений нет. А вот насчет перечисленных очагов культуры и «со всеми удобствами жилья» позволяйте не верить. Зная острейшую проблему со всем этим в сверхиндустриальных приамурских городах, как-то не лепится в сознании образ благополучного таежного городка энергетиков на 30—50 тысяч жителей, который бодро потянет древнейший нанайский этнос на «новую ступень». К тому же даже не после ввода в строй ДВ АЭС, а уже во время строительства можно будет поставить на этой народности крест.

Убедиться в том мы смогли во время посещения поселков Эворон и Кондон и осмотра предполагаемой площадки строительства станции, где ускоренными темпами бурили и рвали землю взрывчаткой изыскатели. Настолько рьяно взялись здесь за дело атомщики, что заместитель министра товарищ Решетников не без гордости «порадовал» общественность: темпы работ на Эвороне выше, чем на любой другой площадке Минатомэнерго. Торопится «мирный атом» вогнать в Эворон свой коготь. Небольшая изыскательская партия менее чем за два года освоила уже более пяти миллионов рублей из двенадцати, отпущенных на технико-экономическое обоснование проекта ДВ АЭС. Только для того, чтобы выяснить, можно ли здесь строить станцию или нет. И так и не выяснила, потому что ведомственные умы утверждают — можно, а независимые ученые и специалисты — ни в коем случае. Атомную станцию, этот огромный и сверхопасный объект, планируют разместить на водоразделе, откуда берут начало многие водные артерии края. Даже и без возможной радиоактивной аварии промышленная деятельность здесь пагубна. Дальневосточники знают особенности марей, уникальных болот-губок, регулирующих местные природные гидросистемы. В районе Комсомольска-на-Амуре попытались осушить некоторые марь, включить их в народное хозяйство: бедственные экологические последствия ощущаются до сих пор. По этим площадям, живущим неизученными природными процессами, вода циркулирует непредсказуемым образом. Отравить марь промстоками значит получить отраву где угодно, там, где о ней и не слыхивали. Озеро Эворон окружено марями. Подтопленные искусственным прудом-охладителем атомной станции, зараженные ее промышленной деятельностью, эти грунтовые губки неизбежно выжмут вредные стоки в озеро. Отрезать же его от пораженных марей, как обещают атомщики, не только невозможно, но значит окончательно высушить Эворон. Уровень и так упадет из-за перекрытия нескольких рек, впадающих в него, для наполнения пруда-охладителя реакторов. Упадет! При том, что в самых глубоких его местах до дна всего полтора метра.

Около озера Эворон академик А. П. Окладников обнаружил «кондонскую Венеру»: скульптурное изображение женщины, возраст которого пять тысячелетий. Древнейшая находка в этой части Азии. Облик женщины, послужившей моделью для доисторического художника, говорит о том, что внешность ее перешла к жителям государства Чжурчжэней X—XI веков, а от них — к их потомкам, нанайцам. Смерть озера Эворон будет означать, что пяти тысячелетней крови пришел конец. Последний путь эворонских нанайцев, согнанных с берегов священного для них и до сих пор кормивших свой народ озера, будет прям и короток: через магазин на кладбище, скорее всего чужое.

Недоумение вызывает и такое «утешение» атомщиков: изыскания на Эвороне нужны в любом случае. Если АЭС все-таки не удастся построить, то разведанная площадка пригодится для какого-либо другого энергетического объекта: энергия-то краю позарез нужна. А вокруг озера и древних поселков будет создано что-то вроде природно-этнической зоны, жителям городка энергетиков будет дан запрет на вход в нее. Как будто и впрямь увещания и запреты смогут остановить строителей и будущее население города энергетиков от вторжения на близкий — всего-то в шести километрах — Эворон. И в охраняемые заповедники наши люди ломятся, а тут даже границы не будет обозначено. Что же им, в выходные дни на сопки с погоревшей тайгой смотреть?

Всего несколько десятков изыскателей, и не так уж долго, проработали на берегах Эворона к моменту нашего приезда, но в районе работ уже прошел пожар, спаливший 20 тысяч гектаров леса; ключи-речушки, возле которых были разбиты лагеря геологоразведчиков, отравлены горюче-смазочными материалами и засорены бытовыми отходами. Бочки с горючим стояли прямо на берегах, тут же из них и заправлялись. В том, что рыбы здесь уже никому не изловить, признава-

лись сами рабочие. Вся отравка идет напрямик в озеро. Вины за пожар изыскатели за собой не признают: говорят, любой охотник или лесник по неосторожности мог запалить. Спорить не будем, хотя уверены, что командированный в тайгу на сезон рабочий-изыскатель меньше будет осторожничать с огнем, чем местный житель, так или иначе живущий окружающим лесом. Факт огромного пожара говорит о другом: насколько ранима тайга и насколько опасен в ней неумелый, не дорожающий ею человек. А когда их тут соберутся тысячи и начнут гигантское строительство? Тайга, как это бывает везде, где ведется активная хозяйственная деятельность, обязательно сгорит. Причем одни и те же площади горят чуть не каждый год: устоявшие от былого пожара сухие стволы, отсутствие на гарях травы, избыток древесного угля — это пороховая бочка, только чиркни. На многократных пожарищах деревья не вырастают уже десятилетиями. А отсутствие леса нарушает гидробаланс, вода здесь уже не задерживается. Такие территории иссыхают. Все это в будущем ожидает озеро Эворон. Пока же мы могли воочию убедиться, насколько «по-передовому», ударно трудятся привлеченные атомщиками на изыскания временщики. Дороги и просеки здесь не прорубаются, бульдозеры просто прорезают тайгу, отваливая деревья по сторонам, перемещивая их с землей. Погубленную древесину никто не вывозит. Следующей весной она уже будет порохом для новых пожаров. Вездеходная техника рубит траками мари и склоны сопки. Плодородный слой в этих краях ничтожно тонок, под ним камень. Такие рубцы не затягиваются десятилетиями. Взрывные работы распугали окрестную дичь, нарушили пути миграции лосей и других животных. Озеро издревле было важным звеном на маршрутах перелетной водоплавающей птицы. Значит, и ей не повезло.

Но для специалистов от энергетики Эворон — это усыхающая лужа, о чем не постеснялись они заявить местным жителям. И промерзает эта «лужа» зимой до дна, и рыба, по их словам, здесь перевелась...

А теперь послушаем мнения местных жителей. Александр Константинович Петров, пилюрамщик, лидер группы экологического контроля поселка Эворон, депутат районного Совета народных депутатов:

— Это озеро для нас все равно, что для вас Черное море — мелководное, поэтому отлично прогревается. В наших краях редкость. Красивое, уютное, богатое рыбой и живностью, сказочное место. Выбраться на него отдохнуть — счастье, особенно для детворы. Только вот добраться до Эворона нам труднее, чем до Черного моря. Мари, тайга. Как депутат, я давно пробиваю наказ избирателей — проложить на озеро дорогу. Но денег нам не дают. Построить здесь гигантскую, невероятно дорогую АЭС наше государство может, а дорогу — мелочи не наскребет. Атомщики это используют в давлении на население: согласитесь на станцию, будет вам дорога. Но мы уже не верим басням.

А. К. Петров — человек приезжий, русский, но искренне любящий, берегущий нанайское озеро. А вот мнение самих нанайцев, кровно, на жизнь и смерть связанных с Эвороном.

Любовь Октябрьевна Дигор, директор школы поселка Кондон:

— В поселке нет ни одного сторонника строительства станции. И вы знаете, в нашей позиции главное не боязнь повторения Чернобыля, аварии может и не быть. Нас погубит экология. Озеро наше мелкое, оно зависит от малейших перемен состояния впадающих в него рек, а также марей и окружающей тайги. Пройдет еще несколько пожаров, заберут воду речушек для нужд АЭС, погибнут мари — погибнет озеро. Тогда — всё...

Михаил Александрович Самар, учитель:

— Наши уже несколько десятилетий не занимаются профессиональной охотой. Угодья были отобраны. Оставшиеся участки не для промысловой добычи. Да вы посмотрите: у нас и пространства для жизни не осталось. Поселок стоит на самой крупной реке озера. Восемь впадает в Эворон, и только одна эта вытекает из него. Поэтому, знаете, какое ей название? Да Девятка же. Девятая, значит. Вот, с одной стороны поселка Девятка, с другой, поблизости, железная дорога. За ней военные что-то ворочают, туда нельзя. Пока у нас есть выход на север, за озеро, но как раз там и собираются строить АЭС. Мы в мешке. Как отобрали охотничьи участки, кондонским нанайцам осталось только озеро. После войны здесь было несколько рыболовческих колхозов. Но настояли, угрозами заставляли ловить больше, больше, еще больше. Дошло до того, что зимой приказывали

черпать рыбу из зимовальных ям. В Эворон приходит на нерест из Амура много пород, это рыбный роддом. Но основная порода, она и зимует здесь, — карась. И вот такой жестокой ловлей подрывали карасиное стадо. Теперь у нас всего один колхоз. Только им и держимся.

Но может быть, и вправду со строительством ДВ АЭС жизненный уровень и обеспечение поселчан улучшатся?

Дигор: «Мы в это не верим. Да вы посмотрите, до чего в наших краях дошло. Недалеко от нас поселок Горин, в нем есть дом инвалидов. Знаете, сколько денег тратит государство в год на одного человека там? 130 рублей! Меньше 40 копеек в день... Нас от подобной жизни спасало пока озеро. Мы не можем отдать его на уничтожение».

— Да как же вы не понимаете? АЭС нужна для покрытия энергетического дефицита, — говорят нам в министерствах, сокрушаясь по поводу экономической неспособности обществу. Дефицит. С этого слова, напечатанного самым крупным шрифтом и бьющей по глазам светящейся краской, должна начинаться каждая страница новейшей истории страны. Вот наш реальный сегодняшний царь и бог. Кипят, машут руками, голосят люди на тысячах митингов по стране, чего-то требуют, куда-то зовут, а им по головам хрясь одним словом — ДЕФИЦИТ, — и все обмякают, затишают, гаснут: на нет и суда нет. К месту и не к месту опускается на наши головы эта дубинка. Не дает опомниться и задуматься: а в чем именно и почему создался этот самый дефицит?

Комсомольчане не понаслышке знают, что это за напасть такая. В 1980—1983 годах город уже был практически парализован, а зимой по-настоящему вымерзал. При сильных морозах температура в квартирах падала порой и до льда. Владецы электроплит были не в состоянии готовить пищу. Предприятия перешли на непрерывную неделю со сложным прерывистым графиком получения электроэнергии. Сменные выходные дни, высочайший уровень простудных заболеваний, общее уныние и просто страх.

И вновь народу «предоставили» возможность совершить подвиг ради собственного спасения. В тяжелейших условиях и перенапряжении пробивали через тайгу и мари ЛЭП-220 и 500 от Хабаровска, тянули к городу спасительную нитку газопровода с Сахалина. И, напомним («Юность» № 7), в эти же годы ускоренными темпами строили новые комплексы завода «Амурсталь», и без того уже съедавшей львиную долю электроэнергии города. В спешке, может быть и оправданной необходимостью спасения, строили линии ЛЭП с нарушениями. Сегодня участки, идущие по болотам, уже в аварийном состоянии: опоры проваливаются, накрываются. Газ с Сахалина идет по единственной нитке. Случись ЧП на газопроводе, и последствия будут непредсказуемыми.

Хорошилов: «А денег нет... Город развивается. Заводы планируют не снижение, а увеличение энергопотребления. Причем на этих предприятиях предусматривается резкий рост производства товаров народного потребления. И в этом острая нужда. Жители совершают за год покупок на 570 миллионов рублей, а производится в городе ТНП лишь на 290 миллионов. Мы не обеспечиваем товарами свою зарплату, а в условиях возникающих рыночных отношений это может больно ударить по городу. Кроме того, ежегодно мы строим 220 тысяч квадратных метров жилья, объекты социальной инфраструктуры. Это же все необходимо людям, но потребует дополнительных энергозатрат, как и намечаемые программы улучшения экологической обстановки. Только на новое жилье и предприятия соцкультбыта край должен будет потреблять к 2000 году 2000 МВт энергии ежегодно...»

На такую вот цветистую блесну атомщики и «отцы города» пытаются подцепить население и привязать его к будущей АЭС, которая якобы сможет решить все проблемы и дать наконец краю желанное благоденствие. В самом деле, кому же не хочется иметь новую квартиру, много товаров и что-бы воздух стал чище?

Но тот же Е. Н. Хорошилов с искренней завистью рассказывал нам об опыте соседней Японии. Там в каждой префектуре есть 10—12 научно обоснованных вариантов развития местной энергетики, выбирай оптимальный, по душе и возможностям. В нашей же национальной схватке с дефицитом энергии не то что разнообразных вариантов не разработано, но и единая стратегия не продумана.

Наши технологии настолько отстали и энергоемки, что, не создавая качественного национального продукта, «высасывают» из энергосистем более двух третей всей производимой

энергии. И все же сегодняшние, уже «перестроечные» планы и программы ориентированы на создание новых производств со вчерашними технологиями. За время работы экспедиции нам довелось обсуждать энергетические проблемы на различных официальных уровнях. И везде при слове «энергосбережение» на нас начинали махать руками или недоумленно смотреть, как на «сморозивших» непростительную глупость утопистов...

Все разговоры о благах, которые якобы принесет атомная энергия населению края, — это «дудочка крысолова», сладкие звуки которой призваны втянуть людей против их воли в новый, еще более разрушительный виток индустриализации и без того кризисных в экологическом отношении территорий. Дальний Восток природой создан для иной деятельности. В следующем материале экспедиции «Юности» мы покажем реальные, валяющиеся буквально под ногами, резервы развития края. При разумном использовании природных богатств Приамурье могло бы давать стране больше, чем все размещенные здесь производства, при этом только здоровья и богатая. Достаточно сказать, что не будь сегодня Амур так отравлен, он мог бы одной только красной рыбы ежегодно давать на 5 миллиардов рублей. Это же больше, чем выгребают здесь все ведомства, беспощадно уничтожающие природу, воды, почвы, воздух, здоровье людей.

Амур создан для научно-производственной деятельности по освоению богатств тайги. Подсчитано, что ежегодно с одного ее гектара, не губя деревьев, можно получить ценнейшей природной продукции (пушнины, плодов, дикоросов, масел, продуктов питания) на сумму, в 4,7 раза превышающую стоимость срубленной на этом гектаре древесины. Но мы по-прежнему предпочитаем рубить, получать гроши, оставлять после себя мертвую на десятилетия землю, вместо того чтобы ласковыми руками брать с нее золотые плоды.

Амур создан и для туризма. Человек, хоть раз побывавший здесь, «заболевает» красотой дальневосточной природы. Потрясающие по эмоциональности и добычливости рыбалки, охоты, таежный виноград, дающие здоровье лимонник и элеутерококк (там, где пока они выдержали индустриальные напасты), неземная живописность местных пейзажей — все это должно приносить советским людям здоровье и валюту из-за границы. Пора понять, что нельзя индустриально уравнивать все области и территории страны. Одни созданы для производства промышленной продукции, другие, как Приамурье, — для экспорта здоровья. Именно они должны стать «всесоюзными здравницами», оттянув с заплыванных пляжей Черноморья наших измотанных сограждан, тщетно пытающихся по крупицам восстановить там нормальное самочувствие и восстановить испарившийся социальный тонус.

Да, краю еще потребуется электроэнергия. Но не для продолжения самоуничтожения, а для усилий, необходимых для переориентации своей экономики в сторону приносящих производств и скорейшего перехода на современные технологии. Какие именно? А вот это и должно выбрать само население из нескольких социально-экономических концепций развития края, которые предлагают ему на выбор ученые и экономисты. Местная власть обязана будет в будущем претворить избранное в жизнь, сегодня же она призвана мобилизовать необходимые для этого исследовательские силы и средства. А не использовать свой мощный аппарат давления для подталкивания людей в пропасть экологической и индустриальной катастрофы.

«Больше реализма», — явственно слышим мы заклинание функционеров, пытающихся удержать в своих руках нити управления краем. Замечательное слово «реализм» стало у нас сегодня символом нежелания изменить что-либо к лучшему, найти новые пути социального развития, круто повернуть руль разваливающейся Системы курсом на здравый смысл. «Увеличение выработки электроэнергии — это камень преткновения, от одного лишь которого зависит будущее благоденствие края», — слышим мы из технократических ведомств. Но с ростом информированности народ все отчетливее сознает, что количество энергии — это всего лишь элемент бытия, причем не самый главный, хотя и очень важный.

Энергия необходима. Какая и сколько? Наше общество постепенно начинает выдавливать из себя инфекцию гигантомании. Становится наконец ясно, что источники огромной мощности чересчур опасны, прожорливы и расточительны. Ведь только при передаче к потребителям на большие рас-

стояния теряется от 6 до 20 процентов выработанной энергии. Это же миллиарды тонн топлива, вылетающие буквально в трубу.

Итак, произнесем столь нелюбимое атомщиками слово — альтернативы. **Во-первых**, электростанции должны приближаться к потребителям. Плотность населения в Хабаровском крае, например, очень маленькая. Между населенными пунктами огромные расстояния. В основном это поселки. И вот от огромных станций тянутся по тайге нитки ЛЭП, дороги сами по себе и еще теряющие дефицитные киловатты. Случись что с источником-спрутом, всю территорию захлорадит. Не логичнее ли удаленным потребителям иметь собственный энергоисточник?

Значит, **во-вторых**, источники должны стать меньше, что требует переориентации энергетической промышленности. Такие малые станции могут без ущерба природе работать и на традиционных источниках — угле, газе, нефти. Но необходимо создание нового поколения оборудования для них. Не может не вызывать удивление такой аргумент атомных специалистов в пользу урановых реакторов: запасы органического топлива иссякают, что будем делать, когда уголь, нефть и газ кончатся? Очень это напоминает байку про вора, громче всех кричащего «держите вора!». Запасов угля при сохранении нынешних темпов их расхищения хватит все-таки еще на несколько веков.

В-третьих, перспективная альтернатива: переход к нетрадиционным возобновляемым источникам — энергии солнца, воды, ветра. «Да на это потребуется 15—20 лет и огромные материальные затраты». Но разве одна только ДВ АЭС обойдется нам не в те же огромные 3 миллиарда рублей и будет строиться в условиях Дальнего Востока не те же 15 лет?..

В США, как известно, деньги считать умеют. Ценят и свое здоровье. В одной лишь Калифорнии построили 15 тысяч ветровых энергетических установок. Присмотрелись, посчитали — понравилось. И вот министерство энергетики США уже планирует через 5 лет увеличить их количество в 10 раз, к 2005 году — в 70 раз. Таким образом, будет покрываться 10 процентов энергопотребления страны. То есть почти такое количество энергии, которое мы сейчас вырабатываем на атомных станциях (в процентном отношении к общему энергобалансу государства). Маленькая Швеция планирует создать энергосистему ВЭУ, которая будет давать 4000 МВт (то есть в 3 раза больше ДВ АЭС). Всего в мире проблемами ветровой энергетики занимаются 240 фирм, действует 3 миллиона созданных ими установок. У нас «прозябает» одна такая организация — НПО «Ветроэн», стоят (не значит, что работают) 3,5 тысячи установок.

Что же касается энергии прилива, то Хабаровский край может стать лидером в этой области энергетики. Готовится ТЭО приливной электростанции в Тугурском заливе. Полная мощность проектируемой ПЭС может быть в 3—6 раз больше, чем ДВ АЭС.

Однако главное — переход на энергосберегающие технологии, конечно. «Но это же 10—15 лет и колоссальные затраты...»

Альтернативы есть!

(Окончание следует.)

Хабаровский край

Попечители экспедиции: московские кооперативы «Саят-Новая», «Фархад» и трудовые коллективы города Комсомольска-на-Амуре и поселка Эврон.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ АВТОРОВ

Редакция нашего журнала совместно в фирмой «Экос» начинает выпуск серии малоформатных книг молодых авторов за их счет. Тираж — 150 экземпляров (стоимость — 500 рублей). Объем — 5 учетно-издательских листов (100 страниц на машинке формата А-4). Окончательная стоимость устанавливается в зависимости от объема рукописи.

Автор имеет право получить половину тиража. При коммерческом успехе заключается договор на повторное издание.

Заявки посылайте по адресу: 113055, ул. Зацепы, 41, Центр подготовки менеджеров МИПХ при МИНХ (для фирмы «Экос»), телефон 237-87-82. Нуралиев Мидхат.

Анатолий БОЧАРОВ

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ...»

Великая фраза «Все смешалось в доме Облонских», столь часто употребляемая нами все, пришла нынче как нельзя более кстати для нашего литературного дома.

Поистине смешались в нем времена, направления, стили, модные поветрия. На страницы журналов выплеснулись произведения, которые не прорвались по разным причинам и в разное время через плотины политических и эстетических запретов, перегородившие литературное русло, а теперь стали полноправными обитателями нашего литературного дома, хотя еще и не знают, в какой комнате их поселят.

Мы познали удивительное состояние: художественная мысль внезапно раздвинула свои границы и вширь, осветив казавшиеся ранее недоступными или намеренно затененными жизненные сферы, и вглубь, вглядываясь в истинное историческое движение страны и народа, оценивая духовные высоты и зияния этого движения. «Зияющие высоты» — нашел страшный, парадоксальный, но удивительно точный образ для названия своей книги о прожитом времени А. Зиновьев, один из тех, кто был выслан при Брежневе из страны.

Буквально в одночасье развернулась перед нашим взором единая сильная и гуманная литература, по которой вполне можно сверять и время, и художественную мощь — или немощь — произведений, вырывающихся сегодня на журнальные страницы.

И все-таки... И все-таки в этом доме, где все перемешалось, нам хочется узнать и понять, что же с нами-то, с нашей жизнью происходит. Никакая подпитка художественно и социально значительными книгами «из запасников» не может заселить ту часть нашего сердца, нашего сознания, которая жаждет расслышать в литературе свою боль, свои надежды, представить, какой же свет ожидает нас в конце туннеля. Особенно сейчас, в период какого-то всеобщего раздора, безверия, ожесточения.

И, кажется, после некоторого пребывания в том сумеречном состоянии, которое в боксе определяется как гротги, современная проза стала вести бой если не увереннее, то, во всяком случае, резвее и раскованнее. Тем более что на смену склеротичной «секретарской» литературе, сковывающей все подвижки, исподволь приходят молодые прозаики, не один год просидевшие на скамейке запасных или тренировавшиеся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Так куда же стремится наша литература? Вниз ли по течению, поспешно запечатлевая уходящие назад берега, или, подобно океанской рыбе, прорывается, обдирая бока, в заветные места, чтобы там выметать и оплодотворить икру, из которой вырастет в итоге поросль, способная сохранить достоинства и чистоту рода?

Ведь только та литература действительно достойна своего имени, которая безоглядно рвется навстречу течению, вопреки накатывающейся обыденной жизни.

Вспомним, как постепенно входили — рывок за рывком — в наш литературный обиход и «ЧП районного масштаба» Ю. Полякова, и «Смирненное кладбище» С. Каледина, и почти легендарная и только незадолго до смерти автора «всплывшая» поэма «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева, и много иных книг, где господствуют «чернуха», «порнуха» и прочая неприглядная «житуха». И как смешны нынче лицемерные упреки по поводу того, что вытаскивают «эта-

кое», ведь в такой крайней форме реализовалась на практике бесспорная истина: для искусства не существует запретных тем.

Кое-кто полагал, что эта истина должна оставаться лишь декларацией подобно множеству тех, что были гордо провозглашены и в других сферах нашей жизни. Но зажатое, невысказанное, лицемерно скрытое мучит не только художника, а и общество. Бум «чернухи» и «порнухи» на Западе прошел раньше — и ничего, общество, как видим, не развалилось. Но мы не повторяем школярски зады пройденного там, а лишь осваиваем азы потребного быть высказанным здесь. Изломанная эпоха порождает изломанные судьбы — и это нельзя больше утаивать. Тем более что изломанных судеб сейчас, похоже, не меньше, чем в клятые застойные времена, поскольку и амплитуда размаха между крайностями стала больше, и разрыв между обещанным и свершенным нагляднее, и наше зрение горше и трезвее.

И уже досадным анахронизмом выглядит и иллюзорный драматизм, разлитый в романе «Человек бегущий» Е. Туинова.

Публикация романа Е. Туинова «Человек бегущий» была предварена в «Звезде» в 1988 году развернутым уведомлением, одновременно и перестраховочным, и завлекательным. В нем сообщалось и о том, что роман представил такую «беспрецедентно острую и даже тяжелую» правду, опубликовать которую раньше даже помыслить нельзя было, и о том, что рукопись романа вызвала при обсуждении в редакции «разноречивые, подчас взаимоисключающие отклики». В прежние времена, де, такую «небесталанную, хотя и спорную» рукопись непременно отклонили бы, а вот нынче решились опубликовать: пусть читатель сам оценит «правоту и актуальность изложенных там точек зрения».

Этот акт чуть ли не мученического восхождения редколлегии на костер предварял весьма заурядную по художественным достоинствам и достаточно робкую в своем отходе от представлений о паиньках-школьниках вещь. (Я уж не говорю о том, что заглавие почему-то напоминает о рассказе В. Макина «Гражданин убегающий» и что редакция на всякий случай представила Е. Туинова как молодого автора, хотя он и опубликовал уже к тому времени роман, две повести да два сборника рассказов: наверное, и впрямь из молодых, да ранних.)

Что же касается остроты, то она в романе находится на таком примерно уровне. Молоденькая учительница говорит коллегам: «Ну надо же! Надо же! Они уже рожают в восьмом классе! Тут после института еще нецелованной, можно сказать, ходишь, а эти!..» Право-таки жаль, что в журналах не принято уведомлять: «Детям до шестнадцати без сопро-вождения взрослых читать не разрешается»!..

Похуже, что редакция и впрямь приняла всерьез одну из «изложенных там точек зрения» — точку зрения учителя истории: «Догнать бы их, всех бегущих, по жизни ли, по набережной ли, и, может, понять бы их или хотя бы приблизиться к их пониманию. Глупость, конечно, что там понимать у них».

И такого рода «беспрецедентно острые и даже тяжелые» романы по сию пору выдают за ту вождленную правду, которая якобы упрочивается, если верить тому же редакционному предуведомлению, в «получившей большой простор современной художественной прозе»!

Недавно опубликовали свои новые повести В. Быков и Д. Гранин — двое прозаиков из немногочисленной когорты честных литераторов-«шестидесятников», сохранивших свою писательскую совесть в томительное предгрозые застоя и безукоризненно ведущих себя и по сию пору.

Повесть В. Быкова «Облава» как бы своеобразное продолжение его путешествия в глубь советской истории. То, что было частью повести «Знак беды» — колхозная жизнь Пятрока и Степаниды, — стало теперь основой сюжета: несправедливо высланный «кулак» возвращается тайно в родные места. И здесь на него устраивается облава, руководит которой... его сын, своевременно отрекшийся от отца и вылезший благодаря своему истовому отречению в партийные начальники; теперь он снова подтверждает своим рвением преданность делу партии. И не в том ли, что партия привечала отступников, отцеубийц, лицемеров, одна из причин будущих гниловых процессов в ней?!

А Д. Гранин в повести «Неизвестный человек» и вообще обращается к исторической двухсотлетней дуге, показывая нетленность долга и чести и одновременно живучесть насилия и малодушия.

Эти две повести не стали сколько-нибудь шумным событи-

ем, но уверенно ткнут нить той совестной литературы «шести-десятичников», для которой важно сегодня отыскать корни того, что обрушилось на страну: ведь вопрос, куда идти, какому свету повернуться, тесно связан с тем, от чего уходить, что изживать.

В самой общей форме ответ, видимо, будет прост: изживать несвободу. Но несвобода — это не только насилие извне, это и привычная уже скованность собственного духа, и дикие формы высвобождения из нее, и боязнь повернуться к чему-либо. Мы уже так изверились в не раз обещанном свете, что боимся снова обмануться: не обернется ли благодатный свет очередным болотным огоньком?

Говорят, бывают на болотах блуждающие огоньки, которые манят своим мерцанием, своей таинственностью: вроде ходит там кто-то, зовет, путь указывает. Но пойдешь к нему — завязнешь в трясине.

Есть вроде научное объяснение этим огонькам: загорается газ, выделяющийся при болотном гниении. Не знаю, как с точки зрения научной, но в роли метафоры этот образ весьма удачен: навалились мы этих огоньков да и так глубоко в трясины за ними забрались, что и по сию пору не выберемся. И вот теперь не верим, впрямь ли на твердой почве светится огонек веры и идеала. Той гуманистической веры, которая зиждется на убежденности в конечном торжестве здравого смысла и неистребимости человеческого в человеке. И, как бы ни развивались до поры до времени события вопреки здравому смыслу, как бы ни свершалось надругание над человечностью, человеческой природой, человеческими запросами, человечество способно спасти себя от самоистребления.

Да, писатели старшего поколения пытаются разобраться в корнях — это ведь не только для общества, но и для них самих жгуче важно: где они ошибались «вместе с генеральной линией», где не нашли в себе твердости противостоять силе или предубеждениям, где сберегли честь и какие уроки из их судеб вправе извлечь дети и внуки.

А молодые приходят в тот мир, какой есть, и к чему им разбираться в многосложности причин, приведших к нынешнему состоянию, — им важнее понять, как же жить в этом состоянии.

По традиции — и по реальному месту в семье искусств — литература в России всегда была и молитвой, и прокламацией, и социологическим исследованием, и исповедью, и очерком нравов. От нее не переставали ждать не только покаяния, но и ответа на вопрос, во что же верить.

Мы без конца к месту и не к месту поминаем «два великих вопроса русской литературы»: кто виноват и что делать? А сейчас, несколько потеснив эти довольно-таки, если вдуматься, позитивистские, «приземленные» — в духе «натуральной школы» — вопросы, выдвинулся третий, духовный: во что верить? Именно ответом на него обусловлены различия между теми, кто хочет верить и кто терзается неверием, кто знает, чему повернуться, и теми, кто, отчаявшись, не верит ни в сон, ни в чох.

Сейчас мы, по моему разумению, переживаем стадию предупреждения, рассказа-предупреждения, повести-предупреждения — имея в виду не только антиутопии «Невозвращенец» А. Кабакова, «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской и еще неизвестный у нас роман «Москва, 2042» В. Войновича, но и вкладывая гораздо более широкий смысл.

Предупреждение — это горькое писательское предвидение того, какие картины могут стать реальностью, если будет и далее раскручиваться нынешняя жизненная спираль. Литература ужаснулась тому, что грозит в самое близкое время человеку и человечеству. Перед нами открылись и глобальность возможных катастроф, и взаимосвязь всего сущего на земле, и главенство общечеловеческих интересов над сословными, и крах величайшего исторического эксперимента по расчисленному социальному переустройству — а все это навалилось на нашу неготовность, а временами и неспособность не только решать, но просто воспринимать эти необъемные вопросы. И свершился откат от веры в социальное переустройство мира к почти инстинктивному порыву сохранить хотя бы себя. В «Новых Робинзонах» Л. Петрушевской — доведших, можно сказать, до логического конца «шоковую терапию» ее рассказов и пьес на современную тему — взметнулась тревога за физическое самосохранение семьи, укравшейся в иллюзорной глухомани, у других авторов — за духовное самосохранение личности в плотно завинченном «городском» котле.

Завороженный взгляд на устрашающе раскручивающуюся

спираль возбуждает разного рода абсурдистские настроения, абсурдистские художественные построения, тающие в себе обычно знак душевного кризиса художника и общества. Так объявились в свое время и Ф. Кафка, и С. Дали, и Э. Ионеско. А теперь и у нас потянулись молодые побеги. Нашумевшая своей, по определению ревнителей нравственности, «порнухой» «Равновесие света дневных и ночных звезд» Валерия Нарбикова уверенно высказалась: «Мы пока что можем сказать то, что сделать пока не можем. Может быть, это время самое благоприятное для искусства. Причем для искусства абсурда. Я не знаю общества более абсурдного, чем наше».

И в недавней повести с вычурным названием «Около эколо» В. Нарбикова вернула-таки в рассказ о любви строки об абсурде: «Живем, как враги, и остается только валять дурака. Редкая страна, где не живут, а только все время борются, страна экспериментов, но ведь жизнь — это не эксперимент, жизнь — это жизнь раз в жизни». Оттого-то и распалась любовь Бориса и девушки Петrarки, которую все звали Петей: они любили друг друга, «но любовь не любила Петю и Бориса, то есть любовь их исторически не любила... не слишком это историческое время было благоприятно для их любви». Еще более заметны эти «абсурдистские» склонности в прямом продолжении рассказа о Пете-Петrarке — повести «Пробег — про бег».

Не буду говорить ни о достоинствах этой повестной дилогии (по-моему, весьма скромных), ни о недостатках (связанных прежде всего с тем, что мы несколько грубовато называем «выпендриванием»); я хочу лишь прочертить связь между «жизненным абсурдом» как философией автора и свободным, до абсурда, смещением реального и ирреального как художественным приемом.

Можно сказать, что ныне это стало чуть ли не повально модным стилем — если не абсурда, то авторского своеволия в обращении с реальностью. Того запальчивого своеволия, которое служит эстетическим выражением протеста против социального детерминизма. И в этом отношении дилогия В. Нарбиковой близнецово сходна с напечатанной в «Юности» повестью Е. Сазанович «Прекрасная мельничиха».

Молоденькая героиня повести воспринимает свое мотыльковое бытие вполне нормально, как и то, что расплатой за такую жизнь станет превращение в безобразную старуху, к которой так же прибежит такая же мотыльковая девица за секретом неправдоподобно беспечальной жизни: из таких однодневных колец и состоит цепь человеческих судеб.

И это, признаем, нечто новое в оркестровке традиционного для всей мировой литературы мотива запроданной дьяволу души. Если гуманисты прошлого ужасались готовности человека продать душу даже за счастье создать великую музыку, разгадать научную тайну, помочь страждущему человечеству, то Е. Сазанович с молодой самозабвенностью считает горестную расплату своей героини вполне приемлемой: живет же мотылек всего один день — и ничего! «Жизнь — это раз в жизни» — как выразилась Петя, героиня В. Нарбиковой. Не укоряя и не поучая, а просто размышляя на склоне лет, полагая, что молодая минчанка талантливо, с выдумкой и феерией, в жанре, близком мистери-буфф, раскрыла то кредо, ту философию жизни, которую в крайних и тяжелых вариантах исповедуют мотыльковые путанки, наркоманы, скитальцы-божьи. Это именно кредо, защитно выдвигаемое ими против малопривлекательного «Жизнь — это всерьез»: не лучше ли в пасмурном беспросвете обыденности прожить свой день в свое удовольствие, не пугаясь неизбежного и раннего вечера?

Только долго ли можно уклоняться от бесстрашного познания как причин напастей, так и путей избавления от них? Перефразируя одного не очень-то жалюемого ныне поэта, скажу, жить бездумно — хорошо, но бесстрашно — лучше. Остается надеяться, что жизнь еще научит горькой потребности познавать и причины, и пути.

Разноликая литература абсурда непосредственно связана с тем, что многие ныне определяют как шоковую терапию. Это и впрямь не «смакование», а терапия: взгляните, на краю какой пропасти мы находимся, какое одиночество нам грозит! Осознание трагизма нашего существования и сделало многие нынешние произведения по жанру или тональности — предупреждениями, в которых неожиданно грозный смысл обрели слова давней песни Б. Окуджавы:

Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...
Что гадать нам: удалось — не удалось?

Но если у В. Нарбиковой и Е. Сазанович абсурд лежит, можно сказать, на поверхности, в игровом смещении реальности и ирреальности, то поэтика абсурда в рассказе Зуфара Гареева «Когда кричат чужие птицы» расположена в более глубоких слоях содержания.

В степенную, добропорядочную чету Фирсовых неожиданно-негаданно приезжает из города непутевая дочь Нина — на денек, без вещей и даже без гостинцев. «Она много и неразборчиво гуляла в ранней молодости, в девушках была чудачкой, но иногда становилась злой, яростливой: много плакала, чего-то все таилась от родителей, тайком ездила в район делать аборт». А теперь вот еще неудачница — не пришей рукав». И отец, и мать ей, понятно, чужие, и она уже для родителей сторонняя, отрезанный ломоть, отца даже раздражающе тревожит язычок у нее на губе: уж не сифилис ли? А приехав, она пообщалась только с деревенским придурком-алкоголиком и ночевать попросилась в пустовавшей баньке, где и он сам спал; то ли все еще была чудачкой, то ли опять на что-то яростливо обиженной, то ли слишком тошно под родительским кровом от постылых расспросов: как устроилась, да где работает, да велика ли зарплата. «Это все неинтересно», — вяло ответила Нина после молчания. — Конечно, у всякой квартиры есть муж, а вместе у них есть зарплата... Нету мужа. И квартиры нет. А зарплата есть. Но бывают сиреневые вечера: небо дышит, и ты пьешь его глазами».

И под стать этому «сдвинутому», «смещенному» характеру героини — так и остается сокрытым, зачем она вообще-то приехала, — все в повести какое-то «сдвинутое»: и это несуразное общение с деревенским убогеньким Сеней, и проходящие как раз в это время киносеансы о здоровой деревенской жизни, и глупая радость режиссера, разлетевшегося было снять благополучную семью, где и дом в порядке, и автомобиль имеется, да еще красивая молодая женщина в кадре возникнет, трогательно прильнувшая к родным березам! И отец, который, чуждаясь своей дочери, без страха заметил, что она, вздумав искупаться, приближается в воде к смертельному омуту, обрыву, за которым, «как знал старик, было круто и навсегда». Случайно все обошлось. Но когда на следующий день Фирсов отвез дочь обратно на станцию, он в какой-то момент облегченно вдохнул «холодного колочего воздуха, которым на него пахнуло от окружающего мира, который медленно и неотвратно надвигался на них — на отца и дочь...». Холодный неотвратимый ветер, разметавший близких людей!

Не правда ли, сколь горек этот абсурд жизни, когда все пошатнулось, — и уже вместо привычного осуждения «заблудших», заблудившихся в городе детей прорывается какая-то смесь жалости, понимания, прощения, а вместо преклонения перед степенными отцами звучит удивление: до чего скучно живете, стариче! И не схожа ли гареевская Нина с героиней «Прекрасной мельничихи»? Только та в страшную, беззубую старуху превращается, а эта и вообще, может быть, с жизнью прощаться приезжала, крест на своей судьбе ставила.

Но примечательно, что такой перенос симпатий и понимания с «отцов» на «детей» отразился и в абсолютно реалистической повести Юрия Красавина «Полоса отчуждения».

В маленьком городке на Волге неподалеку от Москвы живет-ерошится в доживающем свой век домишке Анастасия Сергеевна. И приехал к ней — традиционнейшая ситуация! — недавно переведенный на работу из дальних мест в Москву старший сын с женой: мать проведать да домишко хоть немного в порядок привести. Но обычная в такой ситуации «блудного сына» ностальгическая мелодия возникает в повести не от встречи с милыми еще с детских лет местами, а от воспоминаний о том, как ходил по этим местам он со своей первой женой, Таей; когда-то приехали они, молодожены, с далекой стройки сюда жить, а мать сживала со свету обоих: его за то, что женился на бесприданнице, а ее за то, что плохая хозяйка. А откуда ей быть с приданиями да уметь хозяйствовать — этой девчонке из общестия?! И, наконец, когда от непосильной работы под сердцем зудеж свекрови случился у Таи выкидыш, уехала она из этого дома, а он не бросился вслед, малодушно остался с матерью, хоть и обиделся на нее. А теперь и жена давно другая, и двое сыновей-студентов, и обида на мать отошла — только нет-нет да зашемит сердце, когда что-то в округе вдруг напомнит о Тае. Не грусть о покинутых местах, а печаль о молодом счастье — это ведь и укор матери: не помогла тогда, не поддержала, порушила любовь. Но главное в том, что мать как была смолodu хваткой, скопидомной,

безрассудно суетливой в работе, такой и осталась со своими ломаными да латаными обиходными вещами, но зато с деньгами на сберкнижке.

Вроде как было ей жить да выжить, поднять двоих детей без счета каждой копейки и без «двузначной тетивы»? Только у нее это обернулось выморочной скарденностью. И как скарденность отличается от умения экономить, так и ее трудолюбие то и дело оборачивалось пустым «пупрвать», вызывая насмешки соседей. Скупая, обидчивая, вздорная мать. И выдержанный, деловой, с ироничной терпеливостью сносящий все ее штучки сын. Так совершается дерзкий отход — чтоб не сказать поворот на 180 градусов — от канонов деревенской прозы, столь почитавшейся нами и вроде предлагавшей единственно надежный нравственный кодекс взамен прежнего «классового», «революционного».

Поняли гибельность «классового», не приняли наивно патриархальный. Но во что же все-таки верить?

Пожалуй, большинству молодых единственно надежный нравственный кодекс, единственно чистый и честный выход для личности видятся в обособлении, отстранении от любой общественной жизни, скомпрометированной бесконечными зигзагами, запоздалыми прозрениями, неумеренными превознесениями и низвержениями. Это настроение людей, уставших или не согласных еще долго ждать щедро обещанных социальной справедливости и устойчивого благополучия, то и дело прорывается в стихах и прозе.

Но окажутся ли спасительными упования на «моральный абсолют» и личную порядочность, отстраненную от социальной «возни»? Без личной порядочности каждого ничто не состоится — эту непреложность мы, кажется, усвоили. Но вот незадача — преобразовать что-либо в жизни все-таки удастся лишь благодаря общественной активности, а не отстранению от «страстей века». Оттого и нарастает неутоленная тоска по книгам, в которых забрезжит хоть какой-то поиск социальных гарантий для личности, живущей по законам морального абсолюта.

Есть, впрочем, и еще одна линия противостояния этой рефлексии, этой растерянности перед вопросом «во что верить».

Нас зовут просто ввериться трагизму жизни, ибо в самой жизни заложена ее способность к самовозрождению, самоочищению; жизнь длится благодаря себе самой, своему высшему бессознательному разуму, а не человеческому упорядочению.

В рассказе Д. Бакина «Листья» клокочет та вселенская стихия, где страсти и дела человеческие соизмеримы со вселенскими светом и тьмой, где бытие еще не достигло высшего дня творения, а пребывает в хаосе, где, наконец, конкретика бытия звучит как глагол времени, — все те начала, которыми были в той или иной мере вдохновлены Библия, латиноамериканский роман, Фолкнер, Платонов, О. Чиладзе... Я не почитаю Д. Бакина равновеликим (как, впрочем, и Платонова — Библию), а лишь поясню тот характер, то направление, в котором на некой апокалиптической высоте особенным образом высвечивается бытие, а время, существующее в своем внешнем течении, обретает непререкаемость вечности.

Такая же вселенская стихия бушевала и в затерянном в подборке «Новые имена» («Октябрь», 1987, № 12), включившей прозу 17 авторов, его рассказе «Про падение пропадом» о судьбе четырех шоферов, направленных на целинную уборочную. Вот хотя бы как говорилось об одном из них, зная, что у него рак желудка: «Его не любили — сторонились и поливали за глаза, как поливают Иисуса Христа; его сторонился черный кот, кошачьим чутьем угадывая в нем пройденный этап». Эта «нутряная», витальная сила, органично соединяющая Христа и кота, веру и язычество, предчувствия и неотвратимость, «возрождение Возрождения» и «наэлектризованное движение василиска», также обладала странной покоряющей мощью трагизма того, что «жизнь пахнет смертью».

Вот и в «Листьях» из хаоса военных лет возник в деревне двенадцатилетний сирота, которого усыновила бездетная чета, «семенаждать лет ожидавшая пришествия Иисуса Христа» в надежде на чудо цветения бесплодной смковницы. Но вскоре умер военный инвалид, чья фамилия Бедолагин перешла к мальчику, так и не обретшему в рассказе имени. Сквозь череду темных дней проходит он, становясь мужичиной и оставшись один — в доме и на свете — после того, как его приемная мать уехала с полковником «теневых войск».

Был он, к примеру, потрясенным свидетелем того, как все женщины деревни ушли выменивать пожитки на семена, домашнюю птицу, скотину — на жизнь! — а мужчины, за-

творившись в темницах изб, погрузились в тяжелые волны опьянения, «убежденные в том, что всему, что снится, предначертано верить, ибо реальность — половина правды и негде людям искать вторую половину правды, кроме как во сне».

Испытал он, семнадцатилетний, и ту почти нереальную ночь, когда в его пустой дом вдруг прибежала выгнанная отцом беспутная Анна — и до рассвета «слепящий свет чередовался с душевной, липкой тьмой — она вертела им, как вздумается, а он решил, что так сотворилась Вселенная». А утром она ушла, уехала — и он изведаль такую муку, что ему однажды приснилась беременная кошка, вцепившаяся иглами зубов в его мошонку, «и весь путь, который был проделан к пустырю пробуждения, он околачивал ею столбы».

Стоит ли удивляться тому, что художник Пал, подрядившийся писать по заказу восстанавливаемой церкви иконные лики, натурой для них избрал Бедолагина, в лице которого разглядел «некую мертвенную, церковную покорность, всепрощающее смирение и знамение неизбежного краха в глазах».

А потом приехала Анна и стала жить у него, «непобедимо мертвого», и он пошел к отцу Анны, который грозился убить свою беспутную дочь, чтобы тот исполнил свое обещание и проклятие. Но отец неожиданно сказал: «Сделай ей ребенка». Ей, чья утроба была уже навеки бесплодной. И Бедолагин, не в силах «совладать с темной силой наследственно отравленной крови», отправился в церковь, где указал пальцем на три уже готовых лика, писанных с него, и велел снять их. И направился домой, «а рука все еще висела в церкви и висела до тех пор, пока иконы, на которые она указывала, не были сняты». Все оказалось для него ложью — и Бог, и иконы, и сама возможность жить.

Глубокой же осенью Анна, сначала даже не поверив, почувствовала себя беременной. Потрясенная тем, что «он, не способный ни на что, сделал то, что никто не мог сделать», Анна увидела сон той ночью, когда он ушел на свое дежурство в школьную котельную. Ей приснилось, как Бедолагин бросился на кучу сухих листьев, к которой уже бежали дети, чтобы поджечь собранную ими листву, и в руках у них уже вспыхивали огни. Огни, чтобы сжечь все темное, что несут в жизнь тьма и хаос. Испуганная, Анна выскочила из дома и, едва касаясь босыми ногами холодной, подмерзшей почвы, бросилась к школе. Подбежав поближе, увидела, как из трубы медленно уходил в небо белый лиственный дым. «Тогда она остановилась и стояла, глядя на белый дым, а потом сказала — господи — и сказала — господи — а потом сказала — храни».

Все соединилось в рассказе — и хаос, и мертвенная душевная и вселенская пустота, и ирреальность реальности, и цепающая темень мира, но есть и легкие босые стопы прощенной блудницы, и чудо продолжения жизни, и вечная вера, и вселенский призыв «Господи, храни нас». Начавшись с того, что в мир пришел безродный, бездомный сирота, рассказ завершается грядущим приходом ребенка, зачатого от него.

Был хаос, был дом, появилась женщина, из хаоса возникнет мир, и в доме раздастся голос ребенка.

И эта вера человека, стоящего перед апокалиптической пропастью, не есть ли знак нашей сегодняшней жизни с ее отчаянием и ее почти сверхъестественной надеждой на маленький комочек жизни, зародившейся от потерянного мужчины и блудной женщины?! Жизнь все-таки права, жизнь все-таки вечна, а надежда не напрасна.

Может быть, я и не совсем «в замысле автора» прочитал этот рассказ, но отличительным признаком сегодняшней литературы стало обилие интерпретаций (попробуйте разгадать у Д. Бакина хотя бы слова «полковник теневых войск»). Для людей, причастных к искусству, аксиоматично, что чем более развиты глубинные слои произведения, тем оно художественно значительнее. Но сейчас мы стали свидетелями того, как настойчиво — а то и навязчиво — распространились метафоризм, мифологизм, абсурдизм, ирония (особенно в явленной ныне на свет прозе вчерашнего андерграунда) — все они объединены отчетливым стремлением «раскачать лодку» традиционного дидактического реализма. Можно скептически относиться к такому рода попыткам, веруя, что детерминизм и воспитательная роль являются высшим достижением художественного исследования жизни и более всего отвечают потребностям познавательной природы человека, но факт остается фактом — литература отходит от традиционной дидактики и детерминированности. Иногда это вызвано авторским незнанием выхода из постигнутых им

противоречий жизни, иногда — отсутствием веры в возможность преобразований, иногда — доверием к тому, что читатель и сам разберется, а иногда и просто модой на многозначность, при которой образ не картина, а знак.

Впрочем, как бы там ни было — интерпретационная свобода, столь созвучная авторскому своеволию, — одна из характернейших особенностей современной прозы и, больше, современного мироощущения.

Выступая по телевидению, Э. Рязанов довольно резко сказал однажды, что если нынешнее поколение не читало Ю. Трифонова, то оно обеднило себя. Да, действительно это поколение и впрямь «проскочило» его книги. Когда нас будоражили каждая его новая повесть или роман, сегодняшняя молодежь еще в начальную школу, а то и детский садик ходила. А потом на нее нахлынули новые имена и книги, а в последние годы и вообще захлестнула волна прежде запретных книг — как же не промчаться на ее гребне, не испытать наслаждения от духовного виндсерфинга.

Впрочем, я сильно подозреваю — из своего опыта общения со студентами, — что не только Трифонов, но и В. Астафьев, Д. Гранин и иные «шестидесятники» оказались в подобной «мертвой зоне». Больше того — и «диссидентская» эмигрантская литература, и «задержанные» в стране книги В. Гроссмана, Ю. Домбровского, В. Шаламова не так взволновали молодежную аудиторию, как нам, «гражданственным» критикам, мечталось — ведь эти книги были созданы в координатах социальной жизни, мыслили не только «сугубо духовными», но и социальными категориями, а нынешние озабочены лишь тем, как человеку спасти себя самого, единственного и неповторимого. В свою очередь, один из талантливейших эмигрантов не по своей воле, Г. Владимов, признался: «Что касается авангарда, то здесь я остаюсь гнусным реалистом школы «Нового мира». Я читал сборник «Зеркала». Понимаю, что нужно дать этим людям высказаться, но не понимаю и не люблю эту литературу... Конечно, всем надоел соцреализм. Но и авангард не спасение от него».

А во многом отличный от Г. Владимова по своим воззрениям редактор «Континента» В. Максимов сетовал в интервью на то, что советская литература чрезмерно политизирована, — «но есть же и вечное!» — и надеялся на молодых: «Может, они вернут эстетический момент». Но и он, назвав некоторые имена — Евгения Звягина, Гандлевского, Кенжева, — признал, что у них «дельные вещи есть», но больших открытий нет. Так они и не могут возрасти только на «эстетическом моменте», хоть не сумеют возрасти и без него!

Все-таки для большой литературы требуются два непреходящих условия: правда жизни, увиденная честным и зорким взглядом, и духовное благо. То благо, которое очищает человека светом высокой мысли, порой даже неосознаваемо для самого автора или независимо от его намерений. В нем не прекраснотушье, не смирение и уж тем более не отрешение от земной суеты, а сила душевных порывов, готовность отстаивать свои идеалы, стремление переупрямить неприветную судьбу.

И невольно возникает вещая аналогия: как русские идеалисты — философы и писатели — «серебряного» века пришли на смену социологическому в своей основе мировоззрению революционных демократов, так нынешнее увлечение религиозно-философской символикой явилось в немалой мере реакцией на длительный диктат застойной художественно-социологической мысли. И это вполне естественно, поскольку, во-первых, социологические воззрения, как и социальный тоталитаризм, оказались чересчур агрессивны, но малоплодотворны, а во-вторых, объединение личности от общественных структур и насаждаемой идеологии повлекло за собой разные варианты философии индивидуального спасения и утешения.

Но вот какое опасное продолжение этой аналогии приходит в голову. Как бы ни были высоки и чисты помыслы тогдашних философов и литераторов, часть из которых была представлена в «Вехах», сколь бы проникательно ни развешивали они социальных экспериментаторов, победил-то в ту пору социальный напор, восторжествовали те, кто искал выход не в духовном очистительном отшельничестве, а в социальном переустройстве мира! Ибо побеждают всегда те, кто уповает на приход в землю обетованную — пусть даже до нее нужно идти сорок лет по пустыне! — а не те, кто надеется спасти человечество, спасая только себя.

И весь вопрос в том, как поставить этот напор на гуманистические рельсы, чтобы социальное сознание было подкреплено деятельной силой души, а не тоталитарным насилием над нею.

Расследование
«Юности»Галина
АРБАТСКАЯПОКУШЕНИЕ
НА МИРАЖИ

О прекрасный и невинный юноша, не слушайте ядовитых советов этого суетного и злобного интригана. Эти советы повлекут вас в бездну или, по меньшей мере, в ближайшее полицейское управление, где вы, наверное, будете подвергнуты сначала строгому допросу, а потом — соответствующему взысканию.

Д. И. Писарев.

В моем городе — с горбатыми улицами в летнем расплавленном асфальте, пронизанными трамвайным звоном, с нереальными, парящими в зное сопками, с буйным синим морем и белыми нахальными чайками, с бесподобной баранкой, где домо- и не доморошенная фарца купит и продаст все что угодно, с какого угодно конца света... Так вот, в моем городе все располагает к терроризму.

Я говорю не о сегодняшнем поучительном времени эпохи зрелой перестройки, когда в центре Владивостока, у дышащего на ладан, скованного лет эдак с десяток назад (дабы не развалился) обручами памятника Борцам за власть Советов, перед «зубом мудрости» — 24-этажным зданием крайкома партии, — шумят неформалы всяческих мастей, стремясь перекричать друг друга. Я говорю о прекрасной приморской поре — начале октября 1982 года. 2 октября в моем городе бдительными органами госбезопасности был схвачен террорист Сергей Касьянов.

Террористу было 19 лет.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 2 октября 1982 года военным прокурором гарнизона залива «Стрелок» в отношении рабочих ВМФ — матросов плавкрана... Касьянова С. В. и Буркова Е. А. по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 89 и ч. 2 ст. 218 УК РСФСР, т. е. за хищение государственного имущества, совершенное путем кражи по предварительному сговору группой лиц, и за незаконное изготовление и хранение боевых припасов и взрывчатых веществ» (том 1, л. д. 1).

Позвольте, при чем здесь терроризм? — спросит любезный читатель. Но не спешите, а следите за тем, как дело движется к устрашающей своей кульминации. Так вот, портовый рабочий Сергей Касьянов и друг его Евгений Бурков имели умысел ловить рыбу нехорошим способом — глушить ее с плота. Для чего «изъяли» боеприпасы там, где они плохо лежали. Потом подошла очередь «плохо лежащего» плота и кое-какого «бесхозного», но нужного рыбакам добра (всего на сумму несколько более тысячи рублей).

«Допрошенные по этому факту обвиняемые по другому делу Цветков Е. А. и Казарцев С. С. показали, что весной 1981 года к ним обратился их сослуживец по плавкрану Касьянов с просьбой помочь ему похитить спасательный плот ПСН-6М со стоявшего рядом морского буксира № 1242, на что они согласились. Касьянов остался на кране смотреть за безопасностью, а они спустились на палубу буксира и похитили из специального контейнера спасательный плот, после чего привели все в исходное состояние, закрыв контейнер и прикрепив его ремнями к надстройке буксира. Плот пролежал в каюте Цветкова не менее недели, а затем Касьянов увез его домой. За участие в краже он уплатил им по 20 рублей каждому» (том 4, л. д. 255—256).

Красть, конечно, нехорошо, кто же спорит, и за кражу наказывать надо. Даже если одни, разворовавшие страну, живут хоть в маразме, но в почете, а потом спят спокойно у Кремлевской стены, а другие, как Касьянов, за кражу в чуть более тысячи идут на долгие годы в лагеря и «становятся» террористами...

Итак, заурядного портового «несуна» Сергея Касьянова и его друга Евгения Буркова приходят арестовывать за кражу хладнокровные люди с красными книжечками КГБ.

«12 октября 1982 г. на том основании, что в действиях обвиняемых по изготовлению взрывного устройства отсутствовали признаки особо опасного государственного преступления — приготовление к совершению террористического акта, ответственность за что предусмотрена ч. 1, ст. 15 и ч. 1 ст. 66 УК РСФСР, уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в особый отдел КГБ СССР по Тихоокеанскому флоту» (том 1, л. д. 11—12).

Вскоре Касьянов и Бурков узнали, что они хотели убить первого секретаря Приморского крайкома партии, члена ЦК КПСС товарища Ломакина Виктора Павловича.

Но маленькая такая деталь — особый отдел занимался нашими героями не с 12, а со 2 октября. Сценарист сего дела неуклюже пытался скрыть следы «вызревания» местных террористов, но было ясно, что росли и мужали «особо опасные государственные преступники» под заботливой чекистской опекой...

...В эпоху всеобщей лжи и вроде как не железного, но занавеса уважающие себя владивостокские парни прочно уловили разницу между штанами местной «Работницы» и джинсами фирмы «Вранглер» и если уходили в море, то старались попасть на заграничье. Не удавалось куснуть краешек вечно гнивающего капиталистического пирога —

слушали рассказы более удачливых друзей. Две мощные информативные струи — официальная газетная «разоблачка» «их» образа жизни и портовый устный жанр — особенно патриотизма не рождали, но думающим ребятам мозги, однако же, прочищали. И Касьянов с Бурковым довольно часто болтали о забавной нашей тогдашней жизни — и о кремлевском старце с его очередным великим детищем — Продовольственной программой, и о крайкомовских кабинетах, где заблудилась правда. Они болтали, не догадываясь, что вместе с эпохой развитого социализма наступила эпоха развитого ступачества.

Скоре около ребят появился их ровесник Андрей Мельничук. Он поощрял «острые» разговоры, потом стал предлагать перейти к действиям. Например, убить партийного босса или, допустим, подложить мину в машину тов. Ломакина. Брюзжание пацанов, на языке прелестно-протокольным именуемое «на почве недовольства советской властью», уже можно было переводить в «умысел» на конкретное опасное действие.

После ареста все перевернулось, как в кривом зеркале отечественного абсурда.

«Допрошенный в качестве свидетеля Мельничук А. Г. на допросах 18 и 19 января 1983 года показал, что Касьянов и Бурков, который поддерживал и разделял мнение Касьянова по всем вопросам, в конце мая 1982 года в кругу сослуживцев стали допускать политически нездоровые высказывания. Во всех недостатках и якобы плохой жизни в нашей стране они обвиняли только коммунистов-руководителей, начиная от местных и кончая центральными органами власти, заявляя, что «руководители» якобы оторвались от народа, живут за его счет и думают только о себе, а нужды трудящихся их совершенно не интересуют и таких руководителей надо менять. При этом называли фамилию первого секретаря Приморского крайкома КПСС тов. Ломакина В. П., доказывали, что принятая «Продовольственная программа СССР» очередная «утка» и никакой жизненной силы не имеет. В дальнейших разговорах стали допускать высказывания, что руководителей-коммунистов надо не менять, а убивать, и при этом обсуждали различные варианты совершения террористического акта над тов. Ломакиным и его окружением» (том 3, л. д. 77).

Долго и упорно Касьянова ущеждали сознаться в том, что он хотел купить оружие и «переладить его для совершения террористических актов».

Террорист недоумевал: к чему это? Оказалось, что с крыши кинотеатра «Комсомолец» он хотел стрелять в тов. Ломакина, выходящего из дверей тогдашнего крайкома партии. До крайкома было 47 метров: доблестные чекисты тщательно вымеряли расстояние, видимо, перекрыв движение через оживленную Ленинскую и изливши крышу кинотеатра. Версия с кинотеатром вскоре отпала — абсурд ее, даже по меркам местного КГБ, был неприлично виден и «невооруженным оком». Но появилась версия другая.

Как-то на очередном допросе следователь попросил Касьянова нарисовать схему центральной площади. Сергей нарисовал. Вот так явился миру вещдок, «обнаруженный» при обыске канюты «особо опасного государственного преступника». Вещдок подтверждал планы террористов взорвать трибуну на площади во время демонстрации 7 ноября и покарать невинных руководителей края и людей.

Каждый уважающий себя террорист, естественно, должен иметь оружие и боеприпасы, причем боеприпасы солидные.

«Так как, несмотря на принимаемые меры, приобрести огнестрельное оружие не удавалось, Касьянов и Бурков стали изыскивать иные орудия для совершения террористических актов. Бурков предложил использовать в этих целях радиоуправляемые мины, закамуфлированные под бытовые предметы, и он с Касьяновым неоднократно обсуждал эту «идею», планируя подкладывать такие мины в автомашины, в которых ездят руководители партийных и советских органов Приморского края, или направлять их по почте в адрес указанных лиц» (том 2, л. д. 3, 148).

«Свидетели Кривов В. К. и Мельничук А. Г. на допросах 8 октября и 2 декабря 1982 года показали, что в конце августа 1982 г. Касьянов и Бурков обсуждали, как самодельной радиоуправляемой миной, закамуфлированной под кирпич, можно подорвать автомашины руководителей партийных и советских органов Приморского края» (том 3, л. д. 40).

Карабин не купить, а радиоуправляемую мину в виде кирпича владивостокским террористам занять — раз плюнуть! А что — Женя Бурков весьма прилично паял радио-

схемы, а посему, по логике КГБ, мог спаять схему и для мины. И, согласно все той же логике нестигаемого отечественного абсурда, схема, которую Женя усердно перечертил со страниц «Юного техника», в деле обрела «плоть» схемы мины — той самой, «под кирпич».

А теперь, в 1990 году, послушаем Касьянова:

— Мельничук говорил, что у него есть знакомый, который может достать боеприпасы со склада. А потом как-то сказал, что ему нужно мелкое стрелковое оружие. Я в его присутствии спросил одного человека, не знает ли он, где можно то оружие достать... Мельничук был очень навязчив, сам жил очень далеко, в деревне Ивановка Михайловского района, но к нам приезжал оттуда постоянно. Однажды он предложил: «А что, если взорвать трибуну 7 ноября?» Я жене рассказал, и мы хохотали над ним, но хохот наш очень быстро кончился...

Во все века террористам взрыв был нужен не сам по себе, но скорее — взрывные волны, от него исходящие. Что ж, «дело» 1982 года в России исключения не явило.

«Свидетель Бойчук В. Л. ... показал следующее: «Вечером 29 сентября 1982 года в разговоре, который состоялся между ним, Бурковым и Касьяновым, последний высказал «идею» совершить взрыв в городе Владивостоке с тем, чтобы пошел «шум». Бурков, в свою очередь, развивая мысль Касьянова, высказался более определенно и предложил взорвать трибуну во время демонстрации 7 ноября 1982 года. Касьянов с ним согласился и заявил, что «взрыв» трибуны в г. Владивостоке необходимо произвести с целью: во-первых, уничтожить местное руководство во главе с первым секретарем крайкома партии, которое будет все в сборе на трибуне, во-вторых, для того, чтобы показать народу, что у нас в стране имеются силы, борющиеся против власти» (том 3, л. д. 39).

Напомню: тов. Ломакин — член ЦК! Взрывная волна непременно дойдет до Кремля, и на погонах доблестно недремлющих чекистов звезды засветят ярче (кстати, сотрудники КГБ съезжались «на Касьянова» со всей страны — дело было на зависть).

Ах, оставим крамольные вопросы...

...И пошли допросы. Сначала майор Вишняков обнадеживал: «Ничего серьезного, по всей видимости, вы скоро пойдете домой». Но скоро, очень скоро майор начал «править»: «Дело оказалось сложнее, чем мы думали». На допросах Сергей подписывал странные протоколы: слова написаны вроде бы его, но фразы выстроены так, что смысл получался иной, нужный следователю смысл. Вишняков намекал: возьми это дело на себя. Сергей «не понимал». Тогда началась обработка друзей, его жены Наташки. И были камеры ответных уголовников — средство замечательное и испытанное, и, наконец, была хабаровская психушка с уколами аминазина (а на пути к ней — «браслеты», затягивающиеся от малейшего движения) и с очень впечатляющими сценами из жизни этого заведения. И Сергей «понял».

Он понял, что сопротивляться бесполезно — доблестные чекисты с их многолетним опытом все равно добьются своего. Так Сергей «стал» главой и вдохновителем приморского терроризма.

...Потом была 35-я политзона, где Сергея ждала тумбочка с продуктами — к традициям товарищеской поддержки политзеков новоиспеченному террористу предстояло еще привыкать. Зона говоричена на всех европейских языках, и не было науки, которую не знали бы тамошние «особо опасные государственные преступники». И «либеральный хлопчик» Сергей Касьянов начал постигать университеты политизации. Природная смекалка и ирония позволили ему смотреть на отечественное диссидентство очень по-своему, а потом, через некоторое время, давать точные, меткие и забавные характеристики союзникам, не лишние, впрочем, к ним уважения. С Сергеем сживали писатель Черных, ленинградский диссидент Евдокимов, не последний ныне человек на политическом московском небосклоне Огородников и т. д.

И в 1990 году Касьянов скажет:

— Если бы я был человек вольный, но знал, что есть вот такая политзона, я бы туда пошел добровольно — на пару лет...

Вот так...

Ну, а теперь возвратимся в 1987 год. В этом году Сергея внезапно «выдернули» из зоны, дали кофе, лист бумаги, ручку, он послушно подписал текст о том, что «к администрации претензий не имеет», а потом...

Потом была свобода.

Из определения судебной коллегии по уголовным делам

Верховного суда РСФСР от 9 июня 1988 года:

«...вывод суда о виновности Касьянова и Буркова в части приготовления к террористическому акту основан на показаниях осужденных и свидетелей, полученных в результате применения недозволённых методов ведения следствия. Необъективно оценены и другие доказательства. В преступную деятельность Касьянов и Бурков были втянуты Мельничуком, действовавшим с ведома и по поручению сотрудников особого отдела КГБ СССР по Приморской флотилии Нургалиева и Пахомова.

...Так, при расследовании по вновь открывшимся обстоятельствам Касьянов и Бурков показали, что умысла на совершение особо опасного государственного преступления, предусмотренного ч.1. ст.66 УК РСФСР, они не имели. Политически незрелые разговоры вели по инициативе Мельничука и с его участием. Мельничук же их подстрекал к подобным действиям...

...Взрывное устройство, изготовленное осужденными, не является инженерным боеприпасом или миной кустарного производства и может служить только как пиротехническое средство...

...об умысле на совершение террористического акта путем приведения в действие взрывного устройства, скрытого под трибуной на площади в г. Владивостоке, говорили под воздействием следователей, хотя фактически таких намерений не имели. Мельничук подтвердил эти показания...

...Свидетели показали, что на предварительном следствии они под влиянием Нургалиева давали недостоверные или частично ложные показания о преступной деятельности Касьянова и Буркова, а в отдельных случаях подписывали протоколы допросов, в которых их показания либо смысл показаний был искажен...»

Верховный суд отменил все статьи, так старательно «сшитые» в КГБ. Оставил, однако ж, одну — за кражу. Вроде бы все верно, но... Касьянову «оставили» пять лет — по году за 200 украденных у государства рублей. В Пермских лагерях отбыл он шесть.

Вообще к постановлению и определению Верховного суда у меня вопросов было немало. Например, безобидная вроде бы фраза: «...в преступную деятельность Касьянов и Бурков были втянуты под воздействием Мельничука...» В какую деятельность? — Если относительно краденого плота, так надобно, по логике вещей, пересматривать дело о краже, а ежели речь идет о 66-й статье, то ведь суд констатирует: не было преступной деятельности! И еще: «политически незрелые разговоры вели...» Это о Продовольственной программе-то — незрелые разговоры (а что такое разговоры «зрелые»)?

Но полно, обрываю я себя: на дворе в ту пору стоял 1988 год, а в Верховном суде работали (и работают) тоже люди, знающие тайную силу прелестного ведомства...

Заместитель начальника особого отдела КГБ СССР по Тихоокеанскому флоту контр-адмирал Н. Егоркин, под начальственной дланью которого «вызревали» приморские террористы, стал начальником отдела. Следы начальника следственного отделения особого отдела КГБ СССР по Ленинградскому военному округу майора Вишнякова мне отыскать не удалось. Сотрудники Нургалиев и Пахомов более в «органах» не работают (а где работают — не говорят, видимо, военная тайна). Встретиться с ними мне, естественно, не удалось. Н. Егоркин по телефону отрезал: «Никакого интервью я вам давать не буду, обращайтесь в прокуратуру». В прокуратуре встречаться со мной также не пожелали, но любезно разъяснили, что именно она выходила с ходатайством о пересмотре дела «террористов». Надо сказать, что и Приморский крайовой КГБ также не прочь поведать о своей светлой роли в касьяновском деле: новое следствие по пересмотру дела вели именно местные чекисты. Сотрудник КГБ Туманов в разговоре с моей коллегой не раз эту роль подчеркивал. «Забытая» при этом упомянуть маленькую такую деталь: в 1987—1988 годах были освобождены многие политзаключенные. Стало быть, подобные «ходатайства» и следствие «по вновь открывшимся обстоятельствам» не что иное, как юридическая формальность, видимость торжества закона вкупе с видимостью же правового государства.

...Что же касается главного «героя дела»... Мельничук во всех судебных документах выглядел сущим ангелом (он так «увещевал» и политическое просвещал товарищей), проходил по делу он как свидетель, а на самих судебных заседаниях его не было.

Бурков также освобожден, он получил меньший срок, так как главой приморского терроризма все-таки был Касьянов,

а Женья, согласно гэбэшному сценарию, находился под его влиянием. Что же касается Касьянова... Жена его, Наташа, терпеливо и верно ждала мужа, откладывала деньги и ездила каждый год к нему на свидания, родила в те годы сына, сын к возвращению Сергея вырос. Он никак не может найти себя. Работа слесаря не устроила, его тянет заниматься резьбой по дереву (кое-что он умеет — недаром на зоне работал художником), но устроиться все никак не удается. Он долго и терпеливо ухаживает за большой матерью, помочь кому-то для него так же естественно, как дышать... Он живет прошлым, лагерные воспоминания — его любимая тема, а жизнь преподносит все новые щелчки и требует новых и нудных забот. И нет мира в доме, нет мира в душе... На первой полосе крайовой партийной газеты как-то было дано разъяснение, что Касьянов вообще-то заурядный уголовник, хотя, конечно, ошибка была. И обещалось в той статье виновных наказать...

Наказывают — до сей поры...

Владивосток

От редакции. Язык официальных документов не блещет красотами. Но временами он незаменим. Ибо точен и безжалостен. Вот как эта строка судебного документа: «В преступную деятельность Касьянов и Бурков были втянуты Мельничуком, действовавшим с ведома и по поручению сотрудников особого отдела КГБ СССР». А это значит, что доблестные дальневосточные чекисты, хранители славных традиций, ревнители социалистической законности и защитники социалистического отечества от внешних и внутренних врагов — сначала подослали к вдум молодым гражданам этого отечества провокатора, а затем слепили интригующе-детективное дело — с помощью «недозволённых методов ведения следствия».

И все это — вскрылось! И коллегия российского Верховного суда их разоблачила! И все...

В любом цивилизованном государстве — не на словах, а на деле охраняющем честь, достоинство и свободу своих граждан, разразился бы, случись там такое, скандал. Гласные судебные разбирательства, негодование прессы и общественного мнения, отставки высших чинов и погоны, слетающие с высокопоставленных плеч, — все это было бы обеспечено.

Но у нас страна особая. Ну не вышло у тихоокеанских чекистов, ну перестарались, но Касьянов и Бурков-то уже на свободе. Да и время было застойное — оно спит...

Нет, не спит. Живы, работают еще все те люди, столь блистательно придумавшие и разоблачавшие террористов на Дальнем Востоке. Знать бы, где работают, кому говорят красивые слова о перестройке и демократии, на какой ниве применяют свои таланты.

Впрочем, известно, что несомненные заслуги А. Г. Мельничука перед чекистским ведомством даром не пропали. Как сообщили нам в КГБ СССР, он обучался в Высшей школе Комитета государственной безопасности, закончил ее в 1988 году (а это уже никак не застой; и что-то не верится, чтобы в Комитете не знали, кого принимают в высшую свою школу!). Работал он позже в управлении КГБ СССР по Иркутской области. Правда, в 1989 году Мельничук оставил чекистскую службу. Далее теряются его следы, даже для лубянской пресс-службы.

Но все же не оставляет надежда, что КГБ СССР и Верховный суд РСФСР вернутся к истории, как по нотам разыгранной во Владивостоке в отнюдь не далеком 1982 году.

Феликс КРИВИН

В МЕСТЕЧКЕ ПАРИЖЕ



Рисунок
Иосифа Оффенгендена

Птицы ходят по земле: им надоело смотреть на Париж с птичьего полета. Сегодня кто только не смотрит с птичьего полета: на башнях, на соборах, на триумфальных арках оборудованы смотровые площадки, чтобы смотреть на Париж с высоты.

Но птицы опускаются на землю. Лучшая смотровая площадка все же внизу. Видеть, как стены Парижа устремляются вверх, — зрелище более впечатляющее. Поэтому мы выбрали Сену, реку, самое низкое в городе место.

Наша смотровая площадка отчалила от Эйфелевой башни и поплыла к собору Парижской богородицы. Нам предстояло кругосветное плавание вокруг древнего света — самого первого парижского поселения. Париж начинался на острове. Остров Сите — исторический центр Парижа.

«Сите» в переводе «город». Значит, остров был городом. Все остальное уже позже пристроилось к нему. Когда-то у города было имя: Лютеция. А сейчас его называют просто Город — Сите.

Впрочем, мы еще не доплыли до острова. Мы доплыли пока до моста, носящего негромкое имя русского царя Александра.

Александра Третьего. Из всех русских Александров самого непримечательного. Первый победил Наполеона, Второй отменил крепостное право, а что сделал Третий? Устраивал охоту на инородцев и пил горькую...

В России его почти забыли, а здесь помнят, называли мост. Самый роскошный в Париже мост, с золотыми крылатыми конями и прочими украшениями.

У этого царя были отличные отношения с Францией. Значительно лучше, чем с Россией. Это случается на таком высоком руководящем посту: отношения со своей страной хуже, чем с другими странами. С какой стороны ни возьми, внутренняя политика труднее международной. Любовь на расстоянии — самая надежная любовь.

Мост Александра Третьего позади. Впереди мост Согласия, построенный из камней разрушенной Бастилии. Камню только прикажи: он может быть и тюрьмой, и мостом, соединяющим противоположные берега, устанавливая между ними согласие.

Но, может быть, где-то внутри, в глубине, он еще помнит, как был тюрьмой. И если ему приказать... Главное, ему приказать... Этим он отличается от живого человека.

А вот и остров. Он разъединяет два берега, но тут же и соединяет их отличным сооружением под названием Новый мост — самым старым мостом в Париже. То, что старый мост называется Новым, никого не должно удивлять. Все мы были когда-то новыми, и не переименовываться же нам, если мы постарели. Чтобы не чувствовать старости, лучше всего называться Новым. Хоть и старый, а Новый. В этом гарантия прочности мостов.

Отсюда, от Нового моста, начинается наше кругосветное путешествие вокруг старого, бывшего нового света.

Старинный архитектурный ансамбль Дворца правосудия. Когда-то это был укрепленный замок, резиден-

Окончание. Начало см. в № 9, 1990 г.

ция французских королей, но Революция отвела ему роль Дворца правосудия. Может быть, она считала, что правосудие происходит от правого суда. Но потом оказалось, что это происходит от права судить — независимо от того, правый суд или неправый. Эта вечная ошибка Революции во все времена стоила жизни многим революционерам.

По соседству с Дворцом правосудия, в котором ныне заседает высший кассационный суд Франции, расположены префектура полиции и трибунал торговли. Таким образом, остров и в наше время неплохо укреплен, и именно он диктует, от чего производить слово правосудие: от правого суда или от совсем другого права.

Тут, правда, не следует забывать высший суд, учитывая, что мы приближаемся к собору Парижской богородицы.

Во всем мире церкви и соборы — это торжество крыш, изгибающихся, устремляющихся к небу куполами. Не таков собор Парижской богородицы. Он красуется в таком удивительном каменном наряде, что затмевает все крыши вокруг, даже легендарные крыши Парижа не могут соперничать с его стенами. Где тот первый камень, который был заложен восемь веков назад? Его не видно. Все стали первыми. Каждый камешек о чем-то говорит, вносит, как принято у нас говорить, свой личный вклад в общее архитектурное дело.

Кто не любовался собором с реки, тот не видел его во всем великолепии. Многочисленные башни, башенки, башеночки, тоненькие, стройненькие, каждая стоявшая Мастеру титанического труда, подчинены единственному стремлению вверх — туда, где, они знают (хотя, возможно, и заблуждаются), он ждет все то, чего они лишены на земле. Вот почему лучше смотреть на собор снизу: тогда вместе с ним устремляешься вверх, к высокому заблуждению, подальше от наших низменных заблуждений, к которым мы устремляемся, глядя на мир сверху вниз.

По Сене ходят катера-рестораны. Любуешься Парижем и ешь, любишь и ешь. Хорошо, что наша посуда не для еды, она только для кругосветного путешествия.

Остров Сите

Я высадился на острове Сите — если это выражение применимо к парижскому метро, высадившему меня из-под земли на поверхность. Чтобы я чувствовал себя как дома, мне подали не эскалатор, а лифт. Так принято на этом острове, так поднимают из-под земли островитяне.

Полицейский, увидев, что посторонний человек зашел в Дворец правосудия, спросил по-французски не то «чего изволите?», не то «какого дьявола тебе здесь нужно?». Спросил очень вежливо: если жизнь человека не унижает, зачем ему использовать свою должность как пьедестал, чтоб возвыситься над окружающими?

Замок Консьержери, память о временах Карла Безумного, разжаловавшего своего канцлера в привратники (консьержи). Он же память о Революции, превратившей его в тюрьму и разжаловавшей многих людей из людей в покойники.

Сводчатый зал, в который я вступил, был так высок, что все экспонаты вместе с посетителями не могли рассеять впечатление пустоты. Кубы, отгораживавшие небольшие пространства, внутри которых экспонировались исторические лица и события, казались кубиками из набора детских игрушек.

Я вошел в один куб. Внутри он был обит пурпурным плюшем, цвет которого был приглушен полумраком, но все же можно было разглядеть на стенах

портреты и даже прочитать имена, знакомые из истории Французской революции.

Невидимый гид заговорил, и на стене высветился портрет Сен-Жюста. Звучали его слова, и не требовалось знание языка, чтобы ощущать себя свидетелем тех давних событий. Погас портрет Сен-Жюста, оборвалась на полуслове его речь... Поочередно высветились портреты Дантона и Марата, звучали их слова, слышался гул толпы — не то одобряющий, не то осуждающий. Затем на стене высветился Робеспьер.

Что говорил Робеспьер? Возможно, вот эти известные всем слова: «...управление народом при помощи разума и врагами народа при помощи террора». А может быть, эти: «...из этой борьбы выйдут лишь рабы и тираны».

Гул народа звучал ему в одобрение. Насколько это одобрение было непрочным, я убедился, стоя перед гильотиной, — той самой, на которой почти все они окончили жизнь. На освещенном экране поочередно появлялись имена казненных. Гильотина оказалась довольно примитивным сооружением, с обычной веревкой, которую всякий раз нужно отвязывать, чтоб на шею опустился топор.

Рядом с залом — крохотная каморка консьержа. При свете лампы виден сам консьерж со связкой ключей за поясом. Был канцлер, потом стал консьерж, а теперь и вовсе муляж — дальше катиться некуда.

Бывший канцлер отвернулся к стене, подчеркнуто никого не задерживая. Проходите, теперь уж чего... Замок уже не замок, тюрьма не тюрьма. Теперь это музей, так что проходите...

Крутая лестница ведет наверх, в камеры смертников. Первая камера для простонародья: грязная солома на полу, и на ней сидят и лежат заключенные... Вторая камера — для более избранных: их всего двое, и у каждого своя кровать... А в третьей камере заключенный сидит за столом и читает книжку. Это, видно, и вовсе уважаемый человек.

Дальше я попадаю в комнату, стены которой сплошь покрыты списками казненных, 2780 человек, гильотинированных Революцией. Сколько понадобится комнат, чтобы повесить списки казненных нашей Революцией? И нашей Контрреволюцией. Потому что пока еще не установлено, когда у нас кончилась одна и началась другая.

Для наших списков не хватит всего замка Консьержери, даже если облепить его списками изнутри и снаружи.

В одном из списков я нахожу моего любимого героя, человека, которого сажали во все тюрьмы Германии, а он отовсюду бежал, потому что любил свободу. Его упрятывали в каменные мешки, приковывали руки и ноги цепями, а он все равно бежал. Только в первый раз его посадили за любовь к женщине, все остальные разы — за любовь к свободе.

Узнав, что во Франции революция, а значит, свобода, он бежал сюда. И здесь ему отрубили голову. В один день с поэтом Андре Шенье.

Всего одна строчка: Ф. Тренк, бывший барон. Фридрих Тренк, мой любимый герой, ничего не поделаешь, был бароном. А к нашей революции бежали пролетарии, и тоже многие были казнены.

Уголок замка, где провел последние минуты жизни Робеспьер. Великий казнитель и великий казненный. Великая жертва и великий палач. Почему это так часто совмещается в одном человеке?

Робеспьер весь из крови — и своей, и чужой. Не подкупный и честный, он служил великой идее, которой он хотел осчастливить одних — ценой счастья и жизни других. Осчастливленных не было — ни тогда, ни потом, все блага революции даются вопреки крови, а не благодаря крови.

Мемориал Людовика Шестнадцатого... Комната Марии-Антуанетты, в которой она провела последние часы...

Здесь память о погибших за революцию и против революции... А в конце острова еще один мемориал — память о людях, погибших ни за что, просто так. Только потому, что они — люди.

Это Мемориал погибшим в фашистских лагерях. Двумстам тысячам французов.

Третья ступень безумия.

Первая: Карл Шестой Безумный правит страной.

Вторая: во имя прогрессивных идей убито 2780 французов.

Третья: замучено 200 тысяч французов — во имя реакционных идей.

Неужели будет еще четвертая?

Мемориал не возвышается над землей, нужно, наоборот, спускаться под землю.

Спускаюсь. Решетка в стене. За решеткой плещется Сена, плещется жизнь. Спускаюсь дальше под землю. В ячейках галереи земля, привезенная из лагерей смерти. Ячейка Бухенвальда, ячейка Дахау... Майданека, Освенцима... Всех лагерей, где умирали французы...

И снова решетка. За ней коридор. Плиты черного мрамора образуют длинную черную дорогу. В глубине, в конце дороги, мерцает огонь. Может быть, вечный. Знать бы, что там огонь, в конце дороги...

Под одной из плит захоронен прах Неизвестного заключенного. На стенах 200 тысяч хрустальных капель — каждому по слезе...

У нас нет могил неизвестных заключенных. Хотя заключенных у нас было больше, чем солдат. На всех не хватит слез, а хрусталь — тем более.

Остров Сите... Самая древняя часть Парижа. Такой маленький остров — и два мемориала, столько смертей...

Я иду вокруг острова. Рядом с Мемориалом жертвам фашизма — собор Парижской богородицы. Тогда, в XII веке, человечество даже не предполагало, какие ему придется замаливать грехи.

Рядом с собором — «Отель Бога», самая старая больница во всей Франции. А рядом с «Отелем Бога»? Конечно, префектура полиции. На Бога надейся, а сам не плошай.

А напротив полиции — рынок цветов. Будто все эти цветы преподносятся полиции.

Что ж, в Париже полицию уважают. Стоит налепить на машину штрафной талон, и никто этот талон не сорвет, и штраф будет аккуратно уплачен... Никто ни за кем не гоняется. Просто вежливо наклеивают талон.

Вежливые полицейские, вежливые нарушители.

Французы вообще не любят выходить из себя. Зачем выходить из себя, когда и в себе хорошо и уютно. Водители уступают друг другу дорогу и при этом друг друга благодарят — поразительно! И пешеходы благодарят водителей за любезность. Может, во французском языке не хватает слов, которыми обмениваются у нас водители с пешеходами?

Но главная черта французов — непринужденность. Они живут, как им нравится, и ни к чему не собираются себя принуждать. Им, например, нравится сидеть на земле. Так они могут расположиться где угодно: в книжном магазине, с книжкой в руках, в метро, на улице. Так они сидят и на острове Сите, на его каменной набережной. Остров Сите похож на корабль, он такой же длинный и узкий, и каменный нос его — совершенно нос корабля. Поэтому прият-

но сидеть, свесив ноги за борт корабля, особенно если сидишь в обнимку.

Французы очень любят сидеть и ходить в обнимку. Я наблюдал, как пожилой человек, в обнимку со своей спутницей, никак не мог пройти в дверь, но ему и в голову не пришло отпустить свою подругу.

Да, умеют парижане расположиться в своем городе. Особенно в городе под названием Город.

Площадь Согласия

На площади Людовика Пятнадцатого казнили Людовика Шестнадцатого. Это можно было бы назвать иронией судьбы, если бы в дело судьбы не вмешалась Французская революция. Революция казнила короля и переименовала площадь короля в площадь Революции, чтобы потом казнить на ней революционеров.

Сколько крови пролилось! Прямо хоть переименовывай площадь Революции в Красную площадь, хотя наша Красная площадь — не от кровавости, а от красоты. Правда, и ее в свое время украшало Лобное место.

Тридцать лет парижская площадь носила имя короля, затем три года имя революции, а потом ее назвали площадью Согласия. Революцией вечно быть нельзя, три года — еще куда ни шло, а там выбирать: либо назад, к королям, либо вперед, к согласию. Революция, которая не приходит к согласию, обрекает государство на бесконечную бессмысленную борьбу.

Так возникла в Париже площадь Согласия. У нас такой площади нет. В наших условиях обострения классовой борьбы согласие было понятием отрицательным. Ни одно положительное определение человека у нас не произведено от слова «согласие». От «революционер» — «революционер», от «борьбы» — «борец», от «войны» — «воин». Все очень хорошие, в высшей степени положительные слова. А кто от «согласия»? «Соглашатель», то есть в полном смысле opportunist.

Революция к согласию нас не привела, поэтому площадь наша так и осталась площадью Революции. Есть и площадь Восстания. А площади Согласия нет.

Революция привела нас не к согласию, а к согласованию. К тому, чтобы все революционные начинания согласовывать с вышестоящим начальством. Хотя названия наших площадей сплошь и рядом выражают неподчинение начальству, но начальство не любит неподчинения. И в результате революция, возникшая как протест, всю свою энергию направляет на подавление протеста.

А какое может быть согласие между протестом и подавлением? Между ними может быть лишь согласование: до каких пор можно протестовать и с каких пор переходить к подавлению. Вот отсюда досюда у нас протест, а отсюда уже начинается подавление.

Нет в Париже площади Революции. Нет улицы Революции. Нет переулка Революции. Есть площадь Согласия, place de la Concorde. Самая главная площадь Парижа.

Площадь Бастилии

Бастилия, построенная в четырнадцатом веке как крепость, уже в пятнадцатом превратилась в тюрьму. Крепости часто превращаются в тюрьму, потому что у государства возникает потребность защитить себя изнутри больше, чем снаружи. Ведь внутри у государства народ, а снаружи другие государства, и государству с государством легче друг друга понять.

А вот с народом... Да еще с таким, как французский народ... Вот потому и стала тюрьмой Бастилия.

Выдающиеся люди удостоили ее чести в ней сидеть: Вольтер, Мирабо, знаменитый граф Калиостро. Такие люди могут составить гордость любой тюрьмы. Толь-

ко равнодушные к титулам французы удержались от того, чтобы присвоить своей тюрьме какое-нибудь высокое звание, — ну, хотя бы Бастилия имени Вольтера. Вместо того чтоб оценить по заслугам свою тюрьму, они взяли и разрушили ее в самом начале своей революции.

Но не может революция обходиться без тюрьмы, поэтому в тюрьму превратили один из королевских замков. Здесь тоже сидели люди весьма почтенные, так что и ее впоследствии можно было как-то назвать. Тюрьма имени Марии-Антуанетты или тюрьма имени поэта Андре Шенье. А если революции нужны были революционные имена, можно было присвоить тюрьме имя Робеспьера, Дантона и еще очень многие революционные имена.

Удивительное дело: революция уничтожает тюрьму, но тут же к власти приходит тюрьма, которая уничтожает революцию.

Вот уже двести лет, как на площади Бастилии нет Бастилии, но площадь сохранила название тюрьмы. То ли в память о тюрьме, то ли в память о ее разрушении. В центре площади — бронзовая колонна с позолоченной скульптурой наверху, изображающей крылатого гения свободы.

Площадь Бастилии... Гений свободы на площади тюрьмы.

Улица Свободы

Единственная улица Свободы, которую мне довелось повидать, оказалась улицей не Свободы, а Свободы. Генерала Свободы, а не рядовой Свободы.

И вдруг в Париже — улица Свободы. Либерте. Выражаясь философским языком, улица Осознанной Необходимости.

Скажу честно: я сомневаюсь в этом философском определении. Потому что осознанной необходимостью может быть и тюрьма.

Если арестант не осознает тюрьму как необходимость, его помещают в карцер. Если не осознает и в карцере, ему продлевают срок. Все тюрьмы рассчитаны на осознание их как необходимости.

На одной из улиц Парижа (может быть, на улице Свободы) я увидел цветок в вазоне, прикованном цепью к стене. Для комнатного растения улица — свобода, но тут же появляется осознанная необходимость — цепь. Из естественного соображения, чтоб растение не украли.

Можно, конечно, острить, что цветок, во-первых, посадили, а во-вторых, приковали, но у французов посадить растение и посадить человека, слава Богу, имеют разные обозначения. Но разве то, что цветок прикован к стене, само по себе не является ограничением его свободы?

Не является. Ограничение свободы — это ограничение потребности, а если нет потребности, то и ограничения нет. Лишение птицы права летать ограничивает ее свободу, а лишение, допустим, коровы права летать ни в чем ее не ограничивает. Другое дело — право носить рога. Лишение этого права для коровы чувствительно, а для птицы вовсе не ощутимо.

Ну, а если, допустим, кто-то растение украдет? Разве это не насилие над его свободой?

Нет, не насилие. Потому что украдут его вместе с горшком, так что личная его свобода расти останется в неприкосновенности.

Конечно, если цветок не поливать, он задумается об общих материях. Куда это, дескать, нас занесло, не в безводную ли пустыню? И что себе думают те, кому положено следить за дождями, за течением рек, за исправностью городского водопровода?

Вот если б что-то такое придумали, чтоб не только земля, но и вода, и солнце были бы у растения в горшке, его свобода вообще не знала б ограничения.

Правда, дышать тяжело, кто только не отравляет вокруг атмосферу! Если б и атмосферу в горшок — вот тогда была бы полная свобода!

Можно, конечно, иметь свободу и без этого. Без чистого воздуха, без солнца, земли и воды. Что для этого нужно? Самую малость, самое чуть-чуть: осознание свободы как необходимости.

Русские в Париже

Зебры были бы отличными гражданами современного раскрепощенного общества. Потому что они не переступают черты, по которой когда-то проходила решетка. Дай зебре какую угодно свободу, она навсегда сохранит свое представление о тюрьме как осознанной необходимости. Не это ли означают прочерченные на ней полосы — решетки?

Не хочу никого обидеть, но мы немного похожи на зебр. В нашем раскрепощенном обществе мы носим решетки на себе, и если их не видно, то это лишь потому, что мы живем в сравнительно цивилизованном мире. Но поговори с нами, послушай наши рассуждения о современной политике, современной экономике — и сразу сквозь этот свободный разговор проступят наши решетки.

Зебры очень пугливы. Видно, они и за решетками не чувствуют себя в безопасности. Или боятся, что их могут вытащить из этих решеток и посадить в другие, более крепкие. С этими хоть можно побегать туда-сюда, а с теми уже не побегаешь...

Я спросил у француза, который переехал на постоянное жительство в Англию: считается ли он эмигрантом?

Оказывается, нет. Не считается. Он просто живет в другом месте. Родился в одной стране, живет в другой — француз не понимал, что в этом особенного.

Все особенное начинается, когда речь заходит о нашем человеке. Стоит ему переехать в другую страну на жительство — и он уже эмигрант.

Есть два вида советских эмигрантов: политические и экономические. Политический эмигрирует ОТ, или его изгоняют ИЗ. Экономический едет К, только К. К материальному, национальному, душевному благополучию и комфорту.

Политический эмигрант не приемлет системы. С его способностями он мог бы приспособить систему к себе, но, даже приспособленная к нему, она его не устраивает. Ему непременно нужно переделать систему, а уж на это система не пойдет.

Экономический эмигрант принимает любую систему, лишь бы она создавала ему условия. Приспосабливать систему к себе или приспособливаться к системе он не хочет: в мире столько готовых систем, которые как будто специально для него созданы. Если эта гора не идет к Магомету, то найдется другая, более подходящая гора.

Но даже экономический эмигрант в нашей стране — политическое явление. Поскольку советский человек вообще — политическое явление, его нельзя безболезненно перемещать из страны в страну. Всякое пересечение им границы несет в себе какую-то политическую мысль, оно что-то подчеркивает в современной международной политике.

С такими мыслями я пришел в газету «Русская мысль», немного сомневаясь в правильности ее названия, поскольку мысль не может быть ни русской, ни французской, она в отличие от слова не имеет национальной принадлежности, если это, конечно, не мысль о том, что моя национальная принадлежность лучше какой-нибудь вашей. Если мы начнем делить: «Человек рождается свободным» — это французская мысль, а «Человек — это звучит гордо» — русская

мысль, — мы совершенно запутаемся и в мыслях, и в самом понятии «человек».

В редакции «Русской мысли», занимающей помещение обычной квартиры, за редакционным столом сидел А. Я спросил, не родственник ли он знаменитого А., одного из первых наших правозащитников, или, как их называли, чтоб подчеркнуть их нерусские мысли и действия, диссидентов? Оказалось, что это и есть знаменитый А.

Он не был похож ни на диссидента, ни на правозащитника, ни на человека, который судит о событиях, происходящих на его родине, из своего прекрасного далека. Он говорил так, словно и сейчас находится там, в гуще событий, и его волновала та жизнь больше, чем эта, дававшая ему пищу и кров. И не воображал он себя Колумбом, открывателем этой новой земли, которую он избрал себе в дальнейшие родины.

Как раз накануне я побывал в Медоне, где изучается язык не для понимания, а просто для разговора. Учитывая, конечно, что разговор — это первый шаг к пониманию.

Медон — это пригород Парижа. Там монахи-иезуиты устроили в своем монастыре центр по изучению русского языка. С великолепной библиотекой, в которой все о России — по-русски, по-французски, на других языках.

Молодая казашка преподает русский язык английским студентам во французском центре изучения русского языка. Это то, что у нас бы назвали торжеством национальной политики. Потому что мы во всем видим политику, а за политикой нередко упускаем суть дела. Между тем любая национальная политика искажает естественное общение людей, рассматривая его с точки зрения сомнительных государственных интересов.

Маленькая слепая девушка изучает в Медоне русский язык. У себя в Англии она учится в институте, получит образование, профессию, зачем же ей еще и русский язык? Легче всего ответить на этот вопрос в плане национальной гордости великороссов, но это было бы ошибкой. Любовь к родине может быть какой угодно большой, но она не должна становиться идеологией. Иначе она примитивизируется в обычный национализм и шовинизм, а это уже не любовь, а скорее ненависть.

Преподавательница-казашка объясняет английским студентам разницу между совершенным и несовершенным видом глаголов русского языка. Увы, всякое совершенство требует жертв: совершенный вид не имеет настоящего времени. Он имеет только прошлое и будущее, как мы его имеем в нашей стране. Но не нужно воображать, что это — следствие нашего совершенства.

Многие уезжают из нашей страны именно за настоящим, не желая дожидаться будущего. Они опасаются, что это будущее никогда не станет настоящим.

Неожиданно в редакции появился И., которого я знал в давние годы. Много лет назад он уехал на Запад, и никто не знал, как он там и что. Он не был политическим эмигрантом, поэтому не остался в памяти.

Он появился так просто и буднично, как будто пришел к себе на работу, причем задержался только на минутку перед тем, как пройти к себе в кабинет. Но оказалось, что он только что приехал из Америки, причем впервые приехал, значит, и с А. не виделся много лет. И никаких бурных сцен, все обыкновенно, будто вчера расстались, а сегодня встретились.

Видно, у них такие встречи в порядке вещей. Разбросало их по разным странам, и каждый движется по

своей орбите, иногда пересекаясь с другими орбитами. Броуновское движение. Так бродил по улицам Парижа обреченный уже Робеспьер со своей собакой Броуном.

И. не был похож на Робеспьера, но за ним, подобно Броуну, следовала его верная американская жена, с которой он едва находил общий язык, но не в том смысле, в каком он не нашел его с женой, оставленной в России, а впоследствии еще с одной женой, оставленной в другой какой-то стране. Просто И. был слаб в английском, а его броуновская жена в русском и вовсе беспомощна.

Но, как известно, общий язык — это язык не для разговора, а для понимания.

С некоторым снисходительным чувством И. узнал, что я до сих пор не переехал даже в Москву, тогда как он уже переехал в Соединенные Штаты. Еще больше его огорчило, что я живу в обычной квартире, тогда как у него трехэтажный дом с четырьмя туалетами. Неожиданно его броуновская супруга уловила количество туалетов и принялась что-то горячо возражать, но он объяснил это тем, что она просто не понимает по-русски.

Да, конечно, в Америке — трехэтажный дом, а в России — одни трехэтажные страсти. Их несовершенный капитализм имеет настоящее время, а наш совершенный и развитый социализм — пока только будущее.

Естественный ход времени — когда будущее становится настоящим, настоящее — прошлым, а прошлое находит успокоение в вечности. Мы все перевернули. Мы придумали себе такое будущее, которое никогда не становится настоящим, а прошлое у нас не находит успокоения: мы его перекраиваем, переделываем, заставляем его служить настоящему, которого у нас, в сущности, нет.

Всю нашу жизнь мы жертвовали настоящим ради будущего, то есть вели жизнь противоестественную, так как она не может состоять из двух времен — только из прошлого и будущего. В действительности так и не было. Настоящее существовало, но принадлежало оно не нам.

И. говорит: самое настоящее время сейчас в Америке, только жить там не особенно интересно. Благополучно, зажиточно, но — неинтересно. Он за год заработал пятьдесят тысяч долларов, и жена его — столько же, но все равно неинтересно. Другое дело — Париж. У него давно возникла мечта позавтракать в Париже...

«Давайте где-нибудь посидим», — предлагал И. Ему не терпелось уже начать завтракать.

Слушая их разговоры, я заметил, что А., хоть и был политический эмигрант, стал уже немного экономическим эмигрантом. Он привык к благоустроенной жизни и не стал бы ее менять на неблагоустроенную. Его мозг перестал быть органом пищеварения, перестал мучительно думать, где бы взять то, что нужно переварить, а сосредоточился целиком на интеллектуальных проблемах. Судьба его родины находилась в центре интересов А., как Марс находится в центре интересов его исследователя. Исследователь его изучает, но переселяться на Марс не спешит.

В свою очередь, экономический эмигрант И. у себя в Америке постепенно политизировался. В России он боялся заниматься политикой; чтоб не потерять то немногое, что сумел приобрести. Теперь же, ничего не боясь и имея обеспеченный кусок хлеба, он мог для души заниматься политикой. Он говорил, что с перестройкой у нас ничего не получится, потому что разница не в уровне жизни, а в уровне цивилизации... Но была в его голосе какая-то грусть... Человек, говорил он, не владеющий компьютерной техникой,

это не человек, а полчеловека, но эти полчеловека в нем тосковали и носили на себе остальную часть, как будто им приставили вторую, ненужную голову.

Ему было плохо там, на Западе, но это совсем не значит, что нам на нашем Востоке хорошо. Это только означает, как трудно, чтоб человеку было хорошо — независимо от стран и частей света.

На моих глазах И. позавтракал в Париже. Я составил ему компанию. Потом мы немного прошли по Парижу, и мой соотечественник так увлекся разговором со мной (конечно, не из-за меня, а из-за нашего общего с ним отечества), что жена то и дело где-то сзади терялась, и он возвращал ее повелительным окриком. Он с ней не церемонился. Церемонии требуют многословия, а в его распоряжении было совсем мало слов.

Мы простились у «чрева Парижа», набитого непереваренными товарами, и даже мой процветающий соотечественник не смог бы их переварить. Мы простились так же спокойно, как и встретились, но при этом И. не забыл поинтересоваться, есть ли у меня деньги на метро.

Почему-то наши люди за границей всегда производят впечатление, что у них нет денег на метро. При этой мысли я засмеялся. И. тоже засмеялся. Теперь он был спокоен: его соотечественник в Париже не пропадет.

Русское кладбище в Париже

Русское кладбище в предместье Парижа, в местечке Сент-Женевьев де Буа.

Пожилая женщина в кладбищенской канцелярии оживает при виде нас, и на мое неуверенное: «Сильвулле, мадам...» — произносит совершенно отчетливо: «Говорите по-русски».

Потому что здесь говорят по-русски. Русский — это государственный язык на этом маленьком русском кладбище.

Рядом с могилой Бунина — памятник русским полководцам, похороненным в разных местах, но здесь увековеченным. «Генералу Деникину и первым добровольцам...» «Генералу Лавру Георгиевичу Корнилову и всем корниловцам, павшим за Родину и на чужбине скончавшимся». «Генералу Врангелю, чинам конницы и конной артиллерии, за честь Родины павшим...»

Правильно они отдали свою жизнь или неправильно? Чем дальше от того времени, тем труднее ответить на этот вопрос.

Веньямин Валерианович Завадский, писатель Корсак. На его надгробье — полное собрание его сочинений: «Плен», «Забытые у красных», «У белых», «Великий исход», «Под новыми звездами»... И даже трилогия: «Один», «Вдвоем», «Со всеми вместе»...

Рома Семеновна Клячкина... Я не знаю, кто она, но есть и у нее заслуги перед русской литературой. Она приютила Виктора Платоновича Некрасова, приняла его в свою могилу. Места мало на кладбище, на всех не хватает земли. Многие могилы с годами становятся братскими.

Много знакомых фамилий незнакомых людей. Капитан фрегата Анатолий Ленин и на некотором расстоянии от него — де Троцкий. Вот они где встретились, Ленин и Троцкий. И не узнали друг друга: один — капитан фрегата, другой — потомственный французский дворянин.

Повсюду слышна русская речь. Вот большая ответкомпания, группа ответственных лиц почтительно окружила своего главу, который оживленно (насколько ему позволяет — нет, не обстановка, а его высокое положение) рассказывает, как он бывал на кладбище в Риме, потом еще на кладбище в какой-то стране... Хотя и русская, родная речь, но до чего ж она звучит неприятно...

Моя знакомая Ирэн помогает искать русских писателей. Она их не знает, не читала их книг, но старательно ищет, временами освежая в памяти фамилию: «Ме-реж...» Да, Мережковский. И Гиппиус. И Тэффи.

Строгие таблички предупреждают: «Живых цветов не приносить». Живое противится мертвому, а мертвое противится живому. Так можно было бы подумать, но на самом деле это не так. В данном случае не мертвое противится живому, а живое не хочет лишней раз убирать. Не умирать, а просто убирать.

А потом нам повстречался отец Силуян, священник здешней церкви. На центральной аллее он что-то рассказывал моей соотечественнице.

Мы подошли послушать. Отец Силуян обрадовался увеличению аудитории и стал говорить еще с большим жаром, время от времени извиняясь по-французски перед моей спутницей, что заставляет ее ждать.

«А Ивана Сергеевича Шмелева вы знаете? Это мой любимый писатель. Вон там его могила — видите маленький куполок? А фамилия Тэффи вам что-нибудь говорит?»

Боже мой, Тэффи, Надежда Александровна! Мы ее всюду ищем, а она здесь тихонько лежит, под серой плитой, в ногах березка...

«А Зиновия Пешкова вы знаете? — Отец Силуян все время спрашивает: знаем ли мы, помним ли, опасаясь, как бы мы не забыли тех, кто здесь у него лежит. Он показывает нам могилу, в которой, кроме Зиновия Пешкова, еще несколько человек. — Брат у него был жестокий, Свердлов, а он совсем другой...»

«Может, вы слышали про Оболенскую? Красавица была, ее немцы казнили. У вас писали, что ее расстреляли, но это неправда: ей отрубили голову».

Да, общество у отца Силуяна просто замечательное. Он гордится, что живет среди таких людей.

Узнав, что мы приехали на поезде, а другая его слушательница на машине, он интересуется: не найдется ли в машине места для нас? Соотечественница мнется, говорит, что не знает, а отец Силуян говорит с извиняющейся улыбкой: «Я люблю благотворительность за чужой счет».

Только теперь, уже на прощание, мы поинтересовались его именем, и он нам вручил свои визитные карточки. Написанные по-французски неровным старческим почерком, с перечеркнутым текстом на другой стороне бумаги, визитные карточки сообщали, что зовут его отец Силуян, и указывали два адреса: квартиры и кладбища, с объяснением, где и когда его можно найти.

Запомнились его слова, — кажется, даже не его, а слова кого-то из лежащих на кладбище: «Те, которые не ушли за границу, больше любили свою страну, чем свои убеждения».

Он не сказал, что нужно любить больше и чем нужно жертвовать ради чего: убеждениями ради страны или страной ради убеждений. Не сказал он и того, что страна, не имевшая никаких убеждений, предала тех, кто убеждениям предпочел страну.

Солист квартета

Жан-Мишель принимал у себя Большого Музыканта. Музыкант приехал из Москвы, Жан-Мишель ходил на все его концерты и всех своих знакомых водил, потому что надо же поделиться такой радостью, волновался и за Музыканта, и за его товарищей, и за всех своих товарищей, которых привел на концерт, и за композитора Шостаковича, и за композитора Баха, написавших музыку для Большого Музыканта.

На концертах Жан-Мишель хлопал громче всех, кричал по-русски «браво!», возвышая восторженный бас над своим природным и естественным тенором, и вдобавок — вот уж добавка поистине царская! — лично познакомился с Большим Музыкантом.

Жан-Мишель пригласил Музыканта к себе домой, в свой загородный дом, в котором он жил за неимением городского.

И вот Музыкант у Жан-Мишеля. Ничего страшного. Сидит на стуле, говорит обычные слова.

Скрипачка и пианистка поддерживают дух Жан-Мишеля, но тоже робеют перед таким великим Музыкантом. Пианистка от робости перешла с ним на ты и, холодея душой, разговаривает, как с близким человеком. И Музыкант отвечает ей, как близкий человек.

Большой Музыкант рассказывал, что он учился в своем городе в музыкальной школе, но отец его не был уверен, что из него получится музыкант. Отец его был портной и, лишь пощупав, мог определить качество материи. Отец был хороший портной, у него были клиенты из столицы, и один из них, музыкант, согласился послушать сына портного. И, послушав, он сказал, что мальчика нужно немедленно везти в Москву, и даже обещал его показать самому Янкевичу. И когда Янкевич послушал мальчика и узнал, что ему уже тринадцать лет, то, подумав, сказал: «Еще не поздно».

Следующие свои тринадцать лет мальчик прожил на квартире у человека, который шил у его отца костюмы. То ли костюм оказался таким хорошим, то ли мальчик оказался талантливым. Но даже при том, что мальчик оказался талантливым, а может быть, именно благодаря этому, владелец костюма старался выжать из него еще больший талант, хотя как можно выжать больший талант, чем имеется?

Оказывается, можно. Хотя и трудно. Трудно маленькому стать большим, если хочешь стать по-настоящему большим человеком. Владелец костюма ставил мальчика в саду под деревом и заставлял играть, все время играть, а сам как будто не обращал на него внимания, но если мальчик на минутку переставал играть, он кричал: «Почему остановился?»

Большой Музыкант рассказывал, как он был маленьким, совсем не для того, чтобы подчеркнуть, как он вырос, а просто это казалось ему интересным, забавным, и почему бы не рассказать, если его с таким интересом слушают? И, слушая его простую жизнь, все сидящие за столом, в том числе и те, кому приходилось переводить ее на французский, понемножку к нему привыкали, так, как будто они всю жизнь сидели с ним за столом, и им тоже хотелось рассказывать, как они были маленькими.

Потом Музыкант играл на скрипке. В квартете он первая скрипка, самая главная скрипка, а здесь он солист. Солист квартета. Можно сказать и так, хотя нет такого музыкального термина. Но в хорошем квартете каждый музыкант — солист, каждый несет в мир свою индивидуальность.

Большой Музыкант играл на скрипке Жан-Мишеля, потому что свою он не принес. У него скрипка очень ценная, Страдивари, такую скрипку не то что в гости, но и домой не очень-то понесешь.

У Жан-Мишеля скрипка тоже хорошая, Клоц. Музыкант даже удивлен, видя такую скрипку в частном, непрофессиональном доме. У скрипачки скрипка попроще, поэтому она всюду носит ее с собой. И сюда принесла. В доме это уже третья скрипка.

Есть первая, есть третья, а где же вторая? Там, где третья, должна быть и вторая...

Но пока Музыкант играет, его не нужно перебивать. Хотя то, что он играет, в этот вечер не самое главное. Главное событие вечера наступает тогда, когда Музыкант предлагает как бы совершенно естественно: «Может быть, сыграем вдвоем?»

Он, конечно, знал, что в доме имеется еще одна скрипка. Не станет музыкант, особенно такого ранга, предлагать сыграть на одной скрипке вдвоем.

Вот тут-то и появляется вторая скрипка Жан-

Мишеля. Не такая хорошая, как Клоц, но все же лучше той, которую принесла скрипачка.

«Дайте мне скрипку похуже», — говорит Музыкант, который после его рассказа еще не перестал быть маленьким, и ему хочется показать, как он играет на плохой скрипке.

Жан-Мишель волнуется, пианистка за роялем волнуется, скрипачка, скрипку которой выбрали как самую худшую, волнуется, гость — не тот, что играет, а другой, — волнуется и за своего земляка, и за своего друга Жан-Мишеля... Большой Музыкант всегда волнуется, но по нему этого не видно.

Два смычка со стороны смотрятся, как две скрещенные шпаги. Но это не так, потому что бойцом в этой схватке выглядит один Музыкант: он выпрямился во весь рост, откинул голову, насколько можно откинуть голову, играя на скрипке. А Жан-Мишель... он играет хорошо и очень старательно, но не может скрыть, что в этой игре у него вторая скрипка. Хотя и лучшая, но вторая.

Для Жан-Мишеля это — великий день, потому что он еще никогда не играл с таким выдающимся музыкантом. Все волнуются. И все счастливы. Не нужно переводить ни с русского на французский, ни с французского на русский, всем все понятно без слов... Может быть, люди больше понимали друг друга, если б разговаривали при помощи музыки?

Игра окончена. Все друг друга благодарят. Музыкант говорит: «Если б я так оперировал людей, как вы играете на скрипке».

Жан-Мишель смущается от этой похвалы. Да, конечно, он неплохо оперирует, он всю жизнь оперирует, но это не то. Честное слово, это не то, это совсем не то, что играть на скрипке!

Родословная веточка

Мы покидали с Жан-Мишелем наш дом, — его дом, ставший на какое-то время и моим домом. Накануне я сказал ему и его жене Жаклин:

«Всю жизнь я в анкетах писал, что у меня нет родственников за границей. Теперь буду писать, что у меня родственники за границей есть».

Я сказал это, веря, что к нам не вернутся времена, когда человек должен будет скрывать своих родственников.

Был конец октября. Вишня перед нашим домом пожелтела и наполовину осыпалась, а на розовом кусте еще не распустились бутоны. Время для расцвета было неподходящее.

Так и мы пришли в этот мир. Наше время тоже было неподходящее для расцвета. А мы родились, пошли в рост, попытались цвести... Ну что с этим можно поделать?

Нам на долю досталась осень, досталась зима. Нам говорили: весна впереди, она — наше счастливое будущее. Весна так и не наступила, а мы уже отцвели. Такое нам выпало время.

Вишня эта еще зацветет, она не ограничена одним временем. Она ограничена местом, как все деревья.

А я вот приехал во Францию. Правда, всю жизнь меня не пускали, ограничивали местом, как дерево. Чтобы я был ограничен во времени как человек, а в пространстве — как дерево.

Такую для меня придумали жизнь. Но я все-таки успел, приехал.

Я увидел Париж. Я так давно мечтал о Париже — еще задолго до своего рождения. Если б на земле был единственный этот город, и тогда бы человечество прожило жизнь не зря...

А ведь я тоже часть человечества, веточка его родословного древа.

Виталий
РУЧИНСКИЙ

БОЕВЫЕ БУЛЫЖНИКИ

— Еще один залп, и заканчивайте стрельбы.

Майор снял фуражку, вытер платком с покрасневшей лысины капельки пота.

— Взвод-од! На огневую позицию становись! — скомандовал молодежавый Лейтенант.

Солдаты, прилежные в поухлой траве, нехотя поднялись. Жарко было всем, но в особенности Майору, тучному, одышливому, да и годы не те. А стояла жара по той причине, что аграрники затребовали неделю великой суши для уборки третьего за год урожая. Высоко в небе зависла огромная, в несколько десятков километров серебристая спираль климатической установки. Неведомый шутник назвал ее Змеем Горынычем. Сейчас Змей Горыныч стойко отгонял циклоны, пытавшиеся проваться со стороны океана. Сразу за стрельбищем расстилался стандартный пшеничный комплекс. На нем прилежно стрекотали юркие роботы-комбайны. Спелое зерно лилось в рукава паукообразного накопителя, а оттуда — в подземное хранилище.

— ...Заряжай! — поддал Лейтенант новую команду.

Каждый солдат вынул из повешенной через плечо брезентовой сумки булыжник и заложил его в пращу — круглую пластиковую сетку, прикрепленную к запястью правой руки кожаным ремешком.

Лейтенант обошел строй. На левом фланге он задержался. Стоявший крайним щуплый паренек с ежиком ярко-рыжих волос, запустив руку в патронташ, выбирал, похоже, булыжник поувесистей.

— Копаемся! — недовольно бросил Лейтенант и хлестнул прутиком по начищенному сапогу.

Рыжий испуганно мазнул зелеными глазами по лейтенантову лицу и торопливо заложил в пращу камень. Лейтенант, словно в танце, мелко попятился на носках и ловко отпрыгнул в сторону. Рубанул прутиком воздух и, сорвавшись на дискант, крикнул:

— Огонь!

Пращи взвились над головами, раскручиваясь с нарастающей скоро-

стью. После резких рывков булыжники полетели в мишени, выставленные в пятидесяти метрах. Бумажные мишени были прикреплены кнопками к фанерным щитам с очертаниями человеческих фигур. На каждой розовой краской были нанесены концентрические круги с цифрами.

— К мишеням шагом марш!

Майор и Лейтенант, приложившись к биноклям, рассматривали свежие пробоины.

— А этот Рыжий — неплохой стрелок, — заметил Майор, не отрываясь от бинокля. — У него снова десятка.

— Похоже, так, — без особого восторга отозвался Лейтенант.

— Я считаю, он заслужил благодарность в приказе.

— Осмелюсь доложить! — Лейтенант вытянулся в струну и козырнул, резко отбросив руку. — Полагая, следует воздержаться.

— Почему? — Майор вскинул на него удивленный взгляд.

— Этот, как вы говорите, Рыжий успел проштрафиться.

Между тем солдаты выкрикивали результаты попаданий. Десятка оказалась у одного Рыжего. Лейтенант быстро заполнил протокол стрельбы и приказал построиться в колонну по два. Взвод двинулся по пыльной проселочной дороге в расположение части. Майор и Лейтенант шли замыкающими.

На ходу Майор извлек из кармана галифе серебряный портсигар. Галифе ввели после того, как армия в интересах экологического равновесия перешла исключительно на конскую тягу.

— Так в чем он проштрафился, ваш Рыжий? — спросил Майор, постукивая картонным мунштуком папиросы о крышку портсигара.

— Вчера ночью его застукали в оружейном складе.

— То есть? — Брови Майора ползли вверх и скрылись под козырьком фуражки.

— Рыжий самовольно взял свою пращу и попытался нарастить на ней ремень сверх уставных двадцати пяти сантиметров.

— Он что, ненормальный? — Майор поджег папиросу, медленным движением погасил спичку и, затаившись, выпустил густую струю дыма.

— Я устроил ему дознание, — продолжал Лейтенант. — Рыжий объяснил, что с удлиненным ремнем он лучше чувствует оружие и надеется повысить меткость...

— А заодно и убойную силу! — подхватил Майор. — Налицо явная попытка нарушить Женевскую конвенцию по оперативно-тактическим прашам. Или нам мало ЧП в батальоне лучников?

— А что там стряслось у лучников? Я не в курсе.

Майор объяснил, что приказ с разбором ЧП имел секретный гриф. Но, так и быть, он расскажет. И Майор рассказал, как нагрянула к лучникам внеочередная инспекция. Очевидно, кто-то наступал. На трех стрелах обнаружили острые стальные наконец-

ники взамен притупленных латунных, разрешенных Мадридским протоколом по боевым лукам.

— Батальон расформирован, командира в отставку без положенной пенсии, — подвел он итог.

— Черт знает что! — воскликнул Лейтенант, выражая всем своим видом крайнее возмущение.

— Нарачивание ремня на оперативно-тактической праше — проступок не менее серьезный... А что он вообще за птица?

Лейтенант сказал, что успел ознакомиться с личным делом Рыжего. Рожден он четой навигаторов на рейнджерской станции в окрестностях Сатурна. Доставлен на Землю и определен в интернат для космических детей. По достижении совершеннолетия поступил в колледж, который готовит навигаторов для сверхдальних полетов. При тестировании уровень интеллекта оказался исключительным — сто шестьдесят пять баллов. И тут с Рыжим стряслась беда. Во время тренировочного орбитального полета попал в аварию. Собирали парня, что называется, по кускам. Но уровень интеллекта восстановить не удалось, ухнул вниз сразу на сто тридцать баллов. Из колледжа, естественно, пришлось уйти, а недоумкам дорожка одна — в солдаты...

— Может, подвергнем его повторному тестированию? — предложил Лейтенант. — Глаза его что-то мне не нравятся, чересчур смывленные. Так просто не сообразишь ремень на праше нарачивать. Стало быть, восстанавливается потихоньку интеллект. Если перевалил за верхний предел, допустимый для солдата, комиссовать его вчистую, и точка. Пусть катится на все четыре стороны.

— Ну, зачем так уж сразу? — проворчал Майор, отбрасывая щелчком окурок. — Запрячем-ка его лучше в батальонный розарий. Цветов с нас требуют уйму, а рабочих рук там не хватает. В розарии у Рыжего отобьют охоту заниматься усовершенствованием оружия. Готовьте рапорт.

— Слушаюсь! — отозвался Лейтенант и снова четко козырнул.

— Только вот что... — Майор на мгновение замаялся. — Причину перевода не указывайте. И вообще об инциденте лучше помалкивать.

Проселок, по которому двигался взвод, влился в оранжевую ленту шоссе на магнитной подушке. Мимо беззвучно проносились разноцветные электромобили, округлой формы и плоские, похожие на огромные устричные раковины. Обгоняя друг друга, они взмывали на несколько метров вверх и снова приземлялись на полотно шоссе.

— А вам не кажется странным, Лейтенант, что я узнаю о проделке Рыжего лишь к исходу следующего дня?

В голосе Майора прозвучал металл. Он попытался придать своему полному лицу строгое и даже свирепое выражение. Это ему плохо удалось, тем не менее Лейтенант покраснел и принялся оправдываться. Утром он заматался с подготовкой

к учебным стрельбам. Подвода с бумажниками прибыла, как водится, с опозданием. Разгружать пришлось вручную, автопогрузчики полома- ны...

— Хорошо, — оборвал его Майор. — Уж от кого-кого, а от меня скрывать нечего.

Лейтенант покраснел еще сильнее. В сердцах изломал свой прут и зашвырнул обломки далеко в сторону.

— Да разве я!.. — с чувством произнес он, но Майор лишь громко за- сопел и прибавил шаг.

Лейтенант дотронулся до него и, ударив себя кулаком в грудь, воскликнул:

— Ну хотите, я вам расскажу та- кое — ахнете!..

Майор, не останавливаясь, пожал плечами, изображая полнейшее рав- нодушие.

— На прошлой неделе я съездил в увольнительную в город, — начал Лейтенант, — и там в баре ко мне подсел один тип. Он был навеселе и рассказывал просто удивительные вещи. Даже не верится...

Лейтенант осекся на полуслове, в глазах его промелькнул испуг. Не- которое время оба офицера шагали рядом молча.

— И что он вам такое порасска- зал? — нарушил молчание Майор.

— Да так, разную чепуху...

— Повторяю, со мною вы можете быть полностью откровенным. — Майор успокаивающе выставил впе- ред ладонь с растопыренными тол- стыми пальцами. — Я не из породы доносчиков. Мои предки были кадро- выми офицерами, и офицерская честь для меня превыше всего.

— Этот тип рассказывал о старин- ном оружии, — произнес Лейтенант с волнением в голосе. — Говорит, в Двадцатом веке имелись такие шту- ковины — одной можно было смести целый город...

Майор пристально взглянул на Лейтенанта и сделал ему знак приот- стать. Когда взвод удалился шагов на тридцать, он оглянулся, прове- ряя, не подслушивает ли кто, и ска- зал:

— Об этом говорить вслух не ре- комендуется. Но вы, как мне кажет- ся, настоящий офицер и не способ- ны на подлость... Так вот, эти шту- ковины назывались атомными бомба- ми. Их закладывали...

— В пращи! — продемонстриро- вал свою сообразительность Лейте- нант.

— Ни в какие не в пращи, а в бое- вые ракеты. Наподобие тех, на кото- рых летают в космос... Что город? Целую страну можно было смести единым махом. Всего одно нажатие кнопки...

— Так, значит, это не вранье! — воскликнул Лейтенант.

— Ах, мой мальчик! — Майор по- отчески потрепал его по плечу. — Все-то у нас когда-то было: и ато- мные бомбы, и отравляющие газы, и многое другое. Пока не началось повальное безумие, именуемое разо- ружением. Нашлись кретины и вы- родки, сумевшие втемашить людям в голову, будто атомные бомбы пред- ставляют угрозу для существования

человечества. С бомб и началось... А, в сущности, какая угроза может быть в добром оружии? Я лично не понимаю.

— Я тоже не понимаю! — с жа- ром согласился Лейтенант.

— В нашей семье есть предание, — продолжал Майор, — оно передается из поколения в поколение. Мой пра- прадед командовал базой ракет с атомной начинкой. И вот в один прекрасный день он получает приказ порезать их все на куски. Приказы не обсуждаются. Но когда порезали по- следнюю ракету, мой предок вынул пистолет... Про пистолеты ты хотя бы слыхивал?

— Это такие железные крючки, которые делают бум-бах? — Лейте- нант раздул щеки и резко выпустил изо рта воздух, изображая выстрел. Пистолеты он однажды видел в кино, которое показывали в офицерском клубе. В армию сплавляли старые, потерявшие экран фильмы, и среди них попадались совсем уж доистори- ческие...

— Вот именно бум-бах, — под- твердил Майор. — Так вот, мой пре- док вынул пистолет и выстрелил себе в висок.

— Какой ужас!

— Ну а потом пошло-поехало. Во- енный флот — к черту! Авиацию — к черту! Артиллерию... Это... ну как тебе объяснить... тоже пистолеты, только здоровенные, величиной с ко- рову или со слона. Ко всем чертям!.. Взамен ослепили пращами и лу- ками. И на них тотчас наложили зверские ограничения. Я давно за- даю себе вопрос: куда мы идем?

— Подлые шпакли!

— Запомни! — Майор категориче- ски перешел на «ты». — Во все вре- мена армия была цветом нации. Хо- тят известить нас под корень? Не вый- дет!

— Что вы имеете в виду? — с дро- жью в голосе спросил Лейтенант.

— А то я имею в виду, как под- лые политики выступают теперь уже за полную ликвидацию воору- женных сил. Они говорят, разведе- нием цветов не окупаются расходы на наше содержание. Предлагают оставить всего одну роту почетного караула для встреч и проводов ино- странных гостей.

— Неужели до этого дойдет?

— Пока все остается как есть, — отвечал Майор, присоветившись. — Но, как говорится, будем держать пращи наготове...

— А колчаны со стрелами откры- тыми, — подхватил Лейтенант слова армейской присяги.

...С пригорка, на который они под- нались, открылся вид на космодром. На фоне раскаленного, валившего на запад солнца резко вырисовыва- лись очертания звездолетов, напоми- нающих вымерших миллионы лет на- зад птеродактилей...

— Кому мы мешаем? За что нас хотят известить? — Лейтенант в недо- умении утопил голову в поднятых худых плечах и широко развел руки.

Майор не отвечал. Он угрюмо пе- чатал шаги коваными сапогами.

— Да, плохи наши дела, — протя- нул Лейтенант упавшим голосом.

— Как знать? — Майор искося взглянул на своего собеседника, и выражение его лица неожиданно стало лукавым. — Как знать? — по- вторил он. — Нельзя терять надежду на лучшее. Меня почему заинтересо- вал твой Рыжий? Мозги у него рабо- тают в правильном направлении. На- ращивание ремня на праще далеко не пустяк. Дорогого стоит! Поболь- ше бы таких рыжих. А то присыла- ют неполноценных тупиц...

Он на мгновение вновь насупился.

— Но ведь и стальные наконецни- ки на стрелах тоже ведь кто-то при- думал!

— Верно! — тотчас согласился Майор. — Помани мое слово, исто- рия рано или поздно повернется вспять. С вакханалией разоружения будет покончено. Порвем на мелкие клочки все договоры и протоколы. А можно и не рвать пока, можно втихую. Только с умом! — Тут Май- ор со значением поднял вверх указа- тельный палец. — Кстати, я далеко не уверен, что в других странах...

— Вы хотите сказать?..

— Старая истина: враг не дрем- лет. Забыли? Придется напомнить.

— Получены разведданные? — шепотом спросил Лейтенант.

Майор загадочно улыбнулся, да- вая понять, что у его откровений тоже есть предел.

— Скажу одно, — веско произнес он, — недалек тот день, когда мы будем вынуждены приняться за со- здание новых, точнее, старых видов оружия: пистолеты, артиллерию, авиацию. А когда-нибудь заведем и атомные бомбы. Надо только запас- тись терпением.

Лейтенант глядел на старшего по званию с нескрываемым восхищени- ем.

— Завтра я кое с кем тебя све- ду, — пообещал Майор. — Отличные ребята, крепкие орешки. Штатским не по зубам. Мы собираемся по пят- ницам после отбоя в условном месте. У нас уже готовы план действий, программа, устав. Дашь клятву на крови, и тебя примем. Ты готов?

— Можете на меня положить- ся! — воскликнул Лейтенант и снова бухнул себя кулаком в грудь.

Майор резко ускорил шаг. Лейте- нант легко поспевал за ним. Они на- гнали взвод у въезда на космодром. Там шла посадка на звездолет, от- правлявшийся вечерним рейсом на Венеру. Пассажиры поднимались вверх по эскалатору и один за другим исчезали в посадочном люке. Внизу толпились провожающие. Играла ве- селая музыка.

— Сейчас мы им покажем, этим шпакам! — с тихой ненавистью про- изнес Лейтенант. Запустив ладонь под ремень, он opravил гимнастерку и скомандовал: — Взво-од! Шире шаг! За-певай!

Тупые лица солдат оживились. Они громко запели:

Мы ребята хоть куда,
Ать-два, ать-два,
Девки виснут, вот беда,
Ать-два, ать-два...

Игорь ИРТЕНЬЕВ

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

Евг. Бунимовичу

Маленькая кукольная пьеса в двух действиях без пролога и эпилога

Действующие лица:

Марат. Ельцин.
Дантон. Шмелев.
Робеспьер. Заславская.
Сен-Жюст. Гдлян.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Картина первая

Париж. 13 июля 1789 года. Адвокат-
ская контора Робеспьера.

РОБЕСПЬЕР. Прошу у всех пардон
за беспокойство,
Но я вас пригласил сюда затем,
Чтоб обсудить могли мы ряд
проблем
Весьма безотлагательного свойства.
Настал момент себя проверить
в деле,
Ле жур де глуар
нам упустить нельзя,
А где Дантон?
МАРАТ (*мрачно*). Известно где,
в борделе.

Появляется ДАНТОН. Привет,
Максимка! Бон суар, друзья!
Я до краев пресытился любовью,
Зизи творила нынче чудеса,
Но проведя волшебных два часа,
Я вновь к услугам

третьего сословья.
РОБЕСПЬЕР. Итак, продолжим,
Франция в беде.

Благодаря правлению Капета
Мы оказались по уши в мерде
И выхода у нас иного нету,
Как завтра совершить переворот.
Начав с утра, управимся к обеду.
СЕН-ЖЮСТ. Но вот вопрос:

поддержит ли народ?
Нам без него не одержать победу,
Уж больно узок, господа, наш круг,
Скажи, Марат, ведь ты народа друг.
МАРАТ. Народ, замечу,

антре ну, дурак,
Но без него не обойтись никак,
И чтоб поднять его в последний бой,
Потребен лозунг ясный и простой.
ДАНТОН (*догадывается*). Земля —
крестьянам?

МАРАТ (*укоризненно*). Извини,
мон шер,
Никак не ожидал, что ты эсер.
РОБЕСПЬЕР. Призыв доступен
должен быть ежу,

Один момент, сейчас соображу,
«Свобода. Братство. Равенство» —
любой

За эту чушь пожертвует собой.

Картина вторая

Париж. 14 июля 1789 года. Площадь
перед Бастилией. Много народу.
Бум-бум! Бах-бах! Вжик-вжик!

Та-та-та-та!
Ура! Ура! Бастилия взята.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Картина третья

Москва. 24 мая 1989 года. Квартира
Б. Н. Ельцина.

ЕЛЬЦИН. Товарищи!
прошу за беспокойство,
Но я вас пригласил сюда затем,
Чтоб обсудить могли мы

ряд проблем
Весьма безотлагательного свойства.
Друзья мои, Советский наш Союз
Идет ко дну, как

«Адмирал Нахимов»,
И если власть не взять,
то, я боюсь,
Придется нам кормить собой

налимов,
Которых я привык на завтрак есть,
Пока далек был страшно от народа,
Его сменив на совесть, ум и честь,
Но в сердце постучала мне свобода,
И, жизнь свою поставив на ребро,
Я с треском вышел из Политбюро,
Теперь опять с народом я навеки,
А где Шмелев?

ГДЛЯН (*мрачно*). Небось
в библиотеке.
По мне собрать все книги
да и сжечь,

А перья все перековать на меч.
Появляется Шмелев.
ШМЕЛЕВ. Привет Госстрою!
Добрый день, друзья!
Сегодня мной написана статья!
ЗАСЛАВСКАЯ. А как назвал?
ШМЕЛЕВ (*гордо*). Авансы и долги!
ЗАСЛАВСКАЯ (*задорно*).

Дрожите,
перестройкины враги!
ШМЕЛЕВ (*потирая руки*).

Я представляю возмущенья шквал,
Но, впрочем, я вас, кажется,

прервал.
ЕЛЬЦИН. О чем, бишь, я?
Да, о народном благе,
О нем одном все помыслы мои,
Пора нам доставать из ножен шпаги.
Друзья, нас ждут великие бои.
Грядет народных депутатов съезд,
Момент подобный

упускать нам глупо.
ЗАСЛАВСКАЯ. Но там у нас
всего полсотни мест,

Что сможем мы одной
московской группой,
Мы страшно от народа далеки!
(*Всхлипывает*).

ГДЛЯН (*мрачно*). Да уж не дальше,
чем большевики.

ЗАСЛАВСКАЯ (*внезапно*
догадавшись).

Молчи, тебя послали

даشناки!

ГДЛЯН. Народ, он кто?

Он был и есть дурак,
Но без него не обойтись никак,
И, чтоб увлечь его нам за собой,
Потребен лозунг ясный и простой,
Способный пробудить

активность масс,
«Долой Егора!» было б в самый раз.
Картина четвертая

Москва. 25 мая 1989 года. Кремлев-
ский Дворец съездов. Много народу.

Ура! Долой! Несутся крики с мест.
Хлоп-хлоп! Дзынь-дзынь!
Открылся первый съезд.

ЗАНАВЕС.

В НОМЕРЕ:

Проза

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Искушение.
Роман. Начало. Интервью Анны ПУГАЧ
(5)

Александр ЛАВРИН. Гон. Повесть (28)
Лев РАЗГОН. Бунт на борту. Рассказ (54)
Борис КОСТЮКОВСКИЙ. Старая под-
кова. Повесть в рассказах. Начало. (66)

Наследие

Василий РОЗАНОВ. Эмбрионы (2)

Поэзия

Инна Лиснянская (26), Юрий КАРАБ-
ЧИЕВСКИЙ (27), Николай НОВИКОВ
(60)

Публицистика

Михаил Казачков. «В советах с Лубян-
ки — не нуждаюсь» (61). Москва — точ-
ка прорыва. Беседа с первым замести-
телем председателя Моссовета
С. Б. Станкевичем (62)

Галина АРБАТСКАЯ. Покушение на
миражи (84)

Феликс КРИВИН. В местечке Париже
(87)

Наука

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛА-
ЕВ. Спираль подвига. Продолжение (75)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. Автономное плава-
ние Крашина (64)

Критика

Анатолий Бочаров. «Все смешалось...»
(80)

Зеленый портфель

Виталий РУЧИНСКИЙ. Боевые бу-
лыжники (94)

Игорь ИРТЕНЬЕВ. Двести лет спустя
(96)

Рукописи объемом менее авторского листа не
возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в эк-
земплярах журнала обращаться в издатель-
ство «Правда» по адресу: 125865, Москва,
А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление первой страницы обложки
Вадима и Владислава Игониных
Главный художник Олег Кокин
Художник Юрий Цишевский
Технический редактор Ольга Трепенюк

Сдано в набор 04.09.90. Подп. к печати 27.09.90.
Формат 84×60/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2796.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1990.



«Семья художника». Медь.

На стендах «ЮНОСТИ»

Григорий ПОТОЦКИЙ
г. Кишинев.



«Солярис». Бронза.

«Лариса». Бронза.



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В новом году мы предполагаем опубликовать следующие произведения:

Василий АКСЕНОВ. Новый роман.

Марк АЛДАНОВ. «Из записной тетради».

Андрей БИТОВ. «Преподаватель симметрии».

Леонид БОРОДИН. Новая повесть.

Иосиф БРОДСКИЙ. Эссе.

Владимир ВОЙНОВИЧ. «Необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Книга третья.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. «Пятая проза».

Борис ВАСИЛЬЕВ. «Капля за каплей». Повесть.

Геннадий ГОЛОВИН. Новая повесть.

Даниил ГРАНИН. Новая повесть.

Сергей ДЫШЕВ. Афганская повесть.

Александр ЗИНОВЬЕВ. «Светлое будущее».

Борис ЗАЙЦЕВ. «Жизнь Тургенева».

Фазиль ИСКАНДЕР. Рассказы.

Федор КРЮКОВ. Рассказы.

Лев КОПЕЛЕВ. «Святой доктор Федор Петрович» (о Ф. П. Гаазе). Повесть.

Владимир НАБОКОВ. Рассказы.

Виктор НЕКРАСОВ. «По обе стороны стены».

Борис ПОПЛАВСКИЙ. «Аполлон Безобразов». Роман.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ. «Папесса Иоанна».

Зарубежный бестселлер

Энтони БЕРДЖЕС. «Заводной Апельсин. Исповедь хулигана». Фантастическая повесть.

Дуглас АДАМС. «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом». Фантастический роман.

Философские произведения Н. БЕРДЯЕВА, П. ФЛОРЕНСКОГО, В. РОЗАНОВА, князя Е. ТРУБЕЦКОГО, Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВА.

Епископ ИОАНН САН-ФРАНСИССКИЙ (Шаховской). «Время веры». Главы из книги.

Рассказы и повести молодых,

в том числе А. СКОРОБОГАТОВА, Е. САЗАНОВИЧ, Е. ЛАПУТИНА.

Современная публицистика, выступления

Г. ПОПОВА, С. СТАНКЕВИЧА, А. СОБЧАКА, М. БОЧАРОВА, Н. ТРАВКИНА.

Виталий КОРОТИЧ. «Опыт политической автобиографии».

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ. «Европейки в Америке».

Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ. «Записки из рукава».

Воспоминания великого князя АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.

Редакция рассматривает возможность выпуска тематических номеров, посвященных литературе русского зарубежья, экологии и предвидению будущего.

На нашей вкладке будут представлены репродукции работ крупнейших живописцев России и мира, а также молодых мастеров.

